

ЖОВАННИ
БОККАЧЧО
ДЕКАМЕРОН



ДЖОВАННИ
БОККАЧЧО

ДЕКАМЕРОН





МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

КНИГА
III
ДЕКА

*Перевод с итальянского
Н. Любимова*

*Иллюстрации художника
Ю. Тершкoviча*

ДЖОВАННИ
БОККАЧЧО

МЕРОН



ДЕКАМЕРОН

И(Итал)
Б78

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

Б 4703000000-304 165-87
028(01)-88

© Иллюстрации, оформление. Издательство
«Художественная литература», 1987 г.

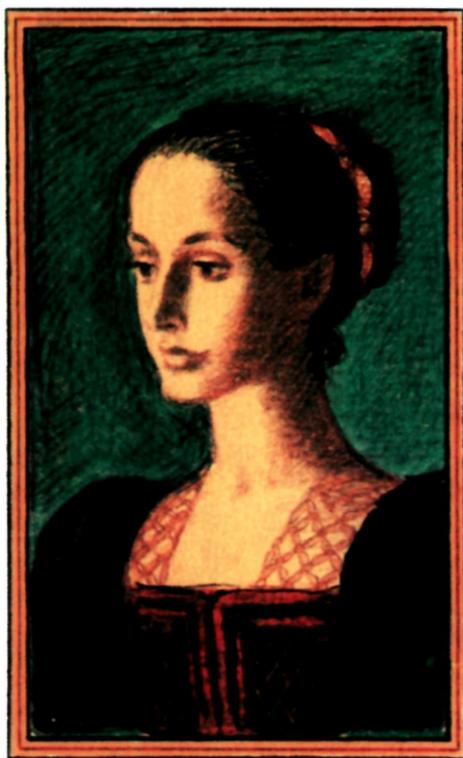
Кончилась пятый день
ДЕКАМЕРОНА,
начинается шестой



*В день правления Элисы
предлагаются вниманию рассказы о том,
как люди, уязвленные чьей-либо шуткой,
платили тем же или быстрыми
и находчивыми ответами превращали утрату,
опасность и бесчестье*









же луна, стоявшая в самом зените неба, померкла и новое светило, взойдя, осияло наш мир, когда королева, поднявшись со своего ложа, велела созвать приближенных, и все медленным шагом пошли по росе и, прогуливаясь неподалеку от прекрасного дворца, заговорили о том о сем, заспорили, чья повесть лучше, чья хуже, припоминая отдельные случаи, опять не могли удержаться от смеха, и так они гуляли до тех пор, пока солнце не поднялось и не начало припекать, — тогда все решили, что пора домой, и повернули

обратно. Столы уже были расставлены, пахло душистыми травами и прелестными цветами, и королева сказала, что нужно успеть позавтракать, пока еще не так жарко. Завтрак прошел весело, потом было спето несколько славных, премилых песенок, потом кто пошел отдыхать, кто — играть в шахматы или же в шашки, а Дионео и Лауретта запели песню о Троиле и Крессиде. Когда же настал час собеседования, то по зову королевы все собрались и, по обыкновению, расположились возле водомета. Королева только хотела было приказать рассказывать, как произошло нечто еще не бывалое: ушей королевы и всех, кто с ней был, достигнул невероятный шум, поднятый на кухне слугами и служанками. Пошли дворецкого, спросили, кто это кричит и из-за чего поднялся такой содом, дворецкий же ответил, что перебранку затеяли Личиска и Тиндаро, а вот из-за чего — этого он не знает: он пришел на кухню, чтобы цикнуть на них, а тут его как раз позвали к королеве. Королева велела ему тот же час прислать Личиску и Тиндаро, и когда оба явились, она обратилась к ним с вопросом, из-за чего они повздорили.

Тиндаро только успел рот раскрыть, как Личиска, пожилая, заносчивая от природы, да к тому же еще разгоряченная спором, смерила Тиндаро уничтожающим взглядом.

— Видали болвана? — заговорила она. — Смеет лезть с объяснениями, когда я тут! Нет уж, дай я расскажу! — И, обратясь к королеве, продолжала: — Государыня! Он мне толкует, кто такая супруга Сикофанта, как будто я сама этого не знаю, и уверяет, что в их первую брачную ночь мессер Дубини взял Черногорию приступом, ценою кровопролития, а я стою на том, что это неправда, — совсем даже наоборот: он занял ее без боя, к великому удовольствию туземцев. Этот болван воображает, будто девушки настолько глупы, что теряют даром время и дожидаются дозволения отца и братьев, а те в шести случаях из семи откладывают свадьбу на три, а то и на четыре года. Хороши бы они, братец ты мой, были, если б они так долго терпели. Вот вам Христос, — а я все имя божие никогда не поминую, — среди моих соседок не найдется ни одной, которая вышла бы замуж девушкой, да и замужние-то, сколько мне известно, такие штуки вытворяют с мужьями! А этот остопоп так со мной говорит о женщинах, как будто я только вчера родилась!

Дамы, слушая Личиску, смеялись до слез, королева же несколько раз пыталась заставить ее замолчать, но безуспешно: Личиска умолкла только после того, как выговорилась.

Когда же она наконец утихла, королева с усмешкой сказала Дионео: — Это — по твоей части, Дионео, так что, когда мы все наши повести расскажем, ты этот спор разрешишь.

Дионео же не замедлил с ответом.

— Государыня! — сказал он. — Решение у меня уже готово, и добавлять к нему нечего: по мне, Личиска права, дело, по всей вероятности, обстоит именно так, как она утверждает, а Тиндаро — болван.

При этих словах Личиска так и покатилась со смеху.

— Ну? Что я тебе говорила? — обратясь к Тиндаро, сказала она. — Уж ты, братец, лучше бы помалкивал! Ведь ты же щенок передо мной, а туда же, суешься спорить! Я, слава тебе, господи, всего навидалась на своем веку, — всего навидалась!

Если б королева в конце концов не прикрикнула на Личиску, если б она ей не велела перестать орать и трепать языком, — а иначе, мол, она распорядится, чтобы ее высекли, — и не отослала бы ее вместе с Тиндаро на кухню, обществу пришлось бы целый день только ее и слушать. Как скоро Личиска с Тиндаро удалились, королева приказала рассказывать Филомене, и та весело начала так.





*Некий дворянин дорогой обещает донне Оретте
так увлекательно рассказать одну повесть,
что она не заметит, как дойдет до места, словно ехала на коне,
однако ж рассказчик он неискусный, и Оретта просит ссадить ее с коня*



ные дамы! Подобно как в ясные ночи украшением небесного свода служат звезды, а весною цветы красят зелень лугов, меж тем как одевшиеся в листья кусты составляют красу холмов, так же точно добрые нравы и приятную беседу красят острые слова. В силу своей краткости они больше приличествуют женщинам, нежели мужчинам, ибо много говорить еще менее пристало женщинам, нежели мужчинам. Впрочем, к нашему стыду, неизвестно, по какой причине: то ли потому, что мы, женщины, поглупели, то ли потому, что мы прогневали небеса, но только теперь уже мало, а может, и вовсе не осталось женщин, которые могли бы сами вернуть, когда нужно, острое словцо и правильно понять остроту, исходящую из уст другого. Ну, да об этом уже говорила Пампинья, а потому я прямо перейду к своей повести из коей вам должно быть ясно, до чего хорошо кстати сказанное словцо: я расскажу о том, как деликатно одна знатная дама заставила умолкнуть одного дворянина.

Многие из вас, уж верно, встречали не так давно проживавшую в нашем городе некую знатную даму, — или, по крайности, могли о ней слышать, — даму столь добродетельную и столь речистую, что имя ее заслуживает быть названным. Итак, звали ее донной Ореттой, и была она замужем за мессером Джери Спиной. Как-то раз все мы были у нее и имении, и она гуляла с дамами и мужчинами, которые в тот день у нее обедали, а так как до того места, куда они собирались идти пешком, было довольно далеко, то один из сопровождавших ее мужчин предложил: «Позвольте, донна Оретта, рассказать вам презанимательную

повесть, и вы не заметите, как дойдете, будто почти все время ехали на коне».

«Прошу вас, мессер, — молвила дама, — буду вам чрезвычайно признательна».

Получив дозволение, сей господин, которому, видимо, так же пристало носить шпагу, как и разглагольствовать, начал рассказывать повесть, и повесть эта сама по себе была прелестна, и шла в ней речь о высоких особах и о любопытных случаях, с ними происходивших, но он по три, по четыре, по шесть раз повторял одно и то же, беспрестанно возвращался назад, поправлялся: «Нет, не так!» — перевирал имена и тем безнадежно испортил повесть, и, в довершение всего, у него была каша во рту. Донну Оретту в пот ударило, сердце у нее начало останавливаться, словно она была при смерти. И вот, когда ей стало совсем уже неважно, она, видя, что кавалер запутался окончательно, с очаровательной улыбкою молвила: «Мессер! Ваш конь очень уж спотыкается. Будьте любезны, ссадите меня!»

Спутник, как видно, был рассказчик незанимательный, но человек проницательный, а потому он сразу уловил намек, обернул его в шутку, сам первый засмеялся и поспешил перейти на другие темы; повесть же, которую он было начал и в которой потом увяз, так и осталась неоконченной.





*Несколько слов, сказанных хлебопеком Чисти,
открывают мессеру Джери Спине глаза на нескромность той просьбы,
с какою он к хлебопеку обратился*



амы и мужчины долго восхищались остроумием донны Оретты; наконец королева велела рассказывать Пампинею, и та начала так:

— Приятные дамы! Я не берусь судить, кто грешнее — природа, облакающая возвышенную душу в презренную плоть, или же Фортуна, принуждающая плоть, наделенную возвышенною душою, заниматься неказистым ремеслом, как это мы можем видеть на примере нашего согражданина Чисти, равно как на примере многих других. И я бы, уж верно, прокляла и природу и

Фортуну, когда бы мне не было известно, что природа премудра, а Фортуна тысячеока, хотя глупцы и изображают ее слепой. По моему разумению, обе они, будучи в высшей степени предусмотрительны, поступают так же точно, как поступают нередко смертные, от которых будущее закрыто и которые поэтому самые дорогие свои вещи прячут на черный день в укромных тайниках дома, где никому не пришло бы в голову их искать, и б о , — рассуждают о н и , — неказистый закоулок — более надежное место для хранения, нежели прекрасная комната, и достают они их оттуда только в случае крайней необходимости. Вот так и эти две правительницы мироздания укрывают тех, кем они особенно дорожат, под сенью ремесел, считающихся самыми незавидными, — укрывают с той целью, чтобы эти ремесленники, когда природа и Фортуна в случае надобности к ним обратятся, показали себя во всем своем блеске. Повесть о донне Оретте напомнила мне, по какому ничтожному поводу хлебопек

Чисти проявил себя с хорошей стороны и заставил прозреть мужа донны Оретты — мессера Джери Спино, и вот об этом-то мне и хочется рассказать коротенькую повесть.

Итак, надобно вам знать, что папа Бонифаций, у которого мессер Джери Спино был в большой чести, по чрезвычайно важным делам направил во Флоренцию высоких послов, и те остановились у мессера Джери, дабы вместе с ним обсудить то, что заботило папу, и вот с этими-то папскими послами мессер Джери почти каждое утро, куда бы он ни направился, непременно проходил мимо церкви Санта Мария Уги, и тут же рядом у хлебопека Чисти была своя пекарня, где тот собственноручно выпекал хлеб. Судьба обучила его ремеслу весьма скромному, но в то же время она ему благоприятствовала, и он разбогател, да так, что не променял бы свой род занятий ни на какой другой: ни в чем он себе не отказывал, чего-чего только у него не было, и всегда он держал запас наилучших белых и красных вин, какие можно было найти в самой Флоренции и в ее окрестностях. Приметив, что мессер Джери и папские послы каждое утро в сильную жару проходят мимо его дома, он подумал, что с его стороны было бы весьма любезно, если б он предложил им доброго белого винца, однако ж, представив себе, насколько он ниже по положению мессера Джери, решил, что ему не подобает зазывать его к себе, и тут же изыскал средство устроить так, чтобы мессер Джери сам напросился. Каждое утро, когда, по его расчетам, мессер Джери и папские послы должны были пройти мимо, он приказывал ставить у порога новенькое луженое ведро с холодной водой, новенький болонский кувшинчик с добрым белым вином и два стакана, блестящих так, что их можно было принять за серебряные, а сам в белоснежном полукафтаны и в свежевystиранном фартуке, делавшем его похожим скорее на мельника, нежели на пекаря, усаживался у дверей и, раза два сплунув, принимался за вино, и пил он его с таким смаком, что, глядя на него, возжаждали бы и мертвые.

Мессер Джери прошел мимо него молча, на другое утро тоже, а на третье не вытерпел и спросил: «Что, Чисти? Вкусное вино?»

Чисти вытянулся перед ним в струнку. «До того вкусное, что я и передать не могу, — отвечал он, — вы только попробуйте!»

Мессеру Джери, то ли от жары, то ли от сильной усталости, то ли глядя на Чисти, захотелось пить. «Синьоры! — усмехаясь, обратился он к послам. — А что, если мы попробуем, какое у этого почтенного человека вино? Полагаю, что мы не раскаемся». И тут они все направились к Чисти.

Чисти велел вынести из пекарни лавку, какую получше, и попросил гостей сесть, слугам же их, подскочившим сполоснуть стаканы, сказал: «Нет уж, я сам: наливать вино я умею не хуже, чем сажать в печь хлеб. И вам, братцы мои, я даже глотнуть не дам — лучше не надейтесь». Затем Чисти собственноручно сполоснул четыре новеньких красивых стакана, велел принести кувшинчик доброго вина и стал усердно наливать мессеру Джери и спутникам его, они же признали, что давно такого не пили. И до того пришлось оно им по вкусу, что, пока послы не уехали



из Флоренции, мессер Джери почти каждое утро ходил с ними к Чисти пить вино.

Когда послы покончили со всеми своими делами и начали собираться в обратный путь, мессер Джери устроил роскошный пир, на который он в числе наиболее именитых граждан позвал и Чисти, но тот отказался наотрез. Тогда мессер Джери послал к Чисти слугу за бутылкой вина, чтобы каждому гостю после первого блюда пришлось по полстаканчика. Слуга, должно думать, был сердит на Чисти за то, что тот не дал ему вина, и по сему обстоятельству взял с собой большую бутылку.

Чисти поглядел на бутылку и сказал: «Мессер Джери, братец ты мой, послал тебя не ко мне».

Сколько ни уверял его слуга, Чисти стоял на своем; в конце концов слуга вернулся к мессеру Джери и передал слова Чисти. А мессер Джери: «Сходи к нему, говорит, еще раз и скажи, что послал тебя я. Если он опять так же ответит, то спроси, к кому же я тогда тебя послал».

Слуга опять пришел к Чисти и сказал: «Чисти! Мессер Джери послал меня именно к тебе».

«Нет, братец ты мой, только не ко мне», — объявил Чисти.

«А куда же тогда, если не к тебе?» — спросил слуга.

«На Арно», — отвечал Чисти.

Когда слуга передал этот разговор мессеру Джери, тот внезапно прозрел. «Покажи-ка мне бутылку», — приказал он и, увидев бутылку, молвил: — Чисти прав». Слугу он обругал и велел взять более подходящую бутылку.

Когда Чисти взглянул на нее, то сказал: «Вот теперь я вижу, что это он послал тебя ко мне, — сейчас налью».

В тот же день он велел налить целый бочонок этого вина и осторожно отнести к мессеру Джери, а затем пошел к нему сам и сказал: «Не подумайте, мессер, что меня испугала утрешняя бутылка, но я решил, что вы не поняли, почему я все эти дни наливал вам вино из кувшинчиков: вино-то ведь не простое, — вот на это я утром вам и намекал. Но беречь мне его больше не для кого, и я вам послал все, что у меня было, — распоряжайтесь им, как найдете нужным».

Мессер Джери чрезвычайно обрадовался подарку, от всей души поблагодарил Чисти, и с той поры он питал к нему глубокое уважение и был с ним в дружбе.





*Монна Нонна де Пульчи благодаря своей находчивости
обрывает епископа Флорентийского,
позволившего себе более чем неуместную шутку*



огда Пампинья окончила свой рассказ, все очень одобрили и ответ Чисти, и его щедрость, королева же изъявила желание, чтобы теперь рассказывала Лауретта, и Лауретта с игривым видом начала так:

— Очаровательные дамы! Все, что сначала Пампинья, а потом Филомена говорили о нашей неискренности и о прелести острого слова, — совершенно справедливо. Возвращаться к этому нет нужды; вот только я хочу добавить касательно острого слова: острое слово по самой своей сущ-

ности таково, что оно должно кусать не как собака, а как овца; если же оно кусает, как собака, то это уже не острота, а ругань. Слова донны Оретты и ответ Чисти — это именно образец удачной остроты. Впрочем, если человек отвечает на что-то и, отвечая, кусает, как собака, потому что его самого кто-то укусил, как собака, то ставить это ему в вину не должно, — всякий раз следует принимать в соображение, при каких обстоятельствах, где, когда и кому было сказано острое слово. Одна из наших духовных особ с этим не посчиталась, зато ее и укусили так же больно, как укусила она, — вот об этом-то я и хочу вам коротко рассказать.

В то время, когда епископом Флорентийским был его преосвященство Антоний д'Орсо, достойный и мудрый пастырь, во Флоренцию прибыл каталонский дворянин, шталмейстер короля Роберта, Дьего де Ла Рат. Этот красавчик и повеса из повес пленился одной прелестной флорентийской дамой, внучатной племянницей епископа Антония. Прознав, что ее муж хотя и благородного происхождения, однако ж скупердяй и сквернавец, он с ним условился, что проведет одну ночь с его женой,

а за это отсыплет ему пятьсот золотых флоринов. Того ради он велел позолотить имевшие тогда хождение серебряные монеты стоимостью в два сольдо каждая и, проведя ночь с его женой, хотя она этому противилась, отдал их мужу в уплату. Впоследствии выяснилось, что сквернавца-мужа обжулили, и он стал всеобщим посмешищем, епископ же был настолько умен, что притворился, будто знать ничего не знает. Епископ и шталмейстер часто встречались, и вот, в день Иоанна Предтечи, ехали они рядом верхами по той улице, где устраиваются конские ристалища, и епископ углядел среди дам молодую женщину, двоюродную сестру мессера Алесслио Ринуччи, монну Нонну де Пульчи, которую вы все, наверное, помните — ее унесла нынешняя чума. Вот на нее-то, тогда еще свежую и молодую, остроумную, находчивую, недавно вышедшую замуж в Порта Сан Пьеро, и указал шталмейстеру епископ. Затем, приблизившись к ней, он положил ему руки на плечи и сказал: «Ну как, Нонна? Справишься ты с ним?»

Нонна почувствовала, что слова эти затрагивают ее честь и унижают ее в глазах тех, кто их слышал, — а таковых было немало, — и потому она, не затем, чтобы смыть пятно, а единственно для того, чтобы ответить ударом на удар, сейчас же нашлась. «Владыка! — сказала она. — Он-то со мной, возможно, и не справился бы, но мне важно одно: чтобы монеты были не фальшивые».

Тут и шталмейстер и епископ уловили в ее словах укор: шталмейстер в том, что он с внучкой брата епископа нечестно поступил, а епископ — в том, что он оскорбление, нанесенное внучке его брата, проглотил, и обоим стало стыдно в глаза друг другу глядеть; ничего ей не ответив, они молча разъехались в разные стороны. Итак, молодую женщину сперва самое укусили, — значит, ничего зазорного не было в том, что в ответ и она шутя укусила.





*Кикибио, повару Куррадо Джанфильяцци, находчивым ответом,
который он придумал для того, чтобы себя спасти,
удаётся развеселить взбешенного Куррадо и избежать передраги,
коей тот ему грозил*



огда Лауретта умолкла, все принялись расхваливать Нонну, а затем королева велела рассказывать Нейфиле, и та повела свой рассказ так:

— Любезные дамы! Люди бывают обязаны быстрыми, находчивыми и блестящими ответами не только своей собственной сообразительности, но и случаю, который иной раз приходит на помощь застенчивым и мгновенно вкладывает им в уста такие ответы, которые в обычных обстоятельствах не пришли бы им в голову. Вот об этом-то я и хочу рассказать.

Все вы могли знать, а если не знать, то, по крайности, слышать об именитом нашем горожанине Куррадо Джанфильяцци, человеке щедром, широком, жившем по-барски, любившем охоту псовую и соколиную, что не мешало ему, однако ж, заниматься и важными делами. Как-то раз, близ Перетолы, его сокол поймал журавля, и Куррадо, уверившись, что журавль молодой и упитанный, послал его искусному своему повару, венецианцу по имени Кикибио, и велел передать, чтобы тот как можно лучше изжарил его и подал к ужину. Кикибио, — малый, должно заметить, пренебрежительный, — зарезал журавля, положил на сковородку и принялся усердно его поджаривать. Когда журавль был уже почти готов и из кухни сильно запахло жареным, на кухню случайно забежала бабенка из ближней деревни, по имени Брунетта, за которой Кикибио здорово

приударял, и, сперва восчувствовав запах жареного журавля, а потом и увидев его, с умильным видом стала просить Кикибио дать ей бедрышко.

«Не дам я вам бедрышко, донна Брунетта, не дам я вам бедрышко!» — на певучем своем наречии отвечал ей Кикибио.

«Не дашь, так и я тебе не дам, крест истинный!» — в сердцах сказала донья Брунетта.

Коротко говоря, оба расшумелись. Кончилось дело тем, что Кикибио, дабы не огорчать свою даму сердца, оторвал от журавля бедро и отдал ей.

Когда же Куррадо и его гостям был подан журавль без одной ноги, то Куррадо пришел в изумление, тут же послал за Кикибио и спросил, где другая нога. На это ему венецианский враль, не моргнув глазом, ответил: «Сударь! Да ведь у всех журавлей одна нога!»

Куррадо возмущился. «То есть как, черт побери, у всех одна нога? — вскричал он. — Что, я журавлей никогда не видал, что ли?»

Кикибио твердил свое: «Да правда же, мессер! Если угодно, я вам это докажу на живых».

Из уважения к гостям Куррадо не хотелось вступать с ним в дальнейшие препирательства, и он только пригрозил: «Ты намерен показать мне у живых журавлей нечто такое, чего я видом не видал и слыхом не слышал, — ну так покажи мне это завтра же, тогда я успокоюсь. Но если не покажешь, — вот тебе Христос, — я велю так тебя вздуть, что ты, себе на горе, всю жизнь меня будешь помнить».

Тем и кончилось в тот вечер их словопрение, а наутро гнев у Куррадо вместе со сном не прошел, — напротив: внутри у него все кипело; он встал чуть свет, велел седлать коней и, приказав Кикибио сесть на клячу, поехал к болоту, где на рассвете всегда было много журавлей. «Сейчас мы увидим, кто вчера солгал — ты или я», — сказал Куррадо.

Кикибио, до смерти напуганный, трусил следом за ним, а сам рад был бы дернуть, ибо он ясно видел, что Куррадо еще не отошел, — значит, ему во что бы то ни стало нужно было вывернуться, а вот каким образом — этого он себе не представлял. Но и дернуть он не мог и все только посматривал — то вперед, то назад, то по сторонам, и что ни попадалось ему на глаза, все-то он принимал за журавля, стоящего на двух ногах.

Подъезжают они к болоту — глядь, на берегу журавлей этак десять стоят на одной ноге, — так обыкновенно журавли спят. Кикибио не преминул указать на них Куррадо. «Теперь вы сами видите, мессер, что вчера говорил правду, — молвило он, — у журавлей-то одна нога! Глядите — вон они стоят!»

Куррадо посмотрел на журавлей и сказал: «Погоди! Сейчас я тебе покажу, что у них две ноги». Тут он к ним подкрался, да как крикнет: «Хо-хо!» — все журавли, словно по команде, опустили другую ногу и, взяв разбег, полетели. Тогда Куррадо обратился к Кикибио: «Что, мошенник? Теперь ты видишь, что у них две ноги?» Кики-



био совсем было растерялся, но вдруг его осенило. «Вижу, мессер, — сказал он, — да ведь вчера-то вы же не крикнули: «Хо-хо!», — а вот если бы вы крикнули, тогда бы и вчерашний журавль опустил вторую ногу».

Этот ответ так понравился Куррадо, что, вместо того чтобы еще пуще разгневаться, он весело рассмеялся. «Твоя правда, Кикибио, — сказал он. — Жаль, что я вчера не крикнул».

Так, благодаря находчивому и забавному ответу, Кикибио отвел от себя беду и помирился со своим господином.





*Мессер Форезе да Рабатта и живописец Джотто возвращаются из Муджелло;
у обоих прежалкий вид,
и по этому поводу они изоцряют друг над другом свое остроумие*



огда Нейфила умолкла и дамы выразили свое восхищение тем, как ловко извернулся Кикибио, Панфило по воле королевы начал так:

— Милейшие дамы! Подобно как Фортуна под покровом низменных занятий таит иногда дивные сокровища сердечных достоинств, о чем нам только что поведала Пампинейя, так же точно природа в безобразнейшем человеческом теле скрывает иной раз какой-нибудь чудный дар. Это мы можем видеть на примере двух наших сограждан — о них-то я и собираюсь вкратце вам рассказать. Один из них, мессер Форезе да Рабатта, был коротышка, урод, с приплюснутым лицом, курносый, так что самому неказистому из семьи Барончи было бы противно на него смотреть, а вместе с тем он так знал законы, что сведущие люди прозвали его кладезем премудрости юридической. Другой, по фамилии Джотто, благодаря несравненному своему дару все, что только природа, содетельница и мать всего сущего, ни производит на свет под вечно вращающимся небосводом, изображал карандашом, пером или же кистью до того похоже, что казалось, будто это не изображение, а сам предмет, по каковой причине многое из того, что было им написано, вводило в заблуждение людей: обман зрения был так силен, что они принимали изображенное им за сущее. Он возродил искусство, которое на протяжении столетий затапывали по своему неразумию те, что старались не столько угодить вкусу знатоков, сколько увеселить взор невежд, и за это по праву может быть назван красю и гордостью Флоренции. И тем большая подобает ему слава, что держал он себя в высшей степени скромно: он был первым мастером, однако упорно от этого

звания отказывался. Оно же тем ярче сверкало на его челе, чем больше его домогались и с чем большей жадностью присваивали его себе менее искусные, чем он, живописцы или же его ученики. Словом, художник он был великий, а вот фигура его и лицо были ничуть не лучше, чем у мессера Форезе. Но обратимся к нашему рассказу.

И у мессера Форезе и у Джотто были в Муджелло имения. В тот летний месяц, когда суды бывают закрыты, мессер Форезе собрался осмотреть свои владения, а когда ехал верхом на наемной клячонке обратно, то нагнал Джотто, также осмотревшего свои владения и возвращавшегося во Флоренцию. Кляча и сбруя у Джотто были такие же убогие, как и у мессера Форезе, и вот два старика не спеша поехали вместе. Как это часто бывает летом, вдруг полил дождь, и спутники постарались как можно скорее укрыться у одного сельчанина, общего их знакомого и друга. Видно было, что дождь зарядил надолго, а мессеру Форезе и Джотто хотелось добраться до Флоренции засветло, и они попросили хозяина дать им на время плащи и шляпы; хозяин дал им два старых плаща, какие носят в Романье, две дырявые шляпы, за неимением лучших, и они поехали дальше.

Вымокшие до нитки, забрызганные все время летевшей из-под конских копыт грязью, которая отнюдь не украшала путников, они долго ехали молча, однако ж в конце концов разговорились, тем более что и на небе стало светлее. Мессер Форезе со вниманием слушал Джотто, ибо тот был говорун изрядный, а сам все посматривал на него: то сбоку, то спереди, то сзади, — словом, оглядел его с головы до ног; на себя-то он не смотрел, а у Джотто был такой жалкий и несчастный вид, что мессер Форезе невольно расхохотался. «А что, Джотто, — сказал он, — вдруг бы нам сейчас повстречался человек, который никогда тебя прежде не видел, — как ты думаешь: поверил бы он, что ты — лучший живописец в мире?»

Джотто ему на это ответил так: «Я думаю, мессер, что поверил бы в том случае, если бы, взглянув на вас, поверил бы, что вы умеете читать по складам».

Тут мессер Форезе осознал свою оплошность и понял, что долг платежом красен.





*Микеле Скальца спорит с молодыми людьми на ужин,
что Барончи — самые знатные люди не только на всем свете,
но даже на всем побережье, и выигрывает спор*



амы долго смеялись над находчивым и блестящим ответом Джотто; наконец королева обратилась к Фьямметте, и та начала следующим образом:

— Юные дамы! Может статься, вы хуже знаете Барончи, нежели Панфило, который о них упомянул, а мне он напомнил о том, как была доказана их родовитость, — это имеет прямое отношение к сегодняшней нашей беседе, и потому я вам про них расскажу.

В нашем городе жил некогда молодой человек по имени Микеле Скальца, такой славный и такой забавный, какого свет не производил, и всегда у него были в запасе самые невероятные истории, — вот почему флорентийские юноши весьма дорожили его обществом. Как-то раз был он кое с кем из приятелей в Монтуги, и он заспорили: чей род во Флоренции самый славный и самый древний? Одни называли Уберти, другие — Ламберти, каждый отстаивал свое мнение.

Скальца выслушал их и усмехнулся. «Экое же вы дурачье! — сказал он. — И что вы только мелете? Самый славный и самый древний род — не только на всем свете, но даже на всем побережье — то род Барончи, и на этом сходятся все просвещенные люди и все, кто знает их так же хорошо, как я, а во избежание недоразумений я почитаю за нужное пояснить, что я имею в виду ваших соседей — тех самых Барончи, что живут близ Санта Мария Маджоре».

Для молодых людей эти слова Скальца явились неожиданностью, и они подняли своего приятеля на смех. «Ты что, издеваешься над нами? — сказали он и. — Мы знаем Барончи не хуже тебя».

«Да не думаю я издеваться, клянусь Евангелием, — объявил Скальца, — я говорю правду и если кто-нибудь из вас накормит ужином выигравшего спор и еще шестерых приятелей, каких он сам выберет, то я охотно с ним поспорю и готов пойти на самые невыгодные для себя условия: право рассудить наш спор я предоставляю любому из вас».

Тогда один молодой человек по имени Нери Маннини сказал: «Я готов держать пари и выиграю его». Выбрав судьей Пьеро ди Фьорентино, в доме которого они находились, спорщики пошли к нему в комнату, дабы сообщить о своей затее, а следом за ними и все остальные, — всем хотелось присутствовать при том, как проиграет Скальца, и позлить его.

Пьеро был юноша толковый; сначала он выслушал доводы Нери, а затем, обратившись к Скальце, спросил: «Ну, а ты чем докажешь свою правоту?»

«Чем? — переспросил Скальца. — У меня есть такой веский довод, что, когда я его приведу, не только ты, но и вот он, который со мной спорит, подтвердит, что я говорю правду. Известно, что чем род древнее, тем он славнее — с этим все здесь согласны. Род Барончи всех древнее, а значит, и славнее. Доказав же, что их род — самый древний, я выиграю спор. Надобно вам знать, что господь сотворил Барончи, когда он только еще начал учиться живописи, меж тем как других людей господь сотворил, когда он уже научился живописи. Если вам угодно удостовериться, что я говорю правду, то присмотритесь к Барончи и к другим людям: у всех лица как лица, с правильными чертами, а теперь переведите взгляд на Барончи: у одного лицо слишком длинное и слишком узкое, а у другого — чересчур широкое, у этого — длинный носище, а у того — пуговкой, у иного подбородок выступил вперед и крючком изогнулся, а челюсти — как у осла, есть и такие, у которых один глаз больше другого, есть и такие, у которых один глаз ниже другого, точь-в-точь как на рожицах, которые получают у детей, когда они начинают рисовать. Отсюда вывод: как я уже сказал, господь сотворил Барончи, когда только еще учился живописи, — следовательно, их род самый древний, а значит, и самый славный».

Выслушав потешное рассуждение Скальцы, судья Пьеро и Нери, поспоривший со Скальцей на ужин, расхохотались и признали, что Скальца прав, что спор он выиграл и что род Барончи, подлинно, самый славный и самый древний не только во всей Флоренции, но и на всем свете и даже на всем побережье.

Вот почему Панфило, желая, чтобы мы получили представление о том, сколь безобразен был мессер Форезе, имел полное право сказать, что даже самому неказистому из всех Барончи было бы противно на него смотреть.





*Донну Филиппу муж застаёт с любовником;
на суде она благодаря находчивому и остроумному ответу
избавляет себя от наказания
и даёт повод для того, чтобы изменить закон*



ьямметта умолкла, а все еще продолжали смеяться над своеобразным доводом, который привел Скальца в доказательство особой родовитости Барончи; наконец королева велела рассказывать Филострато, и он начал так:

— Достойные дамы! Весьма похвально проявлять красноречие при любых обстоятельствах, однако ж, по мне, еще похвальнее уметь проявлять его в нужных случаях. Этим искусством прекрасно владела та знатная дама, про которую я намерен вам рассказать: она не только вызвала

у тех, кто слушал ее, веселый смех, но, как это вы сейчас узнаете, избавила себя от позорной смерти.

В городе Прато некогда существовал суровый и постыдный, ни для кого не делавший исключений закон, присуждавший женщин, уличенных мужьями в прелюбодеянии, равно как и отдавших кому-либо за деньги, к сожжению на костре. И вот, когда этот закон еще действовал, некую знатную, красивую и безумно влюбленную даму по имени донна Филиппа, муж, Ринальдо де Пульези, ночью застал у нее в комнате в объятиях Ладзарино де Гваццальотри, уроженца того же города, благородного и прекрасного юноши, которого она любила, как самое себя, и который отвечал ей взаимностью. Ринальдо в порыве ярости чуть было на них не бросился, и если бы только он не боялся за это ответить, то прикончил бы их обоих на месте — столь сильный обуял его гнев. От убийства он удержался, но зато потом, опираясь на пратский закон, не удержался, чтобы не потребовать того, что он сам не имел права совершить: он потребовал казни своей жены. Уликами он располагал неопро-

вержими, а потому, дождавшись утра, не долго думая, предъявил жене обвинение и вызвал ее в суд. Донна Филиппа, женщина бесстрашная, как все влюбленные женщины, сколько ни отговаривали ее родные и знакомые, решила непременно явиться в суд, — она предпочитала сказать всю правду и храбро умереть, нежели трусливо бежать, из-за неявки в суд обречь себя на изгнание и оказаться недостойной любовника, в чьих объятиях она провела минувшую ночь. Сопровождаемая целой толпой мужчин и женщин, убеждавших ее все отрицать на суде, она предстала перед градоправителем и, смело глядя ему прямо в глаза, недрогнувшим голосом спросила, чего ему от нее надобно. Градоправитель обратил внимание, как она хороша собой и с каким достоинством себя держит, в самом звуке ее голоса ему послышалась душевная твердость, и он пожалел ее; более того, он уже боялся, как бы она не призналась в чем-нибудь таком, за что он, верный своему долгу, вынужден будет приговорить ее к смертной казни.

Со всем тем ему ничего иного не оставалось, как подвергнуть ее допросу по поводу возведенного на нее обвинения. «Милостивая государыня! — начал он. — Сколько вам известно, ваш муж Ринальдо подал на вас жалобу, в коей он утверждает, что застал вас с мужчиной, с которым вы прелюбодействовали, и на основании этого требует, чтобы я, в согласии с действующим у нас законом, приговорил вас к смертной казни, я же не могу вас приговорить, если вы не сознаетесь. Итак, подумайте хорошенько, прежде чем отвечать, а затем скажите, правду ли показал на вас муж».

Донна Филиппа нимало не смутилась. «Мессер! — веселым голосом заговорила она. — Что Ринальдо — мой муж и что нынче ночью он застал меня в объятиях Ладзарина, — а я много раз бывала в его объятиях, ибо люблю его пламенно и беззаветно, — все это совершенная правда, я этого и не думаю отрицать, однако ж вам не может не быть известно, что законы должны применяться ко всем одинаково, вводятся они должны с согласия тех, кого они касаются. Настоящий закон таковым требованиям не отвечает: он только горемычным женщинам не дает развернуться, а между тем женщины в состоянии удовлетворить многих, мужчины же им в этом значительно уступают. Кроме того, когда этот закон вводили, женщины опрошены не были, согласия своего женщины не дали, — вот почему его нельзя назвать иначе как злодейским. В вашей воле — применить его ко мне и тем погубить мою жизнь, а вместе с ней и свою душу, но, прежде чем выносить какое-либо решение по моему делу, явите мне, пожалуйста, одну невеликую милость: спросите моего мужа, отказывала ли я ему когда-либо, вся ли я ему каждый раз отдавалась, и притом столько ли раз, сколько ему было угодно». На это Ринальдо, не дожидаясь вопроса со стороны градоправителя, поспешил ответить, что жена в самом деле безотказно исполняла все его желания. «А коли так, — подхватила донна Филиппа, — позвольте вас спросить, господин градоправитель: если он берет от меня все, что только ему требуется и желается, то как же я должна поступить с излишком, который у меня остается? Собакам, что ли, его скормить? Ведь это может поте-



ряться, может испортиться, так не лучше ли услужить благородному человеку, который любит меня больше самого себя?»

На расследование дела столь обольстительной и столь знатной дамы собрался чуть ли не весь Прато; услышав забавный ее ответ, все захохотали, а потом, досыта насмеявшись, почти в один голос крикнули, что жена права и что она говорит дело. Прежде чем разойтись, горожане, поощряемые градоправителем, исправили закон: теперь его можно было применять только к женам, которые изменяли мужьям ради денег. По сему обстоятельству Ринальдо, потерпевший неудачу с безрассудной своей затеей, удалился в смущении, зато его оправданная жена возвратилась домой с видом торжествующим и победоносным.





Фреско советует своей племяннице не смотреться в зеркало, коль скоро, как она уверяет, ее тошнит от людей противных



Рассказ Филострато поначалу слегка смутил слушательниц, о чем свидетельствовала краска стыда, проступившая на их лицах; однако ж, переглядываясь, фыркая и давясь хохотом, они кое-как его дослушали. Когда же Филострато досказал, королева велела рассказывать Эмилии, и та, глубоко вздохнув, словно только что пробудилась, начала следующим образом:

— Милые подружки! Я задумалась и в мыслях унеслась отсюда надолго и далеко, — вот почему я исполню повеление королевы, но только, по всей вероятности, рассказ мой получится гораздо короче, чем если бы я душой была здесь, а расскажу я вам о сумасбродстве одной девицы, о том, как дядя, прибегнув к шутке, попытался ее образумить и как у нее не хватило ума понять его шутку.

Так вот, у одного человека по имени Фреско да Челатико была племянница, которую все называли ласкательным именем — Ческа, и хотя она была и пригожа и стройна, со всем тем никак нельзя было сказать, что у нее ангельское личико, — такие теперь встречаются часто, — она же была весьма высокого о себе мнения, много о себе думала, и у нее вошло в привычку осуждать и мужчин и женщин, и все, что бы ни попало ей на глаза, вот только о самой себе она умалчивала, между тем неприятнее, надоедливее и взбалмошнее ее не было никого на свете, и ничем нельзя было ей угодить. Помимо всего прочего, особы французского королевского рода не были так спесивы, как она. По улице она шла с брезгливым видом и поминутно морщилась, точно от всех прохожих дурно пахло. Я не стану описывать все ее отвратительные

и омерзительные выходки — расскажу только вот о чем: как-то раз вернулась она домой, под села к Фреско — и давай ломаться и фыркать. Наконец Фреско не выдержал и спросил: «Что это значит, Ческа? Ведь нынче праздник, а ты так скоро возвратилась домой».

На это она ему, кривляясь до отвращения, ответила так: «Возвратилась я скоро, это верно, но я никак не могла себе представить, чтобы в нашем городе и мужчины и женщины были до такой степени отвратительны и омерзительны. Что ни прохожий, то чучело, а я просто не выношу противных людей, меня от них тошнит! Оттого-то я так скоро и возвратилась».

Фреско опостытели несносные ужимки его племянницы, и он ей сказал: «Если тебе, голубушка, до того уж претят противные люди, то, чтобы не портить себе расположение духа, никогда не глядись в зеркало». Но девица хоть и почитала себя премудрой, как Соломон, на самом деле представляла собой трость, ветром колеблемую, и, поняв шутку Фреско не лучше, чем бы ее понял баран, она объявила, что намерена смотреться в зеркало не реже других. Какой была она тупицей, такой и осталась.





Гвидо Кавальканти под видом безобидной шутки наносит оскорбление флорентийским дворянам, которые сделали попытку заставить его врасплох



ак скоро королева увидела, что Эмилия уже отделалась и что, — за исключением того, кому было предоставлено право последней очереди, — рассказывать, кроме нее, больше никому, то начала так:

— Обольстительные дамы! Сегодня вы рассказали, по крайней мере, две повести, которые я сама собиралась вам рассказать, но у меня осталась в запасе еще одна, и вот в конце этой повести приводятся слова, глубокомысленнее которых я еще не слыхивала.

Итак, надобно вам знать, что в старину город наш славился прекрасными и достохвальными обычаями, однако ж ни один из них не сохранился, и обязаны мы этим ничему иному, как сребролюбию, которое все усиливалось, по мере того как люди богатели, и вот оно-то старинные обычаи и искоренило. Среди прочих обычаев был у нас и такой: знатные флорентийцы, проживавшие друг от друга поблизости, образовывали общества, которые должны были состоять из определенного числа членов, и следили за тем, чтобы вступающие имели полную возможность ради общества тряхнуть мошной, и, согласно уставу, нынче — ты, зав-

тра — он, словом, все по очереди, — у каждого был свой день, — приглашали к себе все общество, причем нередко угощали и знатных чужестранцев, равно как и других горожан. Кроме того, раз в год все они одинаково наряжались, по высокотожественным дням вместе катались по городу, время от времени, главным образом по большим праздникам или же когда получалось радостное известие о победе либо о чем-нибудь подобном, устраивали состязания. Среди таковых обществ было общество мессера Бетто Брунеллески, куда сам мессер Бетто и его сотоварищи всячески старались заманить Гвидо, сына Кавальканте де Кавальканти, и заманивали они его неспроста: то был один из лучших знатоков логики и выдающийся натурфилософ, но как раз эти его качества не представляли для членов общества большой ценности, — их привлекало в нем то, что это был очаровательный человек, красноречивый, честного поведения, за что бы он ни взылся, — а брался он только за то, что пристало порядочному человеку, — все делал лучше всех; вдобавок он был страшно богат, а уж какой почет оказывал Гвидо тем, кого он уважал, — этого язык человеческий не в силах изобразить. И все же мессер Бетто не достигнул своей цели; не достигнул же он ее, по его собственному мнению, равно как и по мнению его сотоварищей, оттого, что Гвидо любил оставаться один на один со своими мыслями и сторонился людей. А так как он до известной степени был приверженцем эпикурейцев, то простой народ полагал, что размышляет он только о том, можно ли доказать, что бога нет.

Как-то раз вышел он с Орто Сан Микеле на Корсо дельи Адимари и двинулся по направлению к Сан Джованни, — то был его обычный путь, — а вокруг Сан Джованни было тогда много больших мраморных и всяких других гробниц, — теперь они находятся в Санта Репарата, — словом, тут тебе и порфиновые колонны, и эти самые гробницы, и запертые двери Сан Джованни, по площади же Санта Репарата проезжали верхами мессер Бетто и его приятели; заметив меж гробниц Гвидо, они сказали друг другу: «Давайте позлим его!» Гвидо шел, ничего вокруг себя не замечая, а они, пришпорив коней, сделали вид, что чуть на него не наехали, и заговорили с ним: «Гвидо! Ты предпочитаешь нашему обществу одиночество. Но если даже ты откроешь, что бога нет, то какой тебе от этого прок?»

Гвидо, заметив, что они окружили его со всех сторон, выпалил: «Синьоры! У себя дома вы вольны говорить мне все, что вам вздумается», — затем оперся рукой на одну из гробниц и с поразительной легкостью перемахнул через нее, хотя гробница была достаточно высока, и, очутившись вне досягаемости своих собеседников, пошел от них прочь.

Те сначала в недоумении переглянулись, а потом стали говорить, что Гвидо спятил, — в его словах нет-де никакого смысла; то место, где они сейчас находятся, не принадлежит ни им, ни кому-либо еще из горожан, — скорей уж Гвидо может на него притязать. А мессер Бетто им сказал: «Сами вы спятили, раз не уловили смысла в его речах: ведь он с помощью немногих слов и в учтивых выражениях нанес нам чудовищное

оскорбление. Вникните в его слова, и тогда вы поймете все: эти гробницы — дома мертвецов, ибо туда кладут мертвые тела, и они там лежат; он же называет их нашим домом, намекая на то, что мы, равно как и все прочие невежды и неучи, по сравнению с ним и с другими просвещенными людьми — хуже мертвых и потому, находясь здесь, мы находимся у себя дома».

Спутникам мессера Бетто, уразумевшим наконец, что хотел сказать Гвидо, стало стыдно, и больше они к нему не приставали, а мессера Бетто признали за человека догадливого и сообразительного.





Брат Лука обещает крестьянам показать перо архангела Гавриила, но, обнаружив угли там, где лежало перо, уверяет, будто это те самые угли, на коих был изжарен святой Лаврентий



огда все члены общества отбыли свою очередь, Дионео, видя, что теперь надлежит рассказывать ему, не стал дожидаться особого приглашения и, попросив умолкнуть тех, кто все еще восхищался острым словом Гвидо, начал так:

— Дражайшие дамы! Хотя я и пользуюсь преимуществом рассказывать о чем угодно, нынче я все же не собираюсь уклоняться от того, что послужило вам предметом для столь остроумных рассказов; идя по вашим стопам, я хочу рассказать, как ловко один монах Ордена святого Антония избегнул срама, вовремя учуяв ловушку, которую ему подстроили два молодых человека. Надеюсь, вы не будете на меня в обиде, если я, чтобы не комкать рассказа, отниму у вас порядочно времени, — ведь солнце еще в зените, гляньте на небо.

Вы, наверно, слышали, что в нашей округе, в Валь д'Эльза, находится селение Чертальдо, и хотя селение это и невелико, в былое время там жили люди знатные и состоятельные. И вот туда-то, зная наверняка, что там будет чем поживиться, долгое время имел обыкновение являться раз в год для сбора пожертвований, поступающих от простофиль, монах Ордена святого Антония брат Лука, которого радушно принимали в Чертальдо, быть может, не только потому, что там жили люди благочестивые, но также и из-за его имени, ибо в тех местах родится лук, славящийся на всю Тоскану.

Брат Лука, рыжий, низкорослый, был весельчак и душа общества. Круглый невежда, он, однако ж, пользовался известностью как великодушный, находчивый оратор, — кто его не знал, тот почитал его за

великого ратора, за новоявленного Цицерона или же за Квинтилиана, и всем он был друг-приятель.

И вот как-то раз в августе он, по своему обыкновению, пошел туда и воскресным утром, когда все добрые крестьяне и крестьянки из окрестных деревень пришли в свою приходскую церковь к обедне, он, выбрав время, вышел на амвон и обратился к прихожанам с такими словами: «Возлюбленные братья и сестры! Сколько вам известно, есть у вас такой обычай: каждый год помогать неимущим, находящимся под покровительством святого Антония, зерном и хлебом, — кто сколько может, все зависит от вашей зажиточности и от вашего усердия к богу, — дабы блаженный Антоний охранял ваших волов, ослов, свиней и овец. А еще вам надлежит уплатить небольшой взнос, который вы платите раз в год, — это относится к тем, кто приписан к нашему братству. И вот, для того чтобы все это с вас собрать, начальник мой, то есть отец настоятель, и послал меня сюда. Того ради в четвертом часу пополудни вы, как услышите звон, идите, с богом, сюда, к церкви, я, по обыкновению, скажу проповедь, а затем вы приложитесь к кресту. Помимо этого, за то, что вы так чтите нашего покровителя — святого Антония, я в виде особой милости покажу вам великую и предивную святыню, которую я самолично привез из святых мест, а именно — перо архангела Гавриила, которое он обронил в Назарете в жилище девы Марии после того, как поведал ей благу ю в е с т ь». Засим брат Лука продолжал служить обедню.

Когда брат Лука обратился с этой речью к прихожанам, в густой толпе молящихся находились два юных забавника — Джованни дель Брагоньера и Бьяджо Пиццини. Посмеявшись втихомолку над святыней брата Луки, они, хоть и были с ним в большой дружбе — их, бывало, водой не разольешь, — порешили поднять его с этим пером на смех. Прознав, что брат Лука обедает нынче у своего приятеля, и уверившись, что он уже сел за стол, они пошли в ту гостиницу, где он остановился, предварительно условившись, что Бьяджо заговорит слугу брата Луки, а Джованни в это время поищет в вещах брата Луки перо и стащит его, — обоим было любопытно, что-то он скажет потом народу. Слугу брата Луки одни называли «Гуччо Кит», другие — «Гуччо Грязнуля», а иные — «Гуччо Свинья», и был он до того дурашлив, что сам Липпо Топо, уж верно, ему в том уступал. Брат Лука любил подшутить над ним в тесном кругу и говорил про него: «У моего слуги девять таких свойств, что, если б хоть одно из них было у Соломона, у Аристотеля или же у Сенеки, этого было бы довольно, чтобы опорочить всю их добродетель, мудрость и святость. А теперь представьте себе человека, у которого нет ни добродетели, ни мудрости, ни святости, а тех самых свойств — девять!» Когда же брату Луке задавали вопрос, какие это свойства, он отвечал в рифму: «Сейчас вам скажу: он копун, пачкун и лгун; он неисполнителен, неграмотен и непочтителен; он лентяй, он разгильдяй, он негодяй. Есть у него и другие изъяны, но о них я лучше умолчу. А вот самая смешная из его замашек: везде-то он сватается и везде собирается снять дом. А так как борода у него длинная, черная, лоснящаяся, то он почитает себя совершенно неот-

разным и воображает, что все женщины поголовно в него влюблены. Дай ему волю — он так бы за всеми, задравши хвост, и бегал. Должен, однако ж, заметить, что мне от него польза великая: кто бы ни пожелал поговорить со мной наедине, он всегда начеку: боится, что я отвечу невпопад, и, чуть только зададут мне вопрос, он, по своему разумению, отвечает за меня «да» или «нет».

Уходя, брат Лука строго-настрого наказал слуге смотреть, чтобы никто не трогал его вещей, особливо — сумы, ибо там — его святыни. Однако ж Гуччо Грязнулю сильней манила к себе кухня, чем соловушку зеленая ветвь; особенно его туда тянуло, когда он там замечал служанку, и тут он как раз увидел в гостиничной кухне грязную, грузную, приземистую, безобразную бабу, с грудями, что корзины, в которых таскают навоз, с лицом, как у Барончи, в поту, в сале и в саже, и, как стервятник на падаль, бросился туда, не заперев двери в комнату брата Луки и оставив на произвол судьбы все его вещи. Хотя дело было в августе, он подсел к огню и, заведя разговор со служанкой, — ее звали Н у т о й , — сообщил ей, что он дворянин на предьявителя и что у него девять уйм флоринов, не считая тех, которые он задолжал, а таковых, пожалуй, будет еще побольше, и все-то он умеет: и дело делать, и лясы точить, ей-ей! Позабыв, что из его засаленного капюшона можно было суп сварить, забыв о своем рваном, заплатанном, лоснившемся от грязи на воротнике и под мышками полукафтанье, с таким количеством разноцветных пятен, что по сравнению с ним ткани татарские и индийские показались бы куда менее пестрыми, о стоптанных башмаках и дырявых чулках, он, вообразив себя не ниже великого герцога Кастильонского, объявил, что намерен вырядить ее, как куколку, и вполне обеспечить, так чтобы она была избавлена от горькой необходимости жить в людях; золотых гор он, дескать, ей не сулит, однако ж надеяться на лучшее будущее у нее есть теперь все основания. Но он только даром расточал ласковые слова: и это его предпрятие, подобно большинству предшествующих, успехом не увенчалось. Словом, два молодых человека застали Гуччо Свинью хлопочущим около Нуты. Это обстоятельство обрадовало и х , — полдела было, таким образом, уже сделано , — и они беспрепятственно проникли в комнату брата Луки, дверь в которую оказалась незапертой, и начали поиски с той сумы, где лежало перо. В суме они обнаружили завернутый в шелковую ткань ларчик, а в ларчике — перо из хвоста попугая, и решили, что это и есть то самое перо, которое брат Лука обещал показать жителям Чертадьо. В те времена он вполне мог рассчитывать, что ему поверят, потому что тогда еще египетские диковины были в Тоскане редкостью, — это уж они потом хлынули потоком и разорили Италию. Тогда вообще мало кто имел о них понятие, а уж местные-то жители и подавно. Тогда еще там держалась простота и чистота нравов, завещанная предками, и поздние их потомки не только никогда не видели попугаев, но большинство и слыхом про них не слыхало. Довольные своею находкою, молодые люди взяли перо, а взамен наложили в ларец углей, которые попались им на глаза в углу комнаты. Закрыв ларчик и все оставив так, как было, молодые люди незаметно прошмыгнули на улицу, предвкушая удоволь-



ствие посмотреть, как-то станет выпутываться брат Лука, обнаружив вместо пера угли.

Когда обедня кончилась, бывшие в церкви мужчины и простодушные женщины разошлись по домам. Сосед рассказал соседу, кума — куме, так что после обеда в селе началось сущее столпотворение — так много явилось жаждущих взглянуть на перо. Брат Лука, плотно пообедав, а после обеда вздремнув, в четвертом часу встал и, узнав, что целая толпа крестьян с нетерпением ждет, когда ей покажут перо, велел сказать Гуччо Грязнуле, чтобы он захватил колокольчики и суму и шел к церкви. С трудом оторвавшись от кухни и от Нуты, Гуччо взял все, что требовалось, и медленным шагом, отдуваясь, — до того он разбух от неимоверного количества выпитой в о д ы , — направился к церкви; брат Лука велел ему стать у церковных дверей, и он изо всех сил зазвонил в колокольчики. Когда все собрались, брат Лука, уверенный, что все у него в целости, произнес длинную проповедь, подходившую к данному случаю. Нужно было наконец показать п е р о , — тут он с особым благоговением прочел молитву, велел зажечь два факела, откинул капюшон и осторожно развернул шелковую ткань. Засим сказал несколько слов в похвалу и во славу архангела Гавриила и своей святыни и только после этого открыл ларчик. Увидев, что там полно углей, монах не заподозрил Гуччо К и т а , — он знал, что Гуччо до этого не додуматься, — и даже не выругал его за недосмотр, — он мысленно проклинал себя за то, что доверил свои вещи человеку, которого сам же считал неисполнительным, нерачительным, лентяем и разгильдяем. И все же брат Лука не растерялся — подняв очи и воздев руки горе, он громогласно произнес: «Слава силе твоей, господи!» Тут он закрыл ларчик и обратился к народу с такою речью:

«Возлюбленные братья и сестры! Да будет вам известно, что, когда я еще был весьма юн, начальник мой послал меня в те страны, где восходит солнце; особенно настаивал он на том, чтобы я посетил Страну Свиных Пузырей, но ведь надуть-то их ничего не стоит, да что от них толку? Итак, вышел я из Венеции, прошел все Борго де Гречи, проехал верхом королевство Алгарвское, затем — Багдад, прибыл в Парионе, и наконец, испытывая сильную жажду, некоторое время спустя достигнул Сардинии. Я не стану подробно описывать вам все страны, где мне довелось побывать. Коротко говоря, переплыв пролив Святого Георгия, я посетил Страну Проходимцев и Страну Лихоимцев — страны многолюдные и густо населенные. Оттуда я пробрался в страну Обманулию, — там многие монахи нашего и других Орденов, ревнуя о боге, ни в чем себе не отказывают, чужих забот к сердцу не принимают, думают только о своей выгоде и расплачиваются поддельными индугенциями. Оттуда я направился в землю Абруцкую — здесь мужчины и женщины ходят кто — передом, кто — задом, а питаются колбасами и сосисками. Немного дальше я увидел людей, носивших хлеб на палках, а вино в бурдюках, после чего приблизился к Червивым горам — вся вода с них стекает вниз. За короткое время я забрался далеко: в самую глубь Морковной Индии, и, клянусь своей рясой, мне случилось там видеть, как цветут н о ж и , — кто сам этого не видал, тот может подумать, что я плету небылицы. Но тут

не даст мне соврать Мазо дель Саджо — именитый купец, с коим мы там встретились, — он колот орехи, а скорлупу продавал в розницу. Так я там и не нашел, чего искал, потому что дальше нужно ехать в о д о й, — делать нечего, повернул я назад и достигнул Святой земли, где в летний год черствый хлеб стоит четыре динария, а свежий даром дают. Там я побывал у великого отца Небранитеменябогарадия, святейшего патриарха Иерусалимского, который из уважения к Ордену моего покровителя — святого Антония, к коему я принадлежу, соизволил показать мне все свои святыни, а их у него такое великое множество, что если б я взялся их перечислить, то до конца так бы и не добрался, но все-таки, чтобы не огорчать вас, некоторые я упомяну. Он показал мне и перст святого духа, совершенно целый и непопорченный, и локон серафима, являвшегося святому Франциску, и ноготь херувима, и ребро Слова-в-позолоте, и одеяния Святой католической веры, и несколько лучей звезды, которую волхвы увидели на востоке, и пузырек с каплями пота, струившегося со святого Михаила, когда тот боролся с дьяволом, и челюсть смерти Лазаря, и прочее тому подобное. А так как я не пожалел для патриарха склонов Монте Морелло в переводе на итальянский язык и нескольких глав из Содомия, которые он давно разыскивал, то в благодарность он наделил меня кое-чем от своих святынь: подарил мне зубец из Санта Кроче, пузыречек со звоном колоколов Храма Соломона, перо архангела Гавриила, о котором я уже упоминал, деревянный башмак святого Герарда Вилламаньского, который я недавно пожертвовал во Флоренции Герарду ди Бонзи, ибо он особенно высоко чтит этого святого, а еще патриарх дал мне углей, на коих был изжарен мученик, блаженный Лаврентий, — все эти святыни я с великим бережением оттуда вывез и взял с собой сюда. Первое время настоятель не позволял мне показывать их — пока не будет удостоверено, подлинны ли то святыни, однако ж чудеса, от них приистекающие, и письма от патриарха доказали их подлинность, и теперь настоятель разрешает мне показывать их. Но только вот что: перо архангела Гавриила я ношу, чтобы оно не смялось, в одном ларце, а угли, на коих был изжарен святой Лаврентий, — в другом, однако ларцы эти так похожи, что я их частенько путаю, и как раз это самое и произошло со мной сегодня: я воображал, что принес ларчик с пером, а на самом деле принес ларчик с углями. Однако ж я склонен думать, более того — я уверен, что это не случайно, что на то была воля божья и что сам господь вложил мне в руки ларец с углями, — ведь я только сейчас вспомнил, что через два дня — Лаврентиев день. Так, видно, богу угодно было, чтобы я, показав вам угли, на коих был изжарен святой Лаврентий, исполнил ваши души благоговения, которое вы должны к нему питать, — вот для чего он внушил мне, что я должен взять не перо, как я предполагал вначале, но честные угли, погашенные жидкостью, содержащейся во святой его плоти. А посему, возлюбленные чада мои, обнажите головы и с благоговением приблизьтесь, дабы узреть их. Знайте: на ком эти угли изобразят крест, тот потом целый год может быть уверен, что когда он обожжется, то это будет ему очень даже чувствительно».

Тут брат Лука запел тропарь святому Лаврентию и, открыв ларчик, показал угли. Некоторое время скопище глупцов рассматривало их с благоговейным трепетом, а потом все, давя друг друга, стали протискиваться к брату Луке, жертвовали ему больше обычного и просили коснуться их углями. Того ради брат Лука стал чертить углем кресты во всю длину и во всю ширину их белых рубах, полукафтаний и покрывал, при этом он уверял, что от начертания крестов угли уменьшаются в размерах, но потом опять вырастают у него в л а р ц е , — это, мол, он уже не раз наблюдал. Так, к великой для себя выгоде, окрестил он всех местных жителей и благодаря своему хитроумию посмеялся над теми, что, похитив у него перо, рассчитывали посмеяться над ним. Молодые люди слышали его проповедь, и после того как он у них на глазах, с помощью подходов и витиеватых оборотов речи, столь ловко вывернулся, обоих разобрал такой смех, что у них долго еще потом болели скулы. Когда же народ разошелся, они направились к нему и с диким хохотом рассказали о своей затее, а затем вернули перо, и на следующий год оно пригодилось брату Луке так же, как в тот день пригодились угли.

Повесть эта всех развеселила и развлекла. Слушатели много смеялись над братом Лукой, особенно над его странствиями и над святынями, которые он видел и которые он привез. Итак, повести Дионео пришел конец, и одновременно пришел конец и власти королевы; тут королева встала, сняла с себя венок и, улыбаясь, возложила его на голову Дионео.

— Пора и тебе, Дионео, хотя бы отчасти испытать, что значит управлять и повелевать женщинами, — сказала она . — Будь же королем и управляй нами таким образом, чтобы в конце твоего царствования мы одобрили принятый тобою образ правления.

Дионео, с венком на голове, заметил, смеясь:

— Да вы же их много раз видели — я разумею шахматных королей, коим цена гораздо выше, чем мне! Впрочем, если б вы меня слушались, как подобает слушаться взаправдашнего короля, я бы доставил вам развлечение, без коего и праздник не в праздник. Оставим, однако ж, этот разговор. Буду править, как у м е ю . — Тут он по заведенному обычаю послал за дворецким и, отдав ему подробные распоряжения на все время своего царствования, сказал: — Достойные дамы! Хорошо, что с нами вступила в разговор донна Личиска, — в ее речах я сыскал предмет для завтрашних наших рассказов, а то здесь было приведено столько самых разнообразных случаев человеческой находчивости, что мне, пожалуй, пришлось бы немало потрудиться над выбором предмета. Как вы помните, она уверяла, что среди ее соседок нет ни одной, которая вышла бы замуж девушкой, и к этому она еще добавила, что ей хорошо известно, сколь многочисленны и каковы те штуки, которые жены вытворяют со своими мужьями. Первое мы отбросим, — это детские забавы , — а вот поговорить о другом было бы, мне кажется, любопытно. Итак,

я повелеваю, раз уж донна Личиска подала нам для этого повод, рассказывать завтра *О тех штуках, какие во имя любви или же ради своего спасения вытворяли со своими догадливыми и недогадливыми мужьями жены.*

Некоторые дамы почли для себя неприличным рассуждать на эту тему и обратились с просьбой к Дионео придумать другой какой-нибудь предмет. Король, однако ж, возразил им:

— Милостивые государыни! Я не менее ясно, чем вы, отдаю себе отчет в том, что это за предмет, и вы меня нимало не поколебали: мне кажется, что в наши дни и мужчинам и женщинам возбраняется совершать дурные поступки, беседовать же они вольны о чем угодно. Разве вы не знаете, что у нас теперь такое страшное время, когда судьи покинули суды, когда законы, как божеские, так равно и человеческие, безмолвствуют и когда каждому предоставлено право любыми средствами бороться за жизнь? Даже если во время нашей беседы вы несколько расширите рамки приличий, то это ни в коем случае не должно дурно повлиять на ваше поведение, — вы только позабавите и себя и других, так что вряд ли вас впоследствии кто-нибудь за это упрекнет. О чем бы мы ни рассказывали, все мы с первого же дня ведем себя безукоризненно, ничем себя, сколько мне известно, не запятнали и с божьей помощью не запятнаем себя и впредь. Да и кто может сомневаться в строгости ваших правил? Что там потешные рассказы, — вы бы и под страхом смерти правилам своим не изменили. Коли на то пошло, так если бы кто узнал, что вы иногда восставали против столь невинной болтовни, он бы, пожалуй, подумал, что у вас у самих совесть не чиста, — оттого-то, мол, вы и противитесь. Да и хороши же, значит, у меня подданные: сами избрали меня королем, — а ведь я-то всем решительно подчинялся, — и теперь навязываете мне свои законы и отказываетесь беседовать о предмете, который я вам предложил! Рассейте же свои сомнения, — им место не в таких чистых душах, как у вас, — желаю удачи, надеюсь, что вы не оплошаете.

Выслушав его, дамы решились пойти навстречу его желанию, а посему король всем дозволил до ужина считать себя свободными.

Сегодняшние рассказы отняли немного времени, и сейчас солнце стояло еще высоко. Дионео и другие молодые люди засели за шашки, Элисса же отозвала дам в сторонку и сказала:

— Когда мы сюда прибыли, мне в первый же день захотелось повести вас недалеко отсюда, — по-моему, никто из вас там не был: это так называемая Долина Дам, — но до сих пор у нас не было для этого времени, ну, а сейчас солнце еще высоко, — пойдёмте, я убеждена, что вы не пожалеете.

Дамы сказали, что пойдут с удовольствием, и, кликнув одну из служанок и не сказавшись молодым людям, отправились. Прошли они не больше одной мили, и перед ними открылась долина. К ней вела узенькая тропинка, тянувшаяся вдоль прозрачного ручья, и когда они эту долину увидели, то она показалась им неизъяснимо прекрасной и живописной, каковому отрадному впечатлению много способствовал

солнечный день. Одна из них мне потом рассказывала, что долина эта такая круглая, точно ее обвели циркулем, хотя сразу было видно, что это — творение природы, а не человеческих рук. Окружность ее равнялась миле с небольшим; оцепляли ее шесть не весьма высоких гор; на вершине каждой из гор виднелось нечто вроде красивого замка. Горы спускались к долине уступами, наподобие амфитеатров, где ступени идут сверху вниз, постепенно суживая свой круг. То были южные склоны, сплошь покрытые виноградными лозами, оливковыми, миңдалевыми, вишневыми, фиговыми и многими другими плодовыми деревьями. Между тем северные склоны поросли дубами, ясенями и другими ярко-зелеными, на диво стройными деревьями. А на дне долины, куда не было иной дороги, кроме той, по которой шли дамы, густо росли ели, кипарисы и лавры, а несколько сосен были так красиво рассажены, что сажал их, уж верно, мастер своего дела. Даже когда солнце стояло высоко, его лучи почти не пробивались сквозь деревья, и оттого долина представляла собою пышный луг, где росла мелкая трава, где росли алые и всякой иной окраски цветы. Приятно было также смотреть на поток: низвергаясь по кремнистым уступам, прельщая слух своим шумом и взметая брызги, напоминавшие капельки ртути, которую откуда-нибудь выдавливают, он вытекал из той части долины, что отделяет одну гору от другой; когда же он достигал небольшой ложбинки, то, сузившись до размеров прелестного ручейка, стремительно нес свои воды к середине долины и здесь образовывал пруд, напоминавший садки, которые там, где это возможно, устраивают у себя горожане. Воды в пруду было по грудь человеку, не выше, и такую отличалась она чистотой и такою удивительною прозрачностью, что на дне ее видны были мельчайшие камешки — при желании и от нечего делать их можно было пересчитать. И не только дно было видно в пруду, но и великое множество мелькавшей в воде рыбы, восхищавшей и дивившей взор. Пруд со всех сторон окаймляла луговая трава, особенно в этом месте яркая, оттого что у нее не было недостатка во влаге. Всю воду пруд вместить в себя не мог, и эта лишняя вода по другому протоку вытекала из долины и орошала более низкие места.

Молодые дамы все здесь осмотрели, и местность им очень понравилась, а так как жара стояла палящая, то они, уверившись, что подглядывать здесь некому, решились в прозрачном этом пруду искупаться. Все же они велели служанке стоять на тропе, которая их сюда привела, смотреть, не идет ли кто, и в случае чего дать им знать, а затем все семь девушек разделись, вошли в воду, и вода настолько же скрыла белое их тело, насколько тонкое стекло могло бы скрыть алую розу. Войдя в воду, нимало от того не замутившюся, они принялись гоняться за рыбками, которые не знали, куда от них деться, и старались поймать их руками. Так они некоторое время резвились и поймали несколько рыбок, потом вышли из воды, оделись, решили, что пора домой, и, в совершенном восторге от всего, что им довелось видеть, не спеша тронулись в обратный путь, и дорогой они еще долго говорили о том, как здесь красиво.

Вернулись они довольно рано и от чего ушли, к тому и пришли: молодые люди все еще играли в шашки.

— А мы вас нынче перехитрили! — со смехом сказала Пампинея.

— Каким образом? — спросил Дионео. — Стало быть, прежде чем рассказать о чужих плутнях, вы сами начали плутовать?

— Да, государь, — отвечала Пампинея, а затем подробно рассказала, где они были, что это за местность, как далеко это отсюда и что они там делали.

Узнав, какая там красивая природа, король загорелся желанием ею полюбоваться и велел немедленно подавать ужин. За ужином все изрядно веселились, а затем трое молодых людей, оставив дам и взяв с собою слуг, направились к долине, где никто из них никогда не был, и, вволю налюбовавшись ею, сошлись на том, что это один из самых красивых уголков во всем мире. Так как было уже поздно, то они, выкупавшись и одевшись, возвратились домой и увидели, что девушки под пенью Фьямметты танцуют круговой танец; как же скоро девушки перестали танцевать, молодые люди заговорили с ними о Долине Дам и долго восхищались и восторгались красотой тех мест. Король позвал дворецкого и велел наутро все там приготовить, между прочим захватить и постели на случай, если бы кто захотел поспать или поваляться в полдень. Затем он распорядился принести свечи, подать вина и сластей и, когда все и тому и другому отдали должное, сказал, что пора открывать танцы. По воле короля повел быстрый танец Панфило, а сам король, обратясь к Элиссе, ласково сказал ей:

— Красавица! Утром ты оказала мне честь, возложив на меня венок, а я намерен оказать тебе иного рода честь: я хочу, чтобы нынче вечером спела нам песню ты. Спой ту, которая тебе больше нравится.

Элисса в ответ улыбнулась, охотно согласилась спеть, и в то же мгновенье послышался сладкий ее голос:

Любовь! Ты так впилась в меня когтями,
Что сделать мне больней
Не мог бы самый хищный меж зверями.

Была еще совсем я молодой,
Когда беспечно в бой с тобой вступила
И, мня, что все окончится игрой,
Оружие в сторонку отложила,
А ты, коварная, напала с тыла
И на спине моей
Повисла, горло стиснув мне руками.

Потом, не внемля стону моему,
Меня скрутила, в цепи заковала
И выдала, как пленницу, тому,
В чьем сердце милосердьи не бывало.
Тирана беспощадней не бывало
И нет среди людей.
Его нельзя разжалобить слезами.

Устала я их бесполезно лить,
На скорбный зов бесцельно ждать ответа,
И жизнь нет у меня желанья длить,
Хотя и сил покончить с нею нету.
Так пусть, любовь, не избежит за это
И тот твоих цепей,
Кого я не растрогала мольбами.

А коль над ним не властна даже ты,
То погаси хотя б огонь, который
Зажгли во мне напрасные мечты,
Чтоб вновь красой я радовала взоры
И вновь могла венчать себя, как в пору
Счастливых юных дней,
Багряными и белыми цветами.

Спев песню, Элисса горестно вздохнула, и хотя слова той песни всех удивили, ни один человек так и не догадался, кто же виновник ее мучений. А король был в добром расположении духа; он позвал Тиндаро, послал его за волынкой, и под звуки этой волынки по желанию короля все долго еще танцевали. Когда же перевалило за полночь, король всем велел идти спать.



Контится шестой день
ДЕКАМЕРОНА,
начинается срьмой



*В день правления Дионео
предлагаются вниманию рассказы о тех штуках,
какие во имя любви или же ради своего спасения
вытворяли со своими догадливыми
и недогадливими мужьями жены*









же на востоке погасли все звезды, кроме одной, которую мы называем Светоносцем, еще мерцавшей на белеющем небе, когда дворецкий встал и с длинным обозом тронулся в Долину Дам, чтобы все там устроить, как распорядился и повелел его господин. Тотчас после его ухода встал и король — его разбудили лошади и люди, укладывавшие в ещ и, — встал и поднял дам и молодых людей. Все пустились в путь с первыми лучами зари. Казалось, никогда еще соловьи и другие пташки так весело не пели, как в то утро. Так, под неумолчное пение птиц, они и дошли до Долины Дам, и тут уже их встретили целые хоры пернатых, которые словно обрадовались, что они сюда пришли. Дамы и молодые люди обошли всю долину, снова всю ее осмотрели, и она им еще больше понравилась, — в это время дня здесь было еще красивее. Подкрепившись добрым вином и сладстями, они, чтобы не отстать от пичужек, начали петь песни, и вся долина им вторила, а птички не сдавались и оглашали дол сладкими звуками. Столы были расставлены около самого озера, под сенью цветущих лавров и других красивых деревьев, и когда настало время обеда, все сели на места, указанные королем, и во время еды следили за тем, как в воде целыми стайками ходила рыба, каковое явление послужило им предметом для застольной беседы. Но вот обед кончился, блюда, а затем и столы убраны, и тут у них пуще прежнего пошло веселье: пенье, музыка, танцы. Для

желающих вздремнуть в ложбинке были заранее расстелены постели, которые предусмотрительный дворецкий велел завесить пологами из французской с а р ж и , — нужно было только отпроситься поспать у короля, а кто не хотел спать, тот мог развлекаться сколько душе угодно. Когда же все встали и собрались для беседы, неподалеку от того места, где был подан обед, у самого озера, на траве, по распоряжению короля были разостланы ковры, и тотчас после того, как все на этих коврах расселись, король приказал Эмилии начать. Она же, весело улыбаясь, начала так.





*Джанни Лоттеринги, услышав ночью стук в дверь, будит жену,
а она его уверяет, что это привидение;
оба встают, творят заклинание, и стук прекращается*



осударь! Я была бы очень рада, если бы с вашего соизволения кто-нибудь другой вместо меня начал рассказывать на прелюбопытную тему, которая была нам предложена для нынешнего собеседования, однако ж если вам угодно, чтобы я подала пример другим, то я охотно вам повинуюсь. А расскажу я нечто такое, что может вам, милейшие дамы, принести пользу в будущем, потому что все вы, наверно, такие же трусихи, как я, и больше всего на свете боитесь привидений, — а что это такое, про то одному богу известно, боимся-то мы их все, но я, по крайности, не знаю ни одной женщины, которая имела бы о них понятие, — так вот, если вы со вниманием выслушаете мой рассказ, то научитесь одной святой молитве, которая хорошо помогает от привидений.

Жил некогда во Флоренции, в квартале святого Панкратия, шерстяник, по имени Джанни Лоттеринги, мастер своего дела, во всем же остальном человек несведующий и простоватый, и вот этого самого шерстяника частенько выбирали старостой братства Санта Мария Новелла, и он неусыпно следил за исполнением его устава, и еще много таких же местечек доводилось ему занимать, так что в конце концов он стал высокого о себе мнения, а между тем получал он эти места за то, что, будучи человеком зажиточным, имел возможность на славу угостить монахов. Они постоянно что-нибудь у него выклянчивали: кто — чулки, кто — капюшон, кто — нарамник, а в благодарность учили его хорошим молитвам, дарили ему молитвенник на итальянском языке, житие святого Алексия, плач святого Бернарда, похвалу донне Матильде и прочую тому подобную чепушицу, он же всем этим

очень дорожил и все это — душе своей во спасение — тщательно хранил. Жена его, монна Тесса, дочь Мануччо дела Кукулья, была женщина красивая, пригожая, толковая и весьма проникательная. Раскусив простоватого своего мужа, монна Тесса, будучи влюблена в красивого, здорового детину Федериги ди Нери Пеголотти, отвечавшего ей взаимностью, при посредстве служанки пригласила Федериги на беседу в Камерату, где у Джанни было живописное и м е н ь е, — она здесь проводила все лето, а Джанни изредка наезжал поужинать и переночевать, с тем чтобы утром уехать в город по своим торговым делам или же по делам братства. Федериги только и ждал такого приглашения; в назначенный день он к вечеру отправился в Камерату и так как Джанни в тот раз не приехал, славно поужинал и со всеми удобствами переночевал у хозяйки, а хозяйка за ночь, лежа в его объятиях, научила его, по крайней мере, шести песнопениям, коим обучил ее муж. Так как она надеялась, что эта ночь будет у них не последней, и так как на то же самое рассчитывал и Федериги, то, чтобы служанке всякий раз за ним не ходить, они уговорились следующим образом: она-де каждый день будет ходить осматривать свои уголья, расположенные чуть выше дома, а он, после того как она пройдет туда или же вернется обратно, должен бросить взгляд на виноградник при доме: если на одной из тычин будет висеть ослиный череп мордой к Флоренции, это значит, что, как скоро смеркнется, он может свободно и смело идти к ней; коли дверь заперта, пусть три раза тихонько постучится — она ему отворит; если же череп висит мордой к Фьезоле, пусть не приходит, — стало быть, Джанни тут. И так, действуя согласно уговору, они встречались неоднократно.

Но вот однажды, когда Федериги предстояло отужинать у монны Тессы и она велела зажарить двух жирных каплунов, Джанни, которого в тот вечер не ждали, хоть и очень поздно, да приехал. Хозяйка, весьма этим обстоятельством опечаленная, велела подать себе и супругу на ужин маленький кусочек солонины, который она на всякий случай велела сварить, а служанке приказала завернуть в белоснежную салфетку двух каплунов, только что сваренных яиц да бутылку доброго вина, отнести все это в сад, куда можно было пройти и не через дом и где она иной раз ужинала с Федериги, и положить на лужайке, под персиковым деревом. И до того она была расстроена, что забыла сказать служанке, чтобы та дождалась Федериги и предупредила его, что Джанни здесь, а еду пусть, мол, возьмет с собой. И вот, вскоре после того, как она, Джанни и служанка легли спать, в дверь тихонько постучался Федериги, дверь же была так близко от спальни, что Джанни явственно услышал стук, равно как и его супруга, но только она, чтобы не возбуждать у Джанни подозрений, притворилась спящей.

Немного погодя Федериги еще раз постучался. Джанни, не веря ушам своим, легонько толкнул жену. «Тесса! Ты слышишь? — прошептал о н . — К нам кто-то стучится».

Жена, все слышавшая еще лучше мужа, сделала вид, будто только сейчас проснулась. «А? Что?» — спросила она.

«Кто-то, говорю, к нам стучится», — отвечал Джанни.

«Стучится? — переспросила жена. — Вот горе-то! Джанни, родненький! Ты разве не знаешь, что это такое? Это — привидение, я за последние ночи такого страху от него натерпелась! Как слышу стук — одеялом с головой накроюсь и так лежу до самого до рассвета».

«Полно, жена, чего ты боишься? — сказал тут Джанни. — Я прочел на ночь *От стражи утренней, Пог твою милость* и еще несколько хороших молитв, всю кровать, от края до края, перекрестил во имя отца, и сына, и святаго духа, так что бояться нечего: какой бы силой привидение ни обладало, с нами оно ничего поделать не может».

Опасаясь, как бы Федерико в чем-либо ее не заподозрил и не поссорился с нею, монна Тесса решила встать с постели и дать ему понять, что Джанни здесь. «Ну да, рассказывай! — молвила она мужу. — А я буду ни жива, ни мертва до тех пор, пока мы не сотворим заклинания, благо ты здесь».

«А как его заклиняют?» — спросил Джанни.

«Уж это-то я знаю! — отвечала жена. — На днях я ходила во Фьезоле за опущением грехов, и одна странница, — голубчик, Джанни, вот уж святые-то женщины эти странницы, истинный бог! — одна странница заметила, что я трусиха, и научила меня хорошей, святой молитве, — так вот, она сказывала, что много раз, еще до того как стала странницей, проверяла ее чудотворную силу, — не было, говорит, случая, чтобы не помогла. Но только, вот тебе крест, одна я нипочем не отважилась бы испытывать ее силу, а раз ты со мной — пойдем и сотворим закливание».

Джанни изъявил полную готовность. Оба встали и на цыпочках подошли к двери, за которой все еще ждал уже что-то заподозривший Федерико.

«Плюнь, когда я тебе скажу», — приблизившись к двери, шепнула монна Тесса.

«Ладно», — отвечал Джанни.

И тут жена начала творить заклинание: «Привиденье, привиденье! Что покою не даешь? Хвост поднявши ты пришел, хвост поднявши и уйдешь. Ступай в сад — там под большим персиковым деревом жирное-прежирное найдешь, а вдобавок — сотню круглячков из-под моей курочки. Приложись к бутылочке и иди своей дорогой, а меня с моим Джанни не трогай». Сказавши это, монна Тесса обратилась к мужу: «Плюнь, Джанни!» — и Джанни плюнул.

У Федерико, стоявшего за дверью и все до последнего слова слышавшего, ревность улетучилась мигом, и, как ему ни было досадно, он чуть не лопнул от еле сдерживаемого смеха, а когда Джанни плюнул, он прошептал: «Ты себе зубы выплюнь!» Монна Тесса, трижды сотворив заклинание, опять улеглась с мужем в постель. Федерико, рассчитывавший на ужин и оставшийся без ужина, отлично понял смысл этого заклинания; он поспешил в сад, нашел под большим персиковым деревом двух каплунов, яйца, вино, все это отнес к себе домой и поужинал в свое

удовольствие. Когда же он потом встречался с монной Тессой, оба, вспоминая заклинание, умирали от хохота.

Иные, впрочем, уверяют, что она-то повернула ослиный череп мордой к Фьезоле, но один работник, проходя через виноградник, так хватил палкой по черепу, что череп завертелся и повернулся мордой к Флоренции — вот почему Федериги решил, что его зовут, и пришел. А еще говорят, будто монна Тесса заклинала так: «Привиденье, привиденье! Сгинь, под дверью не стой! Ослиный череп повернут не мной — повернул его кто-то другой, чтоб ему не пошевелить ни рукой, ни ногой, а Джанни — со мной!» Так Федериги, не солоно хлебавши, и ушел. Но одна моя соседка, совсем дряхлая старуха, уверяет, что и то и другое было на самом деле, — она еще якобы в молодости об этом слышала, — но только второй случай произошел не в доме Джанни Лоттеринги, а в доме проживавшего у ворот Сан Пьеро некоего Джанни ди Нелло, такого же точно остолопа, как и Джанни Лоттеринги. Ну так вот, милые дамы, выбирайте: какое заклинание вам больше нравится? А если хотите, запомните и то и другое — вы могли убедиться, что и то и другое в таких случаях чудодейственны. Затвердите их наизусть — они вам пригодятся.





*Муж Перонеллы возвращается домой,
и Перонелла прячет своего возлюбленного в винную бочку;
муж запрогал бочку, а жена уверяет,
будто она уже продала ее одному человеку и тот в нее влез,
чтобы удостовериться, сколь она прочна;
возлюбленный Перонеллы вылезает из бочки, велит мужу отчистить ее,
а затем уносит бочку к себе домой*



лушатели то и дело прерывали рассказ Эмилии взрывами хохота, заклинанье же признали полезным и чудодейственным. Затем король приказал рассказывать Филострато, и тот начал так:

— Милейшие дамы! Мужчины, особливо — мужья, вытворяют с вами такие штуки, что когда какой-нибудь жене в кои-то веки посчастливится одурачить мужа, вы должны радоваться, что это произошло, что вам это стало известно, что вы от кого-нибудь об этом услышали, но не только радоваться, — вы должны, в свою очередь, всем рассказывать о случившемся, чтобы мужчины наконец уразумели, что если они на все горазды, то и женщины им не уступят. Нам это может быть только полезно: когда одному известно про другого, что и тот — не промах, он еще подумает, прежде чем решиться провести его. Не подлежит сомнению, что когда нынешние наши рассказы дойдут до сведения мужчин, они, приняв в рассуждение, что и вы при желании можете сыграть с ними шутку, станут куда осторожнее. С этой целью я и хочу рассказать, что ради собственного спасения в мгновение ока проделала с мужем одна молодая, низкого состояния женщина.

В Неаполе не так давно один бедняк женился на красивой, прелестной девушке по имени Перонелла; он был каменщик, она — пряха, и на скудный свой заработок они кое-как сводили концы с концами. Случилось, однако ж, так, что некий юный вертопрах увидел однажды Пе-

ронеллу, пришел от нее в восторг, вспылал к ней страстью, стал усиленно домогаться ее расположения — и добился своего. Касательно свиданий они уговорились так: ее муж вставал спозаранку и уходил либо на работу, либо искать работу, а молодой человек должен был в это время находиться поблизости и поглядывать, ушел ли муж, а так как улица Аворио была ненаселенная, то молодому человеку не составляло труда тотчас после ухода мужа неприметно прошмыгнуть к нему в дом. И так они проделывали многократно.

Но вот в одно прекрасное утро почтенный супруг удалился, а Джаннелло Скриньярио, — так звали молодого человека, — прошмыгнул к нему в дом и остался наедине с Перонеллой, а немного погодя муж, уходивший обыкновенно на целый день, вернулся и толкнул дверь, — она оказалась запертой изнутри, тогда он постучался, а постучавшись, подумал: «Благодарю тебя, господи! Богатством ты меня не наделил, но зато в утешение послал мне хорошую, честную женку! Ведь это что: только я за порог, а она скорей дверь на запор, чтобы никто к ней не забрался и как-нибудь ее не изобидел!»

Перонелла по стуку догадалась, что это муж. «Беда, ненаглядный мой Джаннелло! — сказала она. — Не жить мне теперь на свете! Это же мой муж, пропади он пропадом! И что это ему вздумалось нынче так скоро вернуться? Может, он видел, как ты входил? Ну, была не была! Полезай, бога ради, вот в эту бочку, а я пойду отворять. Сейчас узнаем, что это его так скоро принесло».

Джаннелло без дальних размышлений полез в бочку, а Перонелла встретила мужа неласково. «Это еще что за новости? — сказала она. — Что это ты так скоро вернулся? Да еще и со всем своим инструментом? Видно, ты себе нынче праздник задумал устроить. А на что мы жить будем? Где хлеба возьмем? Уж не воображаешь ли ты, что я тебе позволю заложить мою юбочку или же еще что-нибудь из тряпья? Я день и ночь пряду, из сил выбиваюсь, чтобы хоть на гарное масло заработать, а ты что? Эх, муженек, муженек! Все соседки-то диву даются и на смех меня поднимают, что я тружусь не покладая рук, а ты ничего еще не успел наработать — и уже домой!» Тут Перонелла заплакала. «Бедная я, несчастная, горемычная! — продолжала она. — Не в добрый час я на свет появилась, не в добрый час у него в дому поселилась! Мне бы выйти за хорошего парня, так нет же: угораздило пойти за него, а он меня нисколько не ценит! Другие с любовниками весело время проводят, у иной их два, у иной — целых три, и они с любовниками развлекаются, а мужей за нос проводят. За что же мне такое наказание? Я женщина честная, ничего худого себе не позволяю, а уж как же мне не везет, какая у меня горькая доля! И то сказать: отчего бы и мне не завести любовника? Было бы тебе известно, муженек: если бы я захотела согрешить, то уж нашла бы с кем — я столько красавчикам головы вскружила, и они ко мне подъезжают, через доверенных людей сулят мне деньги, а коли, мол, захочу, так будут у меня и новые платья, и драгоценные вещи, да я-то не такая, мне совесть этого не позволяет, а ты, вместо того чтобы работать, идешь домой!»



«Полно, жена, не печалься! — сказал м у ж . — Поверь мне, что я знаю, какая ты у меня хорошая, я только сейчас в этом лишний раз убедился. А ведь я пошел на работу, но только ни ты, ни я не знали, что нынче день святого Галионе, и все отдыхают, — потому-то я и вернулся так скоро домой. Но хлеба нам с тобой на целый месяц хватит — об этом-то я как раз подумал и позаботился. Со мной человек пришел, видишь? Я ему бочку продал, — бочка-то, как тебе известно, давным-давно пустая у нас стоит, только место зря занимает, а он мне дает за нее пять флоринов».

«Час от часу не легче! — вскричала тут Перонелла. — Ты как-никак мужчина, везде бываешь, должен бы, кажется, понатореть в житейских делах, а бочку продал всего за пять флоринов, я же — глупая баба, за порог, можно сказать, ни ногой, а вот попалась мне на глаза ненужная бочка — я и продала ее одному почтенному человеку, да не за пять, а за семь флоринов, и он как раз сейчас влез в нее — проверяет, прочная ли она».

Муж очень обрадовался и сказал тому, кто с ним пришел: «Ступай себе с богом, почтеннейший! Ты слышал? Жена продала бочку за семь флоринов, а ты говорил, что красная цена ей пять».

«Дело в а ш е », — сказал покупатель и ушел.

«Раз уж ты вернулся, — сказала мужу Перонелла, — так иди туда и покончи с ним».

У Джаннелло ушки были на макушке: он старался понять из разговора, что ему грозит и что тут можно предпринять; когда же до него донесли последние слова Перонеллы, он мигом выскочил из бочки и, как будто не слышал о том, что вернулся муж, крикнул, «Хозяюшка! Где же ты?»

Но тут вошел муж и сказал: «Я за нее! Тебе что?»

«А ты кто таков? — спросил Джаннелло. — Мне эту бочку продала женщина — я ее и зову».

«Ты с таким же успехом можешь кончить это дело и со м н о й , — я ее м у ж », — отвечал почтенный супруг.

«Бочка прочная, я проверял, — сказал ему на это Джаннелло, — но у вас тут, по всей видимости, была гуща, и она так пристала и присохла, что я ногтем не мог ее отколупнуть. Отчистите бочку — тогда я ее у вас возьму».

«За этим дело не станет, — вмешалась Перонелла, — сейчас мой муж хорошенько ее отчистит».

«Конечно, отчищу », — сказал муж, положил свой инструмент, снял куртку, велел зажечь свечу и подать скребок, влез в бочку и давай скрести. Бочка же была не очень широкая; Перонелла сунула в нее голову, будто ей хочется посмотреть, как работает муж, да ещё и руку по самое плечо, и начала приговаривать: «Поскобли вот здесь, вот здесь, а теперь вон там, вот тут еще немножко осталось».

Так она стояла, указывая мужу, где еще требуется почистить, а Джаннелло из-за его прихода не успел получить полное удовольствие, и теперь он, убедившись, что, как бы он хотел, так ему нынче все равно

не удастся, решился утолить свою страсть как придется. Того ради он приблизился к Перонелле, которая прикрывала собой всю бочку, и, обойдясь с нею так, как поступали в широких полях разнузданные горячие жеребцы, бросавшиеся на парфянских кобылиц, наконец-то юный свой пыл остудил; доскобил же он бочку и отскочил от нее в то самое мгновение, когда Перонелла высунула голову, а супруг вылез наружу.

И тут Перонелла сказала: «Возьми свечу, милый человек, и погляди: как там теперь, на твой взгляд, чисто?» Джаннелло заглянул и сказал, что вот теперь, мол, чисто, теперь он доволен. Затем вручил мужу семь флоринов и велел отнести бочку к себе домой.





*Брат Ринальдо балуется со своей кумой;
муж застаёт брата Ринальдо у нее в комнате, а брат Ринальдо уверяет,
будто он заговаривал глисты у своего крестника*



илострато недостаточно туманно выразился насчет парфянских кобылиц, а потому догадливые дамы поняли, что он хочет сказать, и рассмеялись, хотя сделали вид, будто их насмешило нечто другое. Удостоверившись, что повесть Филострато окончена, король велел рассказывать Элиссе, и покорная его воле Элисса начала так:

— Очаровательные дамы! Заклинание, которое привела в своем рассказе Эмилия, напомнило мне рассказ о заговоре, и хотя он и не так хорош, со всем тем я, за неимением чего-нибудь более подходящего к предмету нынешнего нашего собеседования, предложу его вашему вниманию.

Надобно вам знать, что в Сиене жил когда-то прелестный юноша благородного происхождения, по имени Ринальдо. Он был без памяти влюблен в свою соседку, красивую женщину, которая была замужем за богатым человеком, и питал надежду, что если только ему удастся поговорить с ней наедине, ни в ком не возбуждая подозрений, то он достигнет венца своих мечтаний, но только он не видел иного пути к осуществлению сего замысла, как покумиться с нею, — должно заметить, что она была беременна. С этой целью он подружился с ее мужем, сообщил ему о своем желании в самых изысканных выражениях, и муж согласился. Итак, Ринальдо покумился с донной Агнесой; теперь он всегда мог найти благовидный предлог для беседы с нею наедине, и вот как-то раз, набрав-

шись храбрости, он прямо заговорил с ней о своих намерениях, о каковых она, впрочем, еще раньше прочла у него в глазах, однако ж признанием этим он ничего не добился, хотя слушала она его не без удовольствия. Вскоре после этого Ринальдо почему-то пошел в монахи; какой был ему в том прок — неизвестно, но только он так монахом и остался. Приняв постриг, Ринальдо на время выкинул из головы любовь к куме и прочие мирские соблазны, однако ж по прошествии некоторого времени он, не снимая рясы, опять взялся за свое и снова стал находить удовольствие в прихорашиванье, во франтовстве, в щегольстве, в модничанье, в сочинении канцон, баллад и сонетов, в пении и в прочем, и тому подобном.

Дался мне, однако ж, этот брат Ринальдо! Да разве другие лучше его? О позор нашего развращенного общества! Им нисколько не стыдно своей тучности, им нисколько не стыдно румянца во всю щеку, им нисколько не стыдно своей изнеженности, им нисколько не стыдно дорогого своего облачения и всего своего убранства, и вся повадка у них не голубиная, — надуются, как петухи, и преважно расхаживают, задравши гребень и выпятив грудь. В кельях у них полно баночек с мазями и притираньями, корбочек со сладями, склянок и пузырьков с духами и маслами, бочонков с мальвазией, греческим и другими тонкими винами, — можно подумать, что это не монашеские кельи, а бакалейные или парфюмерные лавки, но это еще что! Они не стыдятся своей подагры; они воображают, будто никто не знает и не ведает, что от строгого поста, от простой и скудной пищи, от воздержания люди худеют, спадают с тела и обыкновенно здороваются, а если и заболевают, то уж, во всяком случае, не подагрой, верное средство от которой — целомудрие, равно как и весь скромный образ жизни монаха. Никто не знает, полагают они, что прямое следствие лишений, долговременного бодрствования, стояний на молитве, истязания плоти — бледность и сокрушенный дух, что ни у святого Доминика, ни у святого Франциска не было четырех ряс, что они не носили ярких и дорогих одежд, что они ходили в грубошерстных рясах самого скромного цвета, что одяние служило им защитой от холода, а не для того, чтобы покрасоваться. Да исправит же господь бог это повреждение нравов на благо алчущих духовной пищи простецов, коих приношениями те кормятся!

Итак, в брате Ринальдо заговорили прежние его склонности, и он зачастил к куме. С годами он осмелел, и его домогательства становились все настойчивее. Сердобольная женщина нашла, что брат Ринальдо за это время похорошел, а кроме того, ей трудно было устоять против такого напора, и вот, когда он уж очень к ней пристал, она прибегла к последнему средству, к которому обращаются в подобных случаях женщины, готовые уступить. «Что с вами, брат Ринальдо? — воскликнула донна Агнеса. — Разве монахи такими делами занимаются?»

Брат Ринальдо так ей на это ответил: «Сударыня! Когда я сброшу рясу, — а ее мигом скидываю, — вы увидите, что я не монах, а такой же мужчина, как и все прочие».

На лице донны Агнесы появилась кривая усмешка. «Ах, боже мой, что же мне делать? — воскликнула она. — Ведь вы мой кум, а с кумом-то разве можно? Это было бы очень дурно с нашей стороны, да, да, я от многих слышала, что это великий грех, а иначе я бы вам непременно доставила удовольствие».

«Если у вас другой причины нет, то это просто глупо с вашей стороны, — возразил Ринальдо. — Я не отрицаю, что это грех, но раскаявшемуся господь и не такие грехи прощает. Ответьте мне: кто роднее вашему сыну — я, его крестный отец, или же ваш муж, который его породил?»

«Мой муж», — ответила донна Агнеса.

«Ваша правда, — молвил монах. — А разве ваш муж с вами не живет?»

«Конечно, живёт», — отвечала донна Агнеса.

«Когда так, — продолжал монах, — и если еще принять в рассуждение, что я более дальняя родня вашему сыну, чем ваш супруг, то, стало быть, и я имею право жить с вами».

Донна Агнеса логике не обучалась, ей только нужно было на что-нибудь опереться, и потому она поверила монаху, а быть может, сделала вид, что поверила. «Что можно возразить на ваши умные речи?» — сказала она и, невзирая на кумовство, порешила удовлетворить монаха. Они тотчас же приступили к делу, а так как кумовство облегчало им встречи и отводило от них подозрения, они потом еще несколько раз встретились.

Но вот однажды брат Ринальдо пришел к донне Агнесе и, уверившись, что, кроме нее и прехорошенькой и премиленькой ее служанки, в доме никого больше нет, отправил служанку со своим приятелем на чердак, чтобы он поучил ее молитвам, а сам вместе с донной Агнесой, на руках у которой был мальчик, прошел к ней в комнату, и тут они заперлись, легли на диван и давай резвиться. В это самое время вернулся хозяин дома и, никем не замеченный, подошел к двери, постучался и позвал жену.

«Я погибла! — услышав голос мужа, прошептала донна Агнеса. — Это мой муж. Теперь он сразу догадается, почему мы с вами стали так близки».

Брат Ринальдо был раздет, вернее — он был в одном исподнем, — рясу и нарамник он снял. «То правда, — сказал он. — Если бы я был одет, то еще можно было бы как-нибудь выкрутиться, но если вы ему сейчас отворите и он застанет меня в таком виде, то уж тут никакие оправдания не помогут».

У донны Агнесы мелькнула счастливая мысль. «Одевайтесь, — сказала она, — а как оденетесь, возьмите на руки своего крестника и со вниманием слушайте, что я буду говорить, чтобы у нас с вами не вышло разногласий, а в остальном положитесь на меня».

Благодарный все стучался; наконец жена крикнула: «Иду, иду!» — встала и с самым непринужденным видом вышла к нему. «Ты знаешь, муженек, — заговорила она, — здесь наш кум — сам бог его к нам послал: если бы он не пришел, мы бы потеряли нашего мальчика».



При этих словах простодушный святоша так и обомлел. «То есть как?» — воскликнул он.

«Ах, муженек! — продолжала донна Агнеса. — С ним приключился глубокий обморок, — я уж думала, что он умер, не знала, что делать и как быть, но тут, на мое счастье, пришел наш кум, брат Ринальдо, взял его на руки, да и говорит: «Кума! У него глисты подошли к сердцу. Обычно это кончается смертью, но вы не бойтесь: я их заговорю и всех повыморю. Я не уйду от вас, пока вы не увидите, что ваш ребенок здоровехонек». Ты был нам нужен, чтобы прочитать молитвы, но служанка не знала, где тебя найти, и он попросил своего приятеля прочитать молитвы на самом высоком месте во всем нашем доме, а мы с ним прошли сюда. Присутствовать при этом обряде никому, кроме матери, не дозволяется, — вот мы здесь и заперлись, чтобы никто нам не мешал. Нашего мальчугашечку он все еще держит на руках и, наверно, будет держать, пока его приятель молится, но я думаю, что дело уже сделано, — мальчик-то ведь очнулся».

Дурачина всему поверил: прилив отцовской нежности в его душе был столь силен, что он не обнаружил обмана в словах жены. Он с облегчением вздохнул и сказал:

«Пойду погляжу на него».

«Не ходи, — сказала жена, — ты можешь все испортить. погоди, я найду сама, и если уже можно, я тебя кликну».

Брат Ринальдо слышал весь этот разговор; за это время он не спеша оделся, а когда привел себя в порядок, то взял ребенка на руки и крикнул: «Эй, кума! Это уж не кум ли?»

«Да, отец мой, это я », — откликнулся дурачина.

«Ну так входите же!» — крикнул брат Ринальдо.

Дурачина вошел, а брат Ринальдо ему и говорит: «Вот ваш сынок, теперь он, по милости божией, здоров, а ведь несколько минут тому назад я был уверен, что ему не дожить до вечера. Прикажите в знак вашей благодарности отцу небесному поставить восковую фигуру с него ростом перед изображением преподобного отца нашего Амвросия, — это ради его заслуг господь ниспослал вам такую великую милость».

Как это обыкновенно бывает с детьми, малыш, увидев отца, бросился к нему и начал ласкаться, а тот со слезами, будто достал ребенка из могилы, подхватил его на руки, расцеловал, а затем рассыпался в благодарностях куму за исцеление. Тем временем приятель брата Ринальдо, уж верно, не меньше четырех раз принимался обучать служанку, как нужно каяться; он преподнес ей белый вязанный кошелечек, который ему самому подарила одна монахиня, и приобщил ее к числу своих духовных дочерей; когда же он услышал голос дурачины, взывавшего к своей жене, то тихохонько спустился на несколько ступенек чердачной лестницы и стал так, чтобы ему все было видно и слышно. Убедившись, что дело приняло наилучший оборот, он сошел вниз и, войдя в комнату, объявил: «Брат Ринальдо! Я прочитал все четыре молитвы».

«Дело мастера боится, — сказал ему на это брат Ринальдо, — а только успел две, как пришел кум, но всемилостивый господь и за твое и за мое усердие исцелил младенца».

Дурачина велел подать лучших вин и сластей, оделил кума и его приятеля всем, в чем они особенно нуждались, затем пошел проводить их и отпустил с миром, а восковую фигуру заказал в тот же день и велел повесить ее рядом с другими напротив изображения святого Амвросия, но только не того, которое в Милане.





*Однажды ночью Тофано запирается от жены;
как она его ни умоляет, он отказывается ее впустить;
тогда она делает вид, что бросается в колодец,
а на самом деле швыряет туда громадный камень;
Тофано выбегает из дому и устремляется к колодецу,
а жена тем временем входит в дом,
запирается от мужа и срамит его на всю улицу*



бедившись в том, что повесть Элиссы окончена, король тут же обратился к Лауретте и изъявил желание послушать ее, и она, нимало не медля, начала так:

— О Амур! Сколь ты всемогущ, хитроумен и проницателен! Был ли и есть ли такой мыслитель и такой художник, который мог или мог бы воспроизвести все твои наставления, изобретения и ухищрения, которые в трудную минуту выручают тех, что идут по твоим стопам? Всякая другая наука по сравнению с твоей кажется, по правде ска-

зать, недостаточно гибкой, что явствует из всех выслушанных нами рассказов. Вдобавок, любезные дамы, я хочу рассказать вам о хитрости, на какую пустилась — разумеется, по наущению Амура — одна простушка.

Итак, жил-был в Ареццо богач по имени Тофано. Женившись на красавице по имени монна Гита, он ни с того ни с сего начал ее ревновать. Монна Гита была этим возмущена; несколько раз она к нему приступала — какие, дескать, у него основания ревновать ее, он же, будучи не в состоянии привести хотя бы одну вескую причину, отделялся общими ничего не значащими фразами, и в конце концов ей пришлось в голову извести его тою самую хворью, которой он опасался без всяких для того оснований. Заметив, что один молодой человек, производивший на нее самое благоприятное впечатление, очарован ею, она осторожно начала с ним заигрывать. Когда же они друг с дружкой поладили и оставалось лишь перейти от слов к делу, то она вознамерилась и для сего изыскать способ. Зная, что одна из дурных привычек мужа — страсть к вину, она стала его в том поощрять и частенько сама предлагала ему выпить. С те-

чением времени он до того к вину приохотился, что теперь она напаивала его всякий раз, когда это было ей нужно. Благодаря таковой уловке состоялась ее первая встреча с возлюбленным: мужа она напоила и спать уложила, а сама побежала на свидание, и с той поры она встречалась с возлюбленным часто и уже безбоязненно. Будучи твердо уверена, что пьяный муж ей не опасен, она отваживалась приводить любовника домой, а кое-когда почти на всю ночь уходила к нему, благо он жил неподалеку. Так действовала влюбленная женщина, однако ж злополучный супруг стал примечать, что его-то она подпаивает, а сама не пьет, и в конце концов смекнул, в чем тут дело, то есть что поит она его для того, чтобы погулять на свободе, пока он спит. Возымев желание окончательно в том убедиться, он как-то раз нарочно капли в рот не взял, а вечером пришел домой и разыграл мертвецки пьяного. Жена, поверив ему и решив, что больше поить его не нужно — он и так, мол, заснет, поспешила уложить его. Как скоро он улегся, она, по обыкновению, побежала к своему возлюбленному и пробыла у него до полуночи.

Удостоверившись в том, что жена ушла, Тофано поднялся с постели, запер дверь изнутри и стал у окна, чтобы, когда жена вернется, сказать ей, что он ее вывел на чистую воду. Так он и простоял тут, пока жена не вернулась, а жена, убедившись, что дверь заперта изнутри, и будучи этим обстоятельством очень расстроена, приналегла на дверь в надежде, что она поддастся. Выждав некоторое время, Тофано крикнул ей: «Зря ты силы тратишь, ж е н а , — тебе домой не войти! Иди туда, откуда пришла. Домой ты не вернешься до тех пор, пока я при твоих родных и при соседях не воздам тебе по заслугам, так и знай!»

Жена Христом-богом стала молить мужа впустить ее: она, мол, совсем не оттуда, откуда он думает, — она была у соседки: ночи длинные, куда ж столько спать-то, а сидеть дома одной — скучно. Просьбы, однако ж, не помогли; в городе никто еще ничего не знал, однако ж этот дуралей решил, что он не успокоится, пока не осрамит и себя и жену на весь Ареццо.

Видя, что мольбами его не проймешь, жена прибегла к угрозам. «Если ты не отопрешь, я тебя погублю», — сказала она.

«А что ты можешь мне сделать?» — спросил Тофано.

Стараниями Амура жена за последнее время понаострилась.

«Я незаслуженного бесчестья не перенесу, — объявила она, — я сейчас брошусь вон в тот колодец, и когда найдут мое тело, то все подумают на тебя — что это ты в пьяном виде меня туда бросил. Стало быть, тебе придется бежать, распротиться со всем своим имуществом и жить в изгнании, иначе тебя казнят как моего убийцу, и то сказать: кто же ты еще тогда будешь, как не мой убийца?»

Слова жены не заставили Тофано отказаться от его дурацкой затеи. Тогда жена ему сказала: «Ну вот что: я такой обиды не потерплю. Бог тебе судья! Отольются тебе мои слезки».

С этими словами она направилась к колодцу и, воспользовавшись тем, что ночь была темная — хоть глаз выколи, подняла лежавший у колодца громадный камень и с криком: «Господи, прости!» — бросила его

в колодец. Камень плюхнулся в воду. Услылав сильный плеск и решив, что жена и впрямь бросилась в колодец, Тофано опрометью выбежал из дому и помчался к колодцу спасать жену. А жена притаилась у входной двери, и только он за порог, она — юрк в дом, заперлась изнутри, а затем подошла к окну и крикнула: «Воду подливают в вино, когда пьют, а не после попойки!»

Поняв, что жена провела его, Тофано кинулся к двери, но дверь была заперта, — тогда он стал просить жену, чтобы она его впустила.

До сих пор жена говорила тихо, но тут она возвысила голос. «Мерзкий пьяница! — почти крикнула она. — Нынче тебе сюда не войти. Мне эта твоя мода надоела. Пусть все видят, что ты за человек и когда ты приходишь домой».

Тофано, взбеленившись, стал тоже орать и ругать ее. Перебранка разбудила соседей и соседок — они вскочили и, подбежав к окнам, спросили супругов, из-за чего у них идет прят.

Тут, плача навзрыд, заговорила жена: «Все из-за него, из-за этого мерзавца: каждый вечер является домой пьяный, а коли проспится в кабачке, то приходит глухою ночью. Долго я терпела, долго я его пробирила — ничто на него не действует, больше у меня сил нет терпеть — вот я и решила его осрамить: заперлась от него — авось-либо исправится».

Олух Тофано тоже объяснял, как все это произошло, и осыпал жену угрозами.

А жена кричала соседям: «Теперь вы видите, что это за человек? А что бы вы сказали, если б я была на улице, а он дома? Клянусь богом, вы бы ему поверили! Теперь вы можете судить, насколько он трезв: обвиняет меня как раз в том, что, скорее всего, сам же и спроворил. Он что-то бросил в колодец — хотел меня напугать. Господи, да хоть бы он сам туда бросился и утонул, — ведь он вина-то невесть сколько выдул, вот бы оно тогда и разбавилось!»

Соседи и соседки напустились на Тофано; они во всем винули его и ругали за то, что он оклеветал жену. Сосед соседу — скоро слух об этой ссоре дошел до родственников жены. Все они мигом сюда налетели, видят: в окнах соседи, они к тому, к другому: как было дело? Потом взялись за Тофано, обломали ему бока и — прямо к нему в дом; забрали жинины вещи и, пригрозив Тофано, что это еще только цветочки, вместе с его женой возвратились восвояси. Тофано понял, что остался в дураках и что ревность до добра его не довела, а так как он по-своему любил жену, то положил прибегнуть к посредничеству друзей, друзья ему порадели, он, со своей стороны, обещал больше не ревновать, предоставил жене действовать, как ей угодно, но только так хитро, чтобы он ничего не замечал, и жена по доброй воле вернулась к нему. Дурак мирится — только пуще срамится. Да здравствует любовь, а на деньги наплевать!





*Некий ревнивец под видом священника исповедует свою жену,
а жена кается ему на исповеди в том, что любит священника,
который якобы проводит у нее все ночи;
ревнивец притаивается у входа в дом,
а тем временем возлюбленный
по ее приглашению
пробирается к ней через крышу и остается у нее*



огда Лауретта окончила свой рассказ, все нашли, что жена поступила умно и что, мол, этому негоднику так и надо, король же, не теряя времени, обратился к Фьямметте и в наиучтивейших выражениях предложил ей начать рассказывать, и Фьямметта, исполняя его волю, повела свой рассказ так:

— Знатнейшие дамы! Предыдущее повествование побуждает меня рассказать еще об одном ревнивце: я ведь вполне одобряю жен, дурачащих ревнивых мужей, в особенности если мужья ревнуют их без всякого повода. Когда бы составители законов могли все предусмотреть, им, по моему разумению, следовало бы определить в сем случае для жен такое же точно наказание, как и всякому человеку, который наносит другому урон, обороняясь, ибо ревнивцы против молодых жен злоумышляют и смертный их час приближают. Жены по целым неделям сидят взаперти, занимаются семейными и домашними делами, и в праздник им, как и всем добрым людям, хочется немножко развлечься, отдохнуть, повеселиться, — ведь отдыхают и хлебопашцы, и городские ремесленники, и судьи, так нам заповедал господь, ибо в день седьмой он почил от дел своих, и того же требуют законы божеские и человеческие, которые, ревнуя о славе божией и о всеобщем благе, установили дни для труда и особые дни — для отдыха. Ревнивцы и этим недовольны; дни, для всех остальных радостные, особенно печальны и тягостны для их жен, потому что в эти дни мужья усиливают надзор и держат их за семью замками. Только бедняжки, которые испытали это на себе, знают, как это невыносимо. Поэтому-то я и утверждаю: что бы жена ни проделала со

своим мужем, ревнующим ее без всякой причины, она заслуживает не осуждения, но одобрения.

Итак, жил в Римини один торговец, и было у него много имений, много денег и красавица жена, которую он ревновал превыше всякой меры. Повод же к тому у него был только один: он ее очень любил, восхищался ее красотой, видел, что она все делает для того, чтобы ему нравиться, а когда т а к , — рассуждал о н , — стало быть, и другие ее любят, восхищаются ее красотой, она же всем хочет нравиться. Такой вывод мог сделать человек дурной и притом недалёкого ума. Из ревности он следил за каждым ее шагом и держал в четырех стенах, — не за всеми приговоренными к смертной казни так надзирают тюремщики, как надзирал он за ней. Жена не имела права пойти на свадьбу, на семейное торжество, в церковь, не смела не только уйти из дому, но даже выглянуть в окно; словом жизнь у нее была тяжелая, и тем несноснее была ей эта мука, что она не чувствовала себя виноватой.

Наконец, видя, что муж продолжает поступать с нею несправедливо, она вознамерилась как-нибудь заслужить такое с его стороны отношение — тогда, мол, по крайней мере, ей будет не так обидно. Подходить к окнам ей возбранялось; следовательно, она не имела возможности дать понять кому-либо из прохожих, заглядевших на нее, что он ей нравится, однако ей было известно, что в том же доме живет красивый, прелестный молодой человек, и вот она порешила, в случае, если в стене, за которой находилось помещение, где жил молодой человек, найдется щелка, смотреть туда до тех пор, пока она не увидит юношу, потом заговорить с ним и, буде он пожелает, осчастливить его своей любовью, в дальнейшем же, от случая к случаю, встречаться с ним и тем хоть немного скрасить томную свою жизнь, а там авось-либо муж выкинет из головы дурь. Как-то раз, когда мужа не было дома, она долго ходила по комнате, водя глазами по стене, и вдруг обнаружила в наименее освещенной части стены щель. Она туда заглянула, — видно было плохо, но все-таки ей удалось разглядеть комнату, и тут она подумала: «Если б это была комната Филиппо (то есть юного ее соседа), дело было бы наполовину сделано». Служанке, которая ей сочувствовала, она отдала тайное распоряжение все разведать — оказалось, что то была спальня молодого человека. После этого она стала все чаще прикидываться к щели; услышав шаги молодого человека, она просовывала в щель камешки, соломинки — и в конце концов добилась того, что молодой человек подошел поглядеть, что это значит. Тут она тихонько окликнула е г о , — узнав ее голос, он ей ответил; тогда она, воспользовавшись случаем, в коротких словах излила ему свою душу. Молодой человек обрадовался; он постарался расширить щель со стороны своей комнаты, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Теперь они часто беседовали через щель, даже пожимали друг другу руку, но дальше этого не заходили — над ними тяготел строгий надзор ревнивца.

Приближалось Рождество, и по сему случаю жена стала отпрашиваться у мужа — не позволит ли он ей пойти на Рождество в церковь и по христианскому обычаю исповедаться и причаститься. «Зачем тебе исповедаться? Что у тебя за грехи?» — спросил ревнивец.

«То есть как какие грехи! — возразила жена. — Ты воображаешь, что если ты удержишь меня взаперти, так я от этого стала святой? Ты отлично знаешь, что и у меня, как и у всех людей, есть грехи, но тебе я в них не покаюсь, потому что ты не священник».

Ревнивец заподозрил неладное; положив непременно дознаться, что у нее за грехи, он надумал, как это осуществить, ей же сказал, что дает свое согласие, но с условием, что она будет исповедоваться не где-нибудь, а в их приходской церкви: пусть, дескать, пойдет туда пораньше и исповедуется либо у настоятеля, либо у того священника, которого назначит ей настоятель, словом — у кого-нибудь из них двоих, а после обедни пусть немедленно возвращается домой. Жена, поняв, что почти разгадала его умысел, решила более не перечить.

Рождественским утром она встала на рассвете, приоделась и пошла, как ей приказал муж, в приходскую церковь. Ревнивец тоже встал и опередил ее. Вступив в разговор с настоятелем, он быстрым движением надел на себя рясу с большим, спускающимся на лицо капюшоном, — такие капюшоны носят священники, — сдвинул капюшон на лоб и сел на клиросе. Жена, войдя в церковь, сказала, что ей нужно видеть настоятеля. Настоятель вышел к ней, но, узнав, что она желает исповедаться, объявил, что он занят, но что сейчас он пришлет к ней кого-нибудь из священников. Сказавши это, он удалился и, к несчастью для ревнивца, послал к ней его. Ревнивец с величественным видом вышел к ней, и хотя еще не совсем рассвело, а он из предосторожности надвинул капюшон на глаза, со всем тем жена сразу его узнала. «Как хорошо, что моему ревнивцу пришло в голову вырядиться священником! — подумала она. — Ну, погоди ж ты у меня: на что сам набиваешься, то сейчас и получишь». Сделав вид, что не узнала его, она стала перед ним на колени. Почтенный ревнивец положил в рот камешков для того, чтобы они затрудняли ему речь, — он рассчитывал, что благодаря этому жена не узнает его и поговору, а за свою наружность он был совершенно спокоен: жена, убеждал он себя, ничем его не узнает — так он преобразился. В начале исповеди жена объявила, что она замужем и что она влюблена в одного священника, который проводит у нее все ночи.

Для ревнивца это был нож в сердце; ему смерть как хотелось выпытать подробности, а то бы он бросил исповедь и ушел. Сделав над собой усилие, он спросил жену: «Как? Разве ваш муж не живет с вами?»

«Живет, ваше преподобие», — отвечала жена.

«Так как же ухитряется жить с вами священник?» — спросил ревнивец.

«Мне непонятно, ваше преподобие, как это ему удается, — отвечала жена, — но только нет во всем доме крепко запертой двери, которая не распахнулась бы от одного его прикосновения. Он говорит, что когда подходит к двери в мою комнату, то шепчет какие-то слова, от которых мой муж мгновенно засыпает, а как скоро он услышит, что муж спит, так сейчас же отворяет дверь, входит и остается у меня. Еще не было случая, чтобы у него это сорвалось».

«Дурно вы поступаете, сударыня, — сказал ревнивец, — вам нужно это прекратить».

«Боюсь, ваше преподобие, что не смогу, — сказала жена, — я так его люблю!»

«Тогда я не отпущу вам грехи», — объявил ревнивец.

«Мне это очень горько, — объявила жена. — Я знаю, что на исповедальнях нельзя. Если бы я чувствовала себя в силах от этого отказаться, я бы вам так прямо и сказала».

«Мне искренне жаль вас, сударыня, — сказал ревнивец. — Так вы погубите свою душу — это несомненно. Но я, со своей стороны, постараюсь сделать для вас все, что могу, буду особенно за вас молиться — может статься, эти молитвы помогут вам. Время от времени буду посылать моего служку — вы с ним передадите мне, помогают молитвы или нет; если помогают, мы усилим моления».

«Не посылайте ко мне никого, ваше преподобие! — сказала жена. — Мой муж безумно ревнив, и если только он узнает, что ко мне приходили, то непременно заберет себе в голову, что не с доброй целью, и потом уж никакими силами у него это из головы не выбьешь, целый год будет меня тиранить».

«Не беспокойтесь, сударыня, — возразил ревнивец. — Я буду действовать так, что об этом вы ни единого слова от него не услышите».

«Тогда я согласна», — молвила жена. Поисповедовавшись и получив отпущение грехов, она встала с колен, а затем побывала у обедни.

Ревнивец, вздыхая о плачевной своей судьбе, снял рясу и пошел домой, и дорогой он все думал о том, как застанет жену со священником и как им обоим задаст жару. Придя из церкви, жена глянула на мужа и по выражению его лица сейчас догадалась, что испортила ему праздник, а муж всеми силами старался скрыть от нее все, что он совершил, а также все, что, как ему казалось, он разужнал.

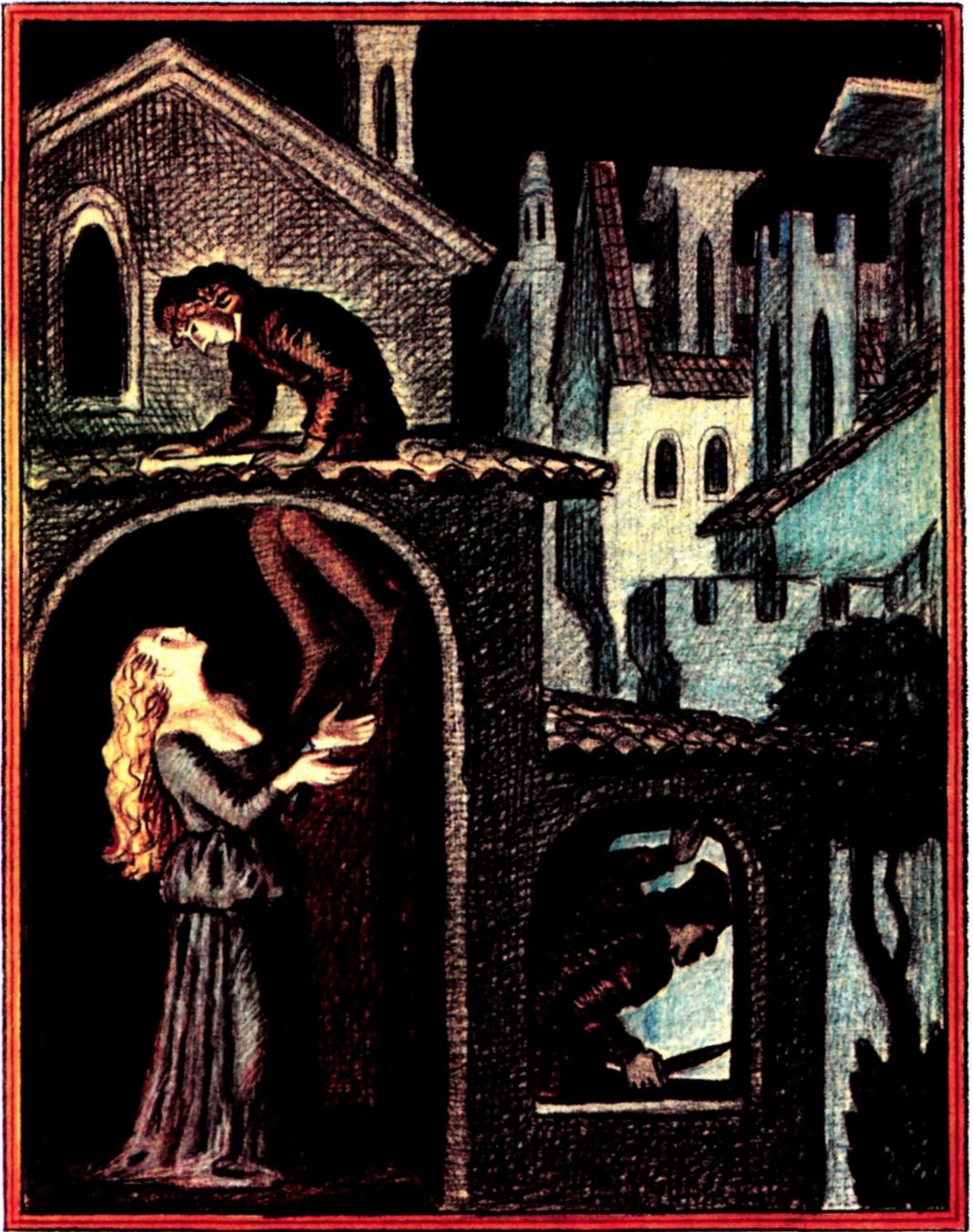
Задумав подкараулить священника ночью на улице, у входа в дом, он сказал жене: «Нынче я дома не ужинаю и не ночую. Запри получше входную дверь, дверь на лестницу и дверь к себе в комнату, захочется спать — ложись».

«Ладно», — сказала жена.

Улучив минутку, она подошла к щели и подала условный знак; услышав его, Филиппо тоже подошел к щели. Она сообщила ему о своем утреннем походе, а также о том, что муж сказал ей дома. «Но только никуда он не уйдет, — в этом я больше чем уверена, — промолвила она, — а будет караулить у входа, так что если ты хочешь побыть со мной, то постарайся пробраться ко мне через крышу».

«Так я и сделаю, сударыня», — придя в восторг, сказал молодой человек.

Ночью ревнивец, захватив с собой оружие, до времени притаился в одной из нижних комнат, а жена велела запереть все двери, особенно крепко — дверь на лестницу, чтобы ревнивцу нельзя было подняться наверх, молодой же человек выждал время, затем соблюдая вящую осторожность, пробрался к ней, и тут они улеглись и принялись ублажать



и услаждать друг дружку, а с рассветом молодой человек перебрался к себе. Ревнивец между тем почти всю ночь, поджидая священника, просто-ял с оружием в руках у входа; когда же занялся день, он, измученный, голодный, иззябший, не в силах долее бодрствовать, лег спать внизу. Встал он около шести утра, когда входная дверь была уже отперта, и, сделав вид, будто только что откуда-то явился, накинулся на еду. А немного погодя он подослал к жене мальчишку, будто это служба священника, у которого она исповедовалась, и велел спросить, было ли у нее известное ей лицо. Жена сейчас узнала посланца; она ответила, что нынче ночью он не приходил и что если он и дальше так будет поступать, то выскочит у нее из ума вон, хотя она вовсе не желает, чтобы он вылетел у нее вон из ума.

Стоит ли рассказывать дальше? Еще много ночей простоял ревнивец у входа в надежде подстеречь священника, а жена без передышки весело проводила время с любовником. Однажды ревнивый супруг, потеряв терпение, грозно поглядел на жену и спросил, что она тогда говорила священнику на исповеди. Жена ответила, что не скажет, — это, мол, грешно и некрасиво.

«Бесчестная женщина! — вскричал тут ревнивец. — Как это для тебя ни печально, я знаю, что ты говорила священнику, но мне нужно точно знать, кто тот священник, в которого ты влюбилась по уши и который благодаря своим заклинаниям спит с тобой каждую ночь! Говори, а не то я тебе все жилы повытяну!»

Жена сказала, что ни в какого священника она не влюблена.

«Как? — воскликнул ревнивец. — Разве ты не говорила того-то и того-то на исповеди?»

«Как видно, священник рассказал тебе об этом со всеми подробностями, — можно подумать, что ты в это время был там и подслушивал, — заметила же она. — Ну да, я ему в этом призналась».

«Говори же, кто этот священник? — воскликнул ревнивец. — Говори скорей!»

Жена усмехнулась. «Я люблю, когда простушка-жена ведет умного мужа, как ведут за рога барана на бойню, — заметила она. — Впрочем, тебя умным не назовешь, — ты весь свой ум растерял после того, как впустил к себе в душу злой дух беспричинной ревности. И чем ты глупее и грубее, тем меньше это делает чести мне. Неужели ты воображаешь, муженек, что мои телесные очи столь же слепы, как твои духовные? Нет, они не слепы. Я с первого взгляда поняла, кто этот священник, который меня исповедовал, я тебя сразу узнала, но я решила, что ты у меня сейчас получишь то, на что сам набиваешься. И ты получил. Если б ты в самом деле был умным человеком, за какого ты себя считаешь, ты бы не стал таким путем выведывать тайны своей верной жены, ты постарался бы рассеять вздорные свои подозрения, ты бы сообразил, что она тебе правду сказала и что в этой правде ничего позорящего тебя нет. Я тебе сказала, что люблю священника, но ведь ты же тогда и был священником. Стало быть, выходит, что я люблю тебя, хоть любить тебя и не за что. Я сказала, что когда он хочет со мной спать, то ни одна дверь не слу-

жит ему препятствием. Ну, а когда ты шел ко мне, хоть одна дверь бывала заперта? Я сказала, что священник проводит у меня все ночи. А когда ты ночевал не у меня в комнате? Только перед тем, как подослать ко мне служку, и я ему так и ответила, что священник ко мне не приходил. Только сумасшедший, ослепший от ревности человек может всего этого не понять. Ты по ночам стоял на страже у входа, а меня уверял, будто ужинал и ночевал не дома! Опомнись, приди в себя, если не хочешь быть посмешищем для всех, кто, как и я, знает о твоих проделках, и не ходи за мной по пятам. Уж если б я захотела наставить тебе рога и будь у тебя не два, а сто г л а з , — клянусь богом, я бы тебя так сумела этим наградить, что ты нипочем бы и не догадался».

Незадачливый ревнивец воображал, что он очень ловко выведал тайну жены, но тут он понял, что остался в дураках. Он ничего жене не ответил и, придя к заключению, что жена у него умная и хорошая, перестал ее ревновать именно тогда, когда имел для этого все основания, начал же он ее ревновать, когда она не подавала для этого ни малейшего повода. Обретя почти полную свободу, умная жена предлагала теперь своему возлюбленному пройти к ней не через крышу, как кошки, а прямо в дверь и, действуя с оглядкой, много раз потом блаженствовала с ним и веселилась.





*В то самое время, когда гонна Изабелла принимает у себя Леонетто,
к ней приезжает ее поклонник, мессер Ламбертуччо;
вслед за тем возвращается ее муж;
по ее просьбе мессер Ламбертуччо с ножом в руке выбегает из комнаты;
муж провожает Леонетто до самого дома*



рассказ Фьямметты привел слушателей в восхищение; все нашли, что жена поступила совершенно правильно — так, мол, дураку и надо. Затем король велел рассказывать Пампинею, и она начала следующим образом:

— Многие в простоте душевной полагают, что Амур сводит людей с ума, что по его милости люди, можно сказать, глупеют. Мне же это кажется заблуждением. Предыдущие повести доказали нам ошибочность подобного заключения, но все-таки я хочу еще раз вам это доказать на примере.

В нашем городе, где прежде всего было вдоволь, жила молодая, знатная, красивая женщина, жена одного доблестного и состоятельного дворянина. Одни и те же кушанья нам обыкновенно приедаются; иной раз нам хочется как-нибудь поразнообразить кухню, — так вот и эта женщина: муж не вполне ее удовлетворял, и она влюбилась в некоего Леонетто — юношу благовоспитанного и добронравного, хотя и не родовитого, Леонетто же влюбился в нее, а когда оба стремятся к одному и тому же, то, сколько вам известно, чаемое ими чаще всего сбывается, — так и тут: юноше и даме потребовалось не много времени для того, чтобы достигнуть предела их любовных мечтаний. Нужно же было случиться так, что в нее, красивую, очаровательную женщину, безумно влюбился мессер Ламбертуччо, ей же он был отвратителен и омерзителен, и никакого чувства она питать к нему не могла. Долго ей докучали его посланцы, но — безуспешно; наконец мессер Ламбертуччо велел передать ей, что он человек могущественный и что если она ему не уступит, то он ее опозорит. Зная, что от этого человека всего ожидать можно, она испугалась и рассудила за благо покориться.

На лето донна Изабелла, — так звали даму, — выехала в прекрасное свое имение, как обыкновенно поступают все наши дамы, и вот, когда однажды утром муж ее на несколько дней зачем-то уехал, она тут же дала об этом знать Леонетто, и Леонетто, в совершенном восторге, мигом к ней прикатил. Сведая, что муж донны Изабеллы отлучился из дому, мессер Ламбертуччо тоже поехал к ней верхом, без спутников, и постучался в ворота. Служанка бросилась к своей госпоже, у которой в это время был Леонетто, и, вызвав ее, сказала: «Сударыня! К вам приехал мессер Ламбертуччо! Один!» В эту минуту донне Изабелле показалось, что в целом мире нет женщины несчастнее ее. Насмерть перепугавшись, она попросила Леонетто сделать ей одолжение — спрятаться за пологом и побыть там, пока не уйдет мессер Ламбертуччо. Леонетто боялся мессера Ламбертуччо не меньше, чем донна Изабелла, а потому, не теряя времени, спрятался. Донна Изабелла велела служанке отворить мессеру Ламбертуччо. Служанка отворила. Мессер Ламбертуччо сошел во дворе с коня, привязал его и поднялся наверх. Донна Изабелла как ни в чем не бывало вышла к нему на лестницу, сделала вид, что она ему очень рада, и спросила, как он поживает. Поклонник обнял ее и поцеловал. «Душенька моя! — молвил он. — Мне сказали, что вашего мужа нет дома, — вот я к вам ненадолго и приехал». Тут они вошли в комнату, заперлись, и мессер Ламбертуччо начал с ней развлекаться.

В это самое время вернулся муж, чего донна Изабелла уж никак не могла ожидать. Увидев его, когда он был уже недалеко от дома, служанка взбежала на лестницу и крикнула своей госпоже: «Сударыня! Ваш супруг приехал! Наверно, уже на дворе».

При мысли, что у нее двое мужчин и что мессера Ламбертуччо не спрячешь, потому что конь его стоит на дворе, хозяйка помертвела. Но ее тут же осенило, и, соскочив с постели, она обратилась к мессеру Ламбертуччо с такими словами: «Мессер! Если вы желаете мне добра и хотите избавить меня от смерти, вы поступите так, как я вас сейчас научу. Возьмите нож, сделайте злое лицо, прикиньтесь разгневанным и, спускаясь по лестнице, кричите: «Я с тобой еще разделаюсь, вот как бог свят!» И если мой муж станет вас удерживать, о чем-либо спрашивать, то ничего ему не отвечайте, не останавливайтесь, садитесь на коня и уезжайте».

Мессер Ламбертуччо обещал исполнить ее просьбу. Щеки у него пылали и от напряжения, и с досады, что вернулся супруг; он выхватил нож и выбежал из комнаты. Муж, который к этому времени уже спешил во дворе, с удивлением посмотрел на привязанного коня и только хотел было подняться наверх, как увидел спускавшегося мессера Ламбертуччо; подивившись и угрозам его, и всему его виду, он спросил: «Что с вами, мессер?»

Мессер Ламбертуччо ступил в стремя, сел на коня, крикнул: «Я с тобой еще разделаюсь, вот как перед богом говорю!» — и ускакал.

Поднимаясь по лестнице, почтенный супруг увидел, что его жена, растерянная, напуганная, стоит на самом верху. «Что это значит? —

спросил о н . — Кому грозит мессер Ламбертуччо и что его привело в такое негодование?»

На это донна Изабелла, подойдя поближе к двери комнаты, чтобы Леонетто мог ее слышать, ответила так: «Если б вы знали, какого я страху натерпелась! К нам в дом вбежал неведомый мне юноша, за которым гнался с ножом мессер Ламбертуччо. Случайно дверь в мою комнату была отворена — он влетел сюда и, весь дрожа, проговорил: «Сударыня! Спасите меня бога ради, иначе меня убьют у вас на глазах!» Я вскочила и только хотела спросить, кто он таков и что с ним приключилось, как в дверях показался мессер Ламбертуччо. «А, ты вот где, злодей?» — крикнул он. Я стала на пороге и не впустила его, он же был настолько учтив, что не оттолкнул м е н я , — он только долго грозил юноше, а потом, как вы видели, спустился во двор».

Муж ей на это сказал: «Ты хорошо поступила, жена. Если б у нас в доме произошло убийство, нам бы позору вовек не избыть, со стороны же мессера Ламбертуччо величайшей низостью было разыскивать спрятавшегося у нас беглеца». Тут он спросил, где сейчас этот юноша.

«А я не видала, где он схоронился», — отвечала жена.

«Где же ты? — крикнул м у ж . — Выходи, не бойся!»

Леонетто слышал весь этот разговор; ни жив ни мертв от самого настоящего, неподдельного страха, он вышел из своего тайника.

«Что у тебя произошло с мессером Ламбертуччо?» — спросил муж.

«Ровным счетом ничего, м е с с е р , — отвечал ю н о ш а . — Я совершенно уверен, что он не в своем уме или принял меня за кого-то другого. Мы встретились с ним на дороге, что ведет к вашей усадьбе. Он ни с того ни с сего выхватил нож да как крикнет: «Умри, злодей!» Я не стал спрашивать, за что это он меня, а со всех ног пустился прочь, вбежал в ваш дом — и тут, по милости божией и по милости благородной этой дамы, был спасен».

«Ну, теперь тебе бояться нечего, — сказал м у ж . — Я доставлю тебя домой целым и невредимым, а там уж ты постарайся выяснить, что он против тебя имеет».

Накормив молодого человека ужином, он посадил его на коня, поехал с ним во Флоренцию и проводил до самого дома, а молодой человек по совету донны Изабеллы в тот же вечер вступил в тайные переговоры с мессером Ламбертуччо, и они между собой так хорошо поладили, что хотя происшествие это наделало много шума, супруг так и не догадался, что жена его одурачила.





*Лодовико изъясняется донне Беатриче в любви;
она велит своему мужу, которого зовут Эгано,
надеть ее платье и отправляет его в сад, а сама милуется с Лодовико;
наконец Лодовико встает, выходит в сад и колошматит Эгано*



зобретательность донны Изабеллы, о коей поведала Пампинея, поразила все общество, однако Филомена, которой король велел рассказывать после Пампинеи, заметила:

— Любезные дамы! Я могу и ошибаться, но все же мне кажется, что дама, о которой я собираюсь вам рассказать, не менее сообразительна и ловка.

Надобно вам знать, что в Париже некогда жил флорентийский дворянин, и вот этот самый дворянин, обеднев, порешил заняться торговлей, быстро пошел в гору и не в долгом времени сказочно разбогател. У него был единственный сын, которого он назвал Лодовико. Отцу не хотелось, чтобы сын шел по торговой части; в надежде, что тот поддержит честь его рода, он за прилавок его не поставил, — по желанию отца Лодовико вместе с другими дворянами поступил на службу к французскому королю, и здесь он научился светскому обхождению и многим другим хорошим вещам. И вот как-то раз, когда молодые люди, в том числе Лодовико, между собою беседовали, к ним присоединились рыцари, ездившие на поклонение гробу господню и недавно возвратившиеся, и тут один из рыцарей, услышав, что юноши толкуют о том, где красивее женщины — во Франции, в Англии или же еще где-либо, стал уверять, что он объездил весь свет, видел немало красивых женщин, но такой красавицы, какова донна Беатриче, жена Эгано де Галуцци из Болоньи, ему видеть не приходилось. Его приятели, которые тоже видели ее в Болонье, это подтвердили. Лодовико никого еще не любил, а тут вдруг, услышав про донну Беатриче, загорелся желанием увидеть ее и больше ни о чем не мог думать. Положив во что бы то ни стало поехать к ней в Болонью и, если

донна Беатриче придется ему по сердцу, там и остаться, он подпустил отцу турусы, что, мол, хочет ехать на поклонение гробу господню. Отец дал свое согласие, хотя и с большим неудовольствием.

И вот, назвавшись Аникино, Лодовико выехал в Болонью, по милости судьбы на другой же день увидел эту даму во время торжества и нашел, что она еще прекраснее, чем о ней говорят. С первого же взгляда влюбившись в нее без памяти, он решил, что не покинет Болонью до тех пор, пока не добьется взаимности. Подумав о том, что должно для этого предпринять, он выбрал один путь, все же остальные отверг: ему пришло на ум, что если он поступит в услужение к ее мужу, — а у того слуг было много, — то, быть может, ему удастся достигнуть цели. Распродав коней, позаботившись о том, чтобы как можно лучше пристроить своих слуг и наказав им делать вид при встрече, будто они его не знают, Лодовико подружился с хозяином той гостиницы, где он остановился, и сказал ему, что с удовольствием пошел бы в услужение к хорошему господину, если бы таковой нашелся. Хозяин ему на это сказал: «Ты бы как раз подошел одному здешнему дворянину по имени Эгано, — у него много слуг, и нанимает он только таких же из себя видных, как ты. Я с ним поговорю». Обещание свое хозяин исполнил: отправился к Эгано и не ушел от него до тех пор, пока тот не взял Аникино; Аникино же был на седьмом небе. Поступив к Эгано, он получил возможность часто видеть его жену; между тем служил он усердно и так старался во всем угодить Эгано, что тот полюбил его, не делал ни шагу, не посоветовавшись с ним, и поручил его заботам не только свою особу, но и свои дела.

И вот как-то раз Эгано отправился на охоту, Аникино же с ним не поехал, и донна Беатриче, которая хоть и не знала еще, что он ее любит, однако ж, присмотревшись к нему и понаблюдав за тем, как он себя держит, составила о нем хорошее мнение и благоволила к нему, села играть с ним в шахматы. Чтобы доставить ей удовольствие, Аникино нарочно проигрывал, — только делал это весьма искусно, — а донна Беатриче была от того в восторге.

Когда следившие за игрой служанки ушли, оставив их вдвоем, Аникино тяжело вздохнул.

Донна Беатриче подняла на него глаза. «Что с тобой, Аникино? — спросила она. — Тебе неприятно, что я выигрываю?»

«О нет, сударыня! — отвечал Аникино. — Стал бы я из-за таких пустяков вздыхать?»

«Если ты меня любишь, скажи, что у тебя тако е», — молвила донна Беатриче.

Услыхав, что та, которую он любил больше всего на свете, говорит ему: «Если ты меня любишь», — Аникино вздохнул еще тяжелее, — тогда донна Беатриче снова обратилась к нему с просьбой объяснить ей, отчего он вздыхает. Аникино же ей сказал: «Боюсь прогневать вас, сударыня. А еще меня пугает, что вы расскажете об этом другому».

«Я не обижусь, уверяю теб я, — сказала донна Беатриче, — и никому ничего не скажу, — можешь быть спокоен, — разве уж ты сам меня об этом попросишь».

«Ну, раз вы обещаете, я скажу», — молвил Аникино и чуть ли не со слезами на глазах поведал ей, кто он таков, сказал, что он о ней слышал, где и при каких обстоятельствах полюбил ее и с какой целью поступил в услужение к ее мужу, а затем обратился к ней с покорной просьбой сжалиться над ним и, если только это для нее возможно, исполнить его сокровенное и страстное желание; если же она не согласна, то пусть, мол, все останется по-прежнему, только да будет ему позволено любить ее.

О на диво мягкосердечные женщины Болоньи! Как вы всегда в подобных случаях великодушно поступали! Слезы и вздохи на вас не действовали; зато вы неизменно приклоняли слух к мольбам и уступали страсти любовной. Если б я считал себя достойным, я восславлял бы вас неустанно.

Пока Аникино рассказывал, донна Беатриче не сводила с него глаз; она вполне ему поверила, чувство, которое он выражал в своих мольбах, глубоко запало ей в душу, наконец и из ее груди вырвался вздох, и она обратилась к Аникино с такою речью: «Милый мой Аникино! Можешь быть уверен: ни подношения, ни посулы, ни ухаживания сановников, вельмож и чьи бы то ни было е ще , — а ведь за мной ухаживали и сейчас еще ухаживают мно г и е , — не затронули моего сердца настолько, чтобы я кого-нибудь полюбила, ты же в кратчайший с рок , — пока изъяснял мне свои чувства; — достигнул того, что теперь я в большей мере принадлежу тебе, нежели себе самой. Я убедилась, что ты стоишь моей л ю б в и , — я тебе ее дарю и обещаю, что ты насладишься ею еще до того, как настанет утро. А чтобы это сбылось, постарайся проникнуть ко мне в комнату около полуночи. Дверь я не запру. Ты знаешь, с какого краю кровати я сплю. Как войдешь — дотронься до меня, чтобы я проснулась, если невзначай засну до твоего прихода, и тогда твоя давняя мечта осуществится. А чтобы ты в этом не сомневался, я в задаток дам тебе поцелуй». Тут она обняла Аникино и нежно поцеловала, а он поцеловал ее.

Затем Аникино расстался с донной Беатриче, и, не чая, как дождаться ночи, отправился по своим делам. Вечером возвратился уставший после охоты Эгано и, отужинав, пошел спать; следом за ним пошла донна Беатриче и, как обещала, дверь за собою не заперла. В условленный час к незапертой двери приблизился Аникино, на цыпочках вошел в комнату, запер дверь изнутри, пробрался к тому краю кровати, где лежала донна Беатриче, положил ей руку на грудь и убедился, что она не спит. Почувствовав его прикосновение, донна Беатриче обеими руками вцепилась в его руку и так заворочалась на постели, что проснулся Эгано. «Вечером я тебе ничего не стала говорить, — у тебя был очень утомленный в и д , — начала о н а , — а теперь скажи мне как перед богом, Эгано: кого ты считаешь самым лучшим и самым верным своим слугою и кого из слуг ты больше всего любишь?»

«Зачем ты меня об этом спрашиваешь, жена? — молвил Эгано. — Разве ты не знаешь? Я никому так не доверял, никому так не доверяю и никого так не люблю, как Аникино. А почему ты меня об этом спрашиваешь?»

Аникино, слышавший, что Эгано проснулся и что речь у супругов зашла о нем, испугался, — он решил, что донна Беатриче устроила ему ловушку; он попытался выдернуть руку, но донна Беатриче так крепко ее держала, что он никакими силами не мог вырваться.

«Сейчас объясню, — снова заговорила донна Беатриче. — Я ведь тоже так думала и считала его самым преданным из твоих слуг, но он меня разочаровал: после того как ты уехал на охоту, он, улучив минутку, не постеснялся обратиться ко мне с просьбой утолить его страсть, я же, чтобы не искать потом других доказательств и чтобы ты мог самолично увериться в том, что я сказала тебе правду, дала ему слово, что после полуночи выйду в сад и буду ждать его под сосною. Разумеется, я туда не пойду, а вот если ты хочешь испытать верность своего слуги, то тебе это не составит труда: надень мое платье, на голову набрось покрывало, выйди в сад и дождись его — я убеждена, что ты его дождешься».

«Да, мне бы не мешало с ним повидаться», — выслушав жену, рассудил Эгано. Он встал с постели и, кое-как надев в темноте женино платье и покрывало, пошел в сад и стал ждать под сосной Аникино.

Удостоверившись, что муж вышел из комнаты, донна Беатриче встала и заперлась изнутри. Все это время Аникино, умирая от страха, тщетно пытался высвободить свою руку; он уже сто тысяч раз проклял и донну Беатриче, и свое чувство к ней, и самого себя — за доверчивость; когда же он уразумел, с какою целью все это донна Беатриче придумала, то несказанно обрадовался и, как скоро она снова улеглась в постель, по ее приказу снял с себя одежду и остался в том же виде, что и она, и потом они долго улаживали и улаживали друг дружку. Наконец донна Беатриче, подумав о том, что дальнейшее пребывание Аникино у нее в спальне небезопасно, велела ему встать и одеться. «Любимый мой! — сказала она. — Возьми здоровенную палку, пойдешь в сад, сделай вид, будто ты вызвал меня на свидание, чтобы испытать, сделай вид, будто ты уверен, что перед тобой — я, отругай его и как следует взгрей — нам с тобой на счастье и на радость».

Аникино встал и, вооружившись дубиной, вышел в сад. Эгано увидел Аникино, когда тот был уже около сосны, и, притворившись, что радости его нет границ, вскочил и двинулся к нему навстречу, Аникино же обрушился на него с криком: «Ах, гадина ты эдакая! Так ты сюда пришла, воображая, что я собирался и собираюсь обмануть моего господина? Ну я же тебе сейчас покажу!» Тут он взмахнул дубиной и давай его охаживать. Послушав такие речи и увидев дубину, Эгано, ни слова не говоря, пустился бежать, Аникино — за ним, бежит и кричит ему вдогонку: «Беги, беги, срамница, и да разразит тебя господь, а завтра я все расскажу Эгано!»

Всыпал ему Аникино лихо, и он духом домчался до спальни. Жена спросила, выходил ли в сад Аникино. «Уж лучше бы не выходил, — отвечал Эгано, — он принял меня за тебя, наломал мне бока дубиной и наговорил столько всяких гадостей, сколько ни одна непотребная женщина за всю свою жизнь не слыхала. Меня, по правде сказать, крайне удивило, что он завел с тобой такой разговор и хочет сгубить мою честь,



а это он, зная твой игривый и веселый нрав, задумал только для того, чтобы испытать тебя!»

«Слава богу, что меня он испытал словом, а тебя — действием, — заметила донна Беатриче. — Наверно, он мог бы подтвердить, что я терпеливее выношу слова, нежели ты — действия. Как бы то ни было, он так тебе предан, что его нельзя не любить и не уважать».

«Что правда, то правда», — молвил Эгано.

После этого он совершенно уверился, что ни у одного дворянина нет такой верной жены и такого преданного слуги, как у него. И он сам, и его жена, и Аникино часто со смехом вспоминали этот случай, благодаря которому донна Беатриче и Аникино могли все то время, что Аникино пробыл у Эгано в Болонье, свободнее предаваться любовным резвостям и утехам, а то ведь иначе такого раздолья для них могло бы и не быть.





*Один человек ревнует свою жену;
по ночам жена, чтобы знать, что ее любовник пришел,
привязывает себе к пальцу нитку;
муж обнаруживает обман, но, пока он преследует любовника,
жена уговаривает лечь вместо нее в постель другую женщину;
муж избивает эту женщину и отрезает ей косы,
а потом идет за своими шурьями;
те, убедившись, что он им сказал неправду, ругательски его ругают*



се, что проделала со своим мужем донна Беатриче, показалось слушателям необычайно хитрым, и они заговорили о том, как, должно полагать, трусил Аникино, когда донна Беатриче, крепко держа его за руку, сообщала мужу, что он домогался ее расположения. Видя, однако ж, что Филомене больше прибавить нечего, король обратился к Нейфиле и сказал:

— Ну, а теперь вы.

Нейфила, чуть заметно усмехнувшись, начала так:

— Приятные дамы! Доставить вам удовольствие занимательной повестью, как это удалось тем, кто рассказывал передо мной, — задача не из легких, однако с божьей помощью я надеюсь ее разрешить.

Итак, надобно вам знать, что в нашем городе некогда проживал богатейший купец по имени Арригуччо Берлингьери, и вот этот самый купец сделал глупость, которую и теперь ежедневно делают купцы: ему захотелось породниться с дворянами, и он выбрал себе в жены неровню — девушку благородного происхождения, по имени монна Сисмонда. Как все купцы, он много разъезжал и мало бывал с женой, а она влюбилась в молодого человека по имени Руберто, давнего своего поклонника. Вступив с ним в близкие отношения, она не весьма тщательно близость эту скрывала — уж очень она была увлечена, Арригуччо же, должно думать, кое-что о том проведал, — во всяком случае, он начал бешено ее ревновать, перестал разъезжать, забросил все свои дела, теперь у него

только и заботы было, что караулить жену, и засыпал он лишь после того, как убеждался, что она тоже легла, а жена от этого очень страдала, ибо ей все не удавалось побыть со своим милым наедине. Руберто молил ее о том неотступно, и она долго ломала себе голову, как бы изыскать способ побыть с ним вдвоем; наконец вот что она надумала: спальня ее выходила окнами на улицу, а, по ее наблюдениям, Арригуччо засыпал с трудом, зато потом уже спал без п р о с ы п у, — вот она и порешила устроиться таким образом: Руберто будет приходиться около полуночи, а она отворит ему дверь и побудет с ним, пока ее супруг спит сном праведника, а чтобы всякий раз догадываться, что Руберто пришел, и чтобы никто другой ничего не услышал, она придумала спускать из окна нитку до самой земли, в комнате же провести ее по полу от окна к кровати, другой ее конец прятать под простыней и, после того как она уляжется, привязывать его к большому пальцу на ноге. Уведомив о том Руберто, она велела ему, как скоро он явится, потянуть за нитку: если муж спит, то она, дескать, отпустит нитку и отворит ему; если же не спит, то она, чтобы Руберто не ждал, не отпустит нитку, а напротив того — потянет к себе. Руберто одобрил этот способ; он много раз к ней приходил, и иной раз им удавалось повидаться, а иной раз — нет.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды ночью, в то время как жена спала, Арригуччо не вытянул ногу и не почувствовал нитку; схватившись за нее рукой, он обнаружил, что нитка привязана к жениному пальцу. «Тут кроется и з м е н а», — сказал он себе. Когда же он заметил, что нитка спускается из окна на улицу, то утвердился в сем подозрении окончательно. Тихонько отрезав нитку, он привязал ее к своему пальцу и стал ждать, что будет дальше. Немного погодя пришел Руберто и, как было заведено, потянул за нитку, и Арригуччо это почувствовал, привязал же он нитку не крепко, между тем Руберто потянул ее с силой, и нитка осталась у него в р у к е, — для него это означало: «Жди», — и он стал ждать. Арригуччо вскочил и, вооружившись, подбежал к двери посмотреть, кто там, и учинить расправу. Человек вспыльчивый и к тому же силач, хоть и происходил из купцов, Арригуччо стал отворять дверь не так осторожно, как его супруга, и поджидавший ее Руберто, не без основания заподозрив, что отворяет Арригуччо, бросился бежать со всех ног, а за ним припустился Арригуччо. Руберто бежал долго, Арригуччо же гнался за ним по пятам; в конце концов Руберто, у которого тоже было оружие, выхватив шпагу, обернулся к нему лицом, и тут один из них начал нападать, а другой — защищаться.

Когда Арригуччо распахнул дверь, его жена проснулась и увидела, что кто-то отрезал н и т к у, — тогда она поняла, что ее уловка раскрыта. Услыхав, что Арригуччо бросился догонять Руберто, и представив себе, каковы могут быть последствия этой погони, она мигом поднялась с постели и, позвав служанку, которой все было известно, уговорила ее лечь вместо нее в постель, ни в коем случае себя не называть и покорно принять побои от Арригуччо, а уж Сисмонда так, мол, ее отблагодарит, что она не пожалеет. Потушив свечу, монна Сисмонда вышла из комнаты и, притаившись, стала ждать, что будет дальше. Между тем Арригуччо

и Руберто все еще дрались, и в конце концов шум этой битвы разбудил соседей; соседи вскочили и принялись осыпать дерущихся бранью, и тут Арригуччо испугался, как бы его не узнали, — даже не разглядев, кто этот юнец, и не нанеся ему ни малейшего ущерба, он бросил его и, озлобленный и расвирепевший, пошел домой. Войдя в комнату, он крикнул в сердцах: «Ты где, срамница? Ты нарочно погасила свечку, чтобы я тебя не нашел, — шалишь!» Тут он подошел к кровати и, полагая, что это жена, сгреб служанку и, что было силы у него в руках и в ногах, надавал ей невесть сколько пинков и колотушек, разбил в кровь все лицо, вдобавок отрезал ей косы и наговорил при этом столько всяких гадостей, сколько ни одна непотребная женщина во всю свою жизнь не слышала. Служанка плакала навзрыд, и, по правде сказать, было отчего. Время от времени она все-таки вскрикивала: «Ой! Ради бога! Больше не могу!» — но рыдания не давали ей говорить, Арригуччо же был до того взбешен, что утратил способность различать голоса. Итак, — повторяю, — отделив служанку за мое почтение и отрезав ей косы, Арригуччо обратился к ней с такой речью: «Больше я тебя, гадина, бить не стану, — я сейчас пойду к твоим братьям и расскажу про твои шашни, — пусть-ка они за тобой придут, поступят с тобой так, как им подскажет их честь, и уведут тебя — в моем доме тебе, право слово, делать нечего». С этими словами он вышел из комнаты, запер за собой дверь и ушел.

Когда все слышавшая монна Сисмонда удостоверилась, что муж ее вышел из дому, она отперла дверь в спальню и зажгла свечу — на служанке не было живого места, и она горькими слезами плакала. Монна Сисмонда утешила ее, сколько могла, отвела к ней в комнату, отдала тайное распоряжение ухаживать за ней и лечить ее и так отблагодарила ее из средств Арригуччо, что та осталась премного довольна. Отведя служанку, монна Сисмонда вернулась к себе в спальню, мигом оправила постель, прибрала и привела в порядок комнату, — можно было подумать, что эту ночь никто здесь не спал, — зажгла ночничок, оделась, убралась, как будто еще и не ложилась, засветила лампу, взяла белье, села на верху лестницы и, в ожидании, что из всего этого воспоследует, начала шить.

Меж тем Арригуччо, выйдя из дому, стрелой полетел к шурьям и так забарабанил к ним в дверь, что ему тотчас же отворили. Поняв, что это Арригуччо, мать монны Сисмонды и все три брата поднялись, велели зажечь свечи и, выйдя к нему, спросили, зачем он пожаловал к ним один и в столь поздний час. Арригуччо рассказал им всю историю, с начала до конца: во-первых о том, что к пальцу на ноге монны Сисмонды оказалась привязанной нитка, а затем — обо всем, что ему удалось обнаружить в дальнейшем и что он, со своей стороны, почел за нужное предпринять. Чтобы у них не оставалось никаких сомнений, Арригуччо отдал им косы, которые он срезал, как ему казалось, у своей супруги, и в заключение потребовал, чтобы братья пошли за ней и поступили, как им подскажет чувство чести, он же, дескать, держать ее у себя в доме не станет. Братья монны Сисмонды поверили Арригуччо, и рассказ его привел их в негодование; возмущившись поведением сестрицы, они велели зажечь факелы и, вознамерившись хорошенько ее поучить, пошли с

Арригуччо. Следом за ними пошла мать и начала слезно молить сыновей не принимать на веру подобного рода сообщения, пока они не расспросят и не выслушают сестру; муж, дескать, мог и по другому поводу осерчать на жену и обойтись с нею круто, а теперь, в оправдание, плетет про нее небылицы. Затем она выразила крайнее удивление, как, дескать, это могло случиться, — она, мол, дочку свою хорошо знает, она ее воспитала, и прочее, и тому подобное.

Но вот и дом Арригуччо — взошли, начали подниматься по лестнице. «Кто там?» — спросила монна Сисмонда.

«Сейчас узнаешь, срамница!» — отвечал один из братцев.

«Господи помилуй! Это еще что такое? — вставая, прошептала монна Сисмонда. — Милости просим, братцы! — обратилась она к вошедшим братьям. — Что это вас к нам привело — всех троих и в столь поздний час?»

Увидев, что она сидит и шьет и что на лице у нее нет никаких следов побоев, тогда как Арригуччо уверял, что измолотил ее всю как есть, братья слегка удивились, однако тут же, преоборов душившую их злобу, объявили, что им на нее пожаловался Арригуччо — пусть, мол, она им выложит всю правду, а не то ей худо придется.

«Не знаю, что вам и сказать, — отвечала монна Сисмонда. — Я просто ума не приложу, на что вам мог пожаловаться Арригуччо». Между тем Арригуччо смотрел на нее и глазам своим не верил: он припоминал, как он, наверное, не меньше тысячи раз смазал ее по лицу, как он ее царапал, как отводил на ней душу, а ей — хоть бы что! Братья вкратце рассказали монне Сисмонде обо всем, что было им известно со слов Арригуччо, — и о нитке и о взбучке, словом, решительно обо всем.

«Боже мой! Что я слышу? — обратясь к Арригуччо, воскликнула монна Сисмонда. — Зачем ты, муженек, себе же на великий позор, говоришь обо мне, что я — срамница, когда на самом деле я не такая, а самого себя выставляешь злым и жестоким человеком, когда на самом деле ты не таков? Да ведь эту ночь ты не то что здесь, со мной, в этой комнате, — ты и дома-то не был! И когда это ты меня бил? Я, по крайней мере, не помню».

«Да ты что, срамница? — заговорил Арригуччо. — Ведь спали-то мы вместе? Я побегал за твоим любовником, а потом-то ведь я вернулся? Ведь я ж тебя вздул как собаку, да еще и косы твои отрезал?»

«Ты дома не ночевал, — возразила жена, — но это я оставляю в стороне, — я стою на том, что говорю истинную правду, но никаких доказательств у меня нет, — перейдем к твоим рассказам, будто ты меня избил и отрезал мне косы. Нет, ты меня не бил. Прошу всех вас, и тебя также, обратить внимание, есть ли у меня теле хоть один след побоев. Да я бы тебе и не советовала поднимать на меня руку, — если бы ты настолько обнаглед, клянусь богом, я выцарапала бы тебе глаза. И не чувствовала я и не видела, когда это ты отрезал мне косы. Может быть, ты как-нибудь украдкой это сделал? Я сейчас погляжу, отрезаны они или нет». Тут она сняла с головы покрывало, и все увидели, что косы у нее целы, а вовсе не отрезаны.

Выслушав обе стороны и во всем убедившись воочию, мать и братья приступили к Арригуччо: «Что, Арригуччо? Ведь ты нам не так рассказывал. Как же ты теперь докажешь все прочее?»

Арригуччо мнилось, что все это он видит во сне; он несколько раз порывался прервать жену, но она разбивала все его доказательства, и он рассудил за благо молчать.

«Что ж, братцы, — снова заговорила монна Сисмонда, — ведь он сам напрашивается на то, чего я никогда прежде не делала, — на то, чтобы я рассказала про его мерзости и подлости, — коли так, то я расскажу. Я совершенно уверена, что все, что он наговорил на меня, произошло с ним самим, все это он сам и проделал. Вы только послушайте. Этот почтенный человек, за которого вы, на мое несчастье, выдали меня замуж, этот почтенный человек, который именуется купцом, который должен бы, кажется, стремиться к тому, чтобы заслужить всеобщее доверие, и которому надлежит быть воздержнее монаха и добродетельнее девушки, редкий вечер не шатается по кабакам и не путается то с той, то с другой гулящей бабенкой, а я жду его до полуночи, иной раз и до утра, — вот как вы меня сейчас застали. Бьюсь об заклад, что он нахлестался и пошел спать с какой-нибудь потаскушкой, а когда проспался, то увидел у нее на ноге нитку, затем совершил те подвиги, о которых он вам рассказал, потом вернулся, всыпал ей и отрезал косы, а так как он еще не вполне протрезвился, то вообразил, — да, пооди, и сейчас еще воображает, — будто он это надо мной учинил. Приглядитесь к нему повнимательней — у него же еще хмель из головы не вышел. Со всем тем, что бы он на меня ни наклепал, — смотрите на это как на пьяную болтовню; я ему прощаю — простите и вы».

Но тут расшумелась мать.

«Нет, дочурка, нельзя ему прощать, ей-ей, нельзя! — вскричала она. — Убить его надобно, шелудивого пса, скотину неблагодарную, — не достоин он быть твоим мужем. Ишь ты, какой нашелся! Да если б ты ее из грязи выволок, все равно с женщиной так не обращаются. Чтоб ему ни дна, ни покрывки! Плюнь ты на него, мало ли что спьяну мелет этот купчишка из ослиного дерьма, — такой сволочи, как он, видимо-невидимо понаехало к нам из деревень: ходят в домотканой одежде, каждая штанина — что колокол, на заднице перо, а как заведется у них в кармане три сольдо, так сейчас присваиваются к дочерям дворян и знатных дам, сочиняют себе гербы и всё твердят: «Я из таких-то, предки мои совершили то-то и то-то». Ах, зачем сыновья не послушались моего совета! У них была возможность, даром что приданого у тебя всего ничего, отлично устроить твою судьбу, и жила бы ты теперь в семье графов Гвиди, но им вздумалось выдать тебя вот за это сокровище, а он не постеснялся в глухую полночь сказать о тебе, — о тебе, лучшей, честнейшей женщине во всей Флоренции, — что ты шлюха, как будто мы тебя не знаем! Доведись до меня, ему бы, вот как бог свят, отлились мои слезы». Тут она обратилась к сыновьям: «Сколько я вас, детки, отговаривала! Слыхали, как ваш милый зятек, этот несчастный купчишка, отзывается о вашей сестре? Будь я на вашем месте и если б он при мне так про нее сказал и так

с ней поступил, я бы не успокоилась и не унялась до тех пор, пока не загнала бы его в гроб. Будь я мужчина, а не женщина, я бы его своими руками пристукнула. Господи! Покарай ты этого жалкого пьянчужку, ведь у него ни стыда, ни совести нет!»

Молодые люди, всё выслушавшие и всему бывшие свидетелями, наговорили Арригуччо столько грубостей, сколько ни один мерзавец за свою жизнь не слышал, а в заключение пригрозили: «На сей раз мы тебя прощаем, коль скоро ты это с пьяных глаз, но если только тебе дорога жизнь, веди себя так, чтобы впредь подобные рассказы о тебе до нас не доходили; дойдут — тогда уж мы с тобой рассчитаемся сразу за все». С этими словами они удалились.

Арригуччо стоял как вкопанный; он не мог понять, то ли он в самом деле все это натворил, то ли это ему приснилось, а потому не сказал жене ни слова и оставил ее в покое, она же благодаря своей сообразительности не только отвела от себя беду, но и получила возможность в будущем делать все, что угодно, уже не боясь мужа.





*Жена Никострата Лидия любит Пирра;
габы увериться в истинности ее чувства, Пирр ставит ей три условия,
и Лидия все эти условия выполняет;
к довершению всего она в присутствии Никострата развлекается
с Пирром, Никострата же уверяет, что ничего этого не было*



рассказ Нейфилы так понравился слушателям, что дамы не могли удержаться ни от смеха, ни от обмена мнениями по поводу только что услышанного, хотя король несколько раз просил всех замолчать и велел начать рассказывать Панфило; когда же тишина водворилась, Панфило начал так:

— Я полагаю, достопочтенные дамы, что нет такого тяжелого и рискованного предприятия, на которое не отважился бы пламенно влюбленный, и хотя это явствовало из многих повестей, со всем тем я почитаю за нужное еще раз это доказать на

примере одной женщины, которой больше помогала в осуществлении ее замыслов Фортуна, нежели природная ее сметка, — вот почему я никому не посоветую ей подражать, ибо Фортуна не всегда бывает благосклонна, да и не все мужчины одинаково слепы.

В Греции есть старинный город Аргос, сам по себе небольшой, однако ж славящийся древними своими правителями, и вот в этом городе назад тому много лет жил знатный человек по имени Никострат, и когда он был уже в преклонных годах, судьба сочетала его узами брака с прелестной женщиной по имени Лидия, столь же отважной, сколь и красивой. Как все знатные и богатые люди, Никострат держал много прислуги, много собак и ловчих птиц и был заядлым охотником. И был у него слугою Пирр, прелестный юноша, стройный, пригожий, на все руки мастер, — Никострат ото всех его отличал и всех более к себе приближал. В него-то и влюбилась Лидия, да так, что он ни днем, ни ночью не выходил у нее из головы, а между тем Пирр, то ли потому, что ничего не замечал, то ли потому, что не желал замечать, не обращал на нее

никакого внимания и тем причинял Лидии нестерпимую душевную муку.

Наконец, решившись ему открыться, Лидия позвала к себе свою служанку по имени Луска, кой она доверяла всецело, и повела с ней такую речь: «Луска! Я тебя облагодетельствовала, и ты должна быть мне послушной и верной, — смотри же, никому не открывай тайны, которую я тебе сейчас поверю, никому, за исключением одного человека. Ты видишь, Луска: я молода, свежа, богата и обильна всем, что только женщина может себе пожелать, — словом сказать, жаловаться мне не на что, кроме одного: мой муж гораздо старше меня, — вот почему я не чувствую себя вполне удовлетворенной как раз в том, что доставляет молодым женщинам особую отраду. Мне хочется того же, чего и другим, и я уже давно рассудила так: если Фортуна была ко мне столь неблагоприятна, что связала меня с таким старым мужем, то уж я-то врагом самой себе не буду, я сумею найти путь к наслаждению и к благополучию. И вот наконец я поняла, что могу быть вполне счастлива и довольна только в объятиях Пирра, ибо он наиболее достоин моей любви, а люблю я его так горячо, что мне только тогда и бывает хорошо на душе, когда я вижу его или же о нем помышляю. Я чувствую, что умру, если в самом непродолжительном времени не буду ему принадлежать. Так вот, если тебе не хочется, чтобы я умерла, изыщи наилучший способ уведомить его о моих чувствах и попроси его от моего имени прийти ко мне, а ты, мол, за ним зайдешь».

Служанка охотно за это взялась и, выбрав время и место, отвела Пирра в сторону и постаралась как можно лучше выполнить поручение своей госпожи. Слова служанки привели Пирра в крайнее изумление, ибо он ничего такого за госпожой не замечал, и в душу к нему закралось подозрение: уж не хочет ли госпожа испытать его? С живостью обратясь к Луске, он грубо ответил ей: «Луска! Я не могу верить, чтобы это исходило от моей госпожи, — смотри, как бы тебе не пришлось отвечать за такие слова, — а если даже и от нее, то я не думаю, чтобы она это говорила от чистого сердца; если же и от чистого сердца, все равно я не нанесу моему господину такого оскорбления, ибо он превознес меня не по заслугам. Смотри же, никогда больше со мной о таких вещах не говори!»

Суровая его отповедь не смутила Луску. «Пирр! — сказала она. — Нравится тебе это или нет, я буду с тобой говорить и о таких вещах, и обо всем прочем столько, сколько мне прикажет моя госпожа. А ты осел!»

Раздосадованная ответом Пирра, она возвратилась к своей госпоже, — та, выслушав ее, чуть не умерла, однако ж несколько дней спустя снова с ней об этом заговорила. «Знаешь, Луска, — сказала она, — дуб после первого удара не падает. А коли так, то почему бы тебе еще разок не поговорить с этим человеком, который, назло мне, выказывает неслыханную преданность своему господину? Улучи минутку, скажи ему все, — пусть он почувствует пыл моей страсти, — и доведи дело до конца; если же ты бросишь его на полдороге, то я умру, а он будет думать, что его

хотели испытать, и, в противность тому, о чем я мечтала, не полюбит меня, а возненавидит».

Служанка успокоила госпожу; она разыскала Пирра и, заметив, что он весел и в добром расположении духа, повела с ним такую речь: «Пирр! Назад тому несколько дней ты от меня узнал, как пылает к тебе любовью наша общая госпожа. Еще раз повторяю: если ты и сейчас проявишь такое же бессердечие, то можешь быть уверен, что жить ей осталось недолго. Потому я и прошу тебя: исполни ее желание, а то ведь я всегда считала тебя умницей, но если ты заупрямишься, то будешь в моих глазах дураком. Неужто тебе не лестно, что такая красивая, благородная и богатая женщина любит тебя больше всего на свете? Помимо всего прочего, не сама ли судьба устраивает так, что ты сможешь удовлетворять желания, свойственные юному твоему возрасту, а сверх того, ни в чем не будешь иметь недостатка? Если ты проявишь благоразумие, то по части утех кто из ровесников твоих окажется в лучшем положении, нежели ты? Если ты ответишь ей взаимностью, то у кого еще будет столько оружия, коней, нарядов и денег, сколько у тебя? Одумайся и отнесись благосклонно к моим словам. Помни, что Фортуна улыбается человеку и отверзает ему свое лоно только однажды, — кто не окажется ей гостеприимства, тот потом, пребывая в нищете и убожестве, пусть пеняет на себя. И еще я тебе скажу: слугам не должно выказывать по отношению к господам такую же точно верность, как к родным и друзьям, — напротив того: слуги должны обходиться с господами по возможности так же, как господа обходятся с ними. Или ты воображаешь, что если бы тебя была красивая жена, мать, дочь, сестра и она приглянулась бы Никострату, то он не перешагнул бы через верность, которую ты намерен соблазнить по отношению к нему, отказавшись от его жены? Если ты так думаешь, то ты болван. Можешь мне поверить: не помогли бы тебе ни ласки, ни просьбы — он бы на тебя не посмотрел, а применил бы силу. Будем же обходиться с ними самими и с тем, что им принадлежит, так же точно, как они обходятся с нами и с тем, что принадлежит нам. Воспользуйся милостью судьбы, не гони ее, выйди ей навстречу и прими у себя; если же ты поступишь иначе, то ручаюсь тебе, что госпожа твоя непременно умрет; этого мало: ты будешь так горько каяться, что в конце концов смерть и тебе покажется желанным исходом».

Обдумав все, что сказала Луска, Пирр пришел к такому решению: если только ему будет предоставлена возможность удостовериться, что его не испытывают, то в следующий раз, когда Луска к нему придет, он даст уже иной ответ и изъявит полную готовность убогостворить госпожу. А пока что он обратился к Луске с такою речью: «Я понимаю, Луска, что ты говоришь дело, однако ж, с другой стороны, я знаю, что мой господин мудр и хитроумен, а так как он сдал мне на руки все дела, то я боюсь, не вздумал ли он меня испытать и не действует ли таким образом Лидия по его наущению и не исполняет ли она его волю. Так вот, если она в доказательство своей любви ко мне выполнит три условия, которые я ей поставлю, то уж тогда она может быть уверена, что всякое ее желание будет для меня законом. Итак, я ставлю

ей три условия: во-первых, пусть она в присутствии Никострата убьет его лучшего ястреба; затем пусть она мне пошлет клок волос из Никостратовой бороды и, наконец, один из самых крепких его зубов».

Луске эти условия показались нелегкими, а еще более трудными показались они Лидии, однако ж Амур, великий утешитель и премудрый советчик, вдохновил ее на это, и она послала служанку передать Пирру, что все его требования будут исполнены, и притом — в самом скором времени. Кроме того, она велела передать ему следующее: пусть, мол, Пирр почитает Никострата за необыкновенно умного человека, а она будет в присутствии Никострата развлекаться с Пирром, Никострата же уверит, что ничего этого не было. Пирр стал ждать, что же предпримет знатная дама. И вот, когда несколько дней спустя Никострат, по своему обыкновению, давал некоторым дворянам парадный обед, Лидия надела зеленое бархатное платье, нацепила на себя множество драгоценных вещей и, после того как со столов уже убрали, вошла в залу, где сидели гости, в присутствии Пирра и всех остальных направилась к жердочке, на которой сидел ястреб, коим особенно дорожил Никострат, как бы с намерением посадить ястреба себе на руку, отвязала его, схватила за ремешок и, хватив об стену, убила.

«Ох, жена, что ты наделала!» — вскричал Никострат. Ему Лидия ничего не ответила, — она обратилась к обедавшим у него дворянам. «Когда бы у меня, господа, не достало смелости отомстить ястребу, — сказала она, — то как бы я тогда отомстила королю, если б он нанес мне оскорбление? Надобно вам знать, что этот ястреб долго отнимал у меня время, которое мужчины обязаны посвящать женщинам. Бывало, чуть забрезжит свет, Никострат встает, садится на коня, с ястребом на руке едет в чистое поле поглядеть, как он летает, а я, женщина, как видите, в самой поре, рассерженная, остаюсь в постели одна. Я давно уже задумала убить ястреба, но меня удерживало одно: мне хотелось убить его на глазах у людей, которые могли бы рассудить меня с мужем по справедливости, чего я от вас и ожидаю».

Выслушав Лидию и придя к заключению, что любовь ее к Никострату в самом деле так сильна, как о том свидетельствуют ее слова, гости со смехом сказали огорченному Никострату: «Ах, как славно твоя жена выместила обиду на ястребе!» — и, обернув дело в шутку, добились того, что и насупившийся Никострат в конце концов развеселился, а Лидия между тем ушла к себе в комнату.

«Любовь моя, верно, будет счастливой, — подумал при сем присутствовавший Пирр, — Лидия положила прекрасное начало — помоги ей бог довести дело до конца!»

Прошло до него несколько дней после того, как Лидия убила ястреба, и вот как-то раз, сидя у себя в комнате с Никостратом, она ласкала его, заигрывала с ним, он же в шутку слегка потянул ее за волосы, и это послужило для нее поводом выполнить и второе Пиррово условие: не долго думая, она вцепилась Никострату в бороду, изо всех сил дернула и, смеясь, вырвала клочок волос. Никострат стал ей за это выговаривать.

«Да что с тобой? Чего это ты надулся? — спросила она. — Из-за нескольких волосков, которые я у тебя вырвала? Мне было больней, когда ты меня дернул за волосы». Продолжая болтать с ним и шутить, Лидия незаметно припрятала клочок волос и в тот же день послала его своему милому.

Третье условие заставило Лидию поломать голову, но так как она была очень умна от природы, Амур же изощрил ее ум, то в конце концов она придумала, как ей достигнуть цели. У Никострата жили два мальчика, оба из хороших семей, — родители отдали их ему на воспитание, дабы они у него в доме обучились светскому обхождению; один из них нарезал Никострату на кусочки кушанья, когда тот сидел за столом, другой подносил питье; Лидия позвала к себе обоих, сказала, что у них пахнет изо рта, что, когда они прислуживают Никострату, им надлежит держать голову как можно дальше от него, и велела никому про то не говорить. Мальчики ей поверили и стали делать так, как она их научила. И вот однажды она задала Никострату вопрос: «Ты заметил, как делают мальчики, когда прислуживают тебе?»

«Конечно, заметил, — отвечал Никострат, — я даже хотел спросить, зачем это они так делают». — «Не надо, — сказала Лидия, — я тебе сейчас объясню. Я долго не решалась с тобой об этом заговорить — боялась, что тебе это будет неприятно, но потом вижу, что и другие стали замечать, — нет, думаю, дольше скрывать нельзя. Делают мальчики так оттого, что у тебя скверно пахнет изо рта, — не могу понять, в чем дело, раньше ведь этого не было. Нехорошо! Ты постоянно бываешь в высшем обществе, — нужно с этим покончить».

«Что же это такое? — спросил Никострат. — Нет ли у меня во рту гнилого зуба?»

«Очень может быть, — отвечала Лидия и, подведя Никострата к окну, велела открыть рот. — Ах, Никострат! — осмотрев ему рот и справа и слева, воскликнула она. — Как же это ты так запустил? С той стороны у тебя испорченный зуб, — по-моему, он совсем сгнил, и если ты его не удалишь, то он испортит тебе соседние, — не доводи до этого, выдерни его!»

«Когда так, я согласен, — сказал Никострат, — пусть сей же час пошлют за лекарем — он мне его и выдернет».

А жена ему: «Да зачем тебе лекарь? Зуб шатается — я сама отлично его выдерну, безо всякого лекаря. Да и потом, эти лекари зверски обращаются с больными — у меня сердце разорвалось бы от жалости, если бы я видела или если бы знала, что ты попал в руки к кому-либо из них. Никаких разговоров, — я сама, а если будет больно, сейчас же брошу; лекарь так бы не поступил».

Послав за инструментами, она всех, кроме Луски, выпроводила из комнаты, заперла дверь изнутри, велела Никострату лечь на стол, и, сунув ему в рот щипцы, подцепила один из его зубов; Никострат на крик кричал от боли, но с одной стороны его крепко держали, а потому с другой стороны ценою огромных усилий зуб все же удалось вытащить. Спрятав его, Лидия показала страждущему, полумертвому Никострату

другой, весь как есть сгнивший, который был у нее в руке. «Посмотри, что у тебя столько времени было во рту», — сказала она. Никострат всему поверил; он вынес адскую боль, кричал от нее не своим голосом, но после того как зуб вытащили, почувствовал себя здоровым. Его еще кое-чем подкрепили, боль утихла, и он пошел к себе. А Лидия, нимало не медля, послала зуб своему возлюбленному, — тот, уверившись в ее чувстве, просил ей передать, что теперь он готов исполнить любое ее желание.

А чтобы у Пирра не оставалось и тени сомнений, Лидия, которой каждый час разлуки с милым казался вечностью и которой не терпелось исполнить свое обещание, сказалась больной, и когда однажды, после обеда, Никострат к ней зашел, она, удостоверившись, что вошел он в сопровождении одного лишь Пирра, попросила обоих вывести ее в сад — там-де ей будет легче. Никострат и Пирр в ту же минуту взяли ее на руки, вынесли в сад и положили на лужайке, под сенью чудного грушевого дерева. Посидев здесь немного, Лидия, уже успевшая научить Пирра, как ему надлежит в сих обстоятельствах действовать, сказала: «Пирр! Мне очень хочется груш. Влезь на дерево, брось несколько штук!»

Пирр мигом вскарабкался на дерево. «Эй, мессер, что это вы там делаете? — бросая груши, заговорил он. — А вы, донна Лидия? Как вам не стыдно! Как вы разрешаете это в моем присутствии? Вы думаете, что я слепой? Вы же только что были тяжело больны? Скоро же вам удалось поправиться, раз вы этакое вытворяете. Коли вам невтерпех, то ведь в вашем распоряжении столько прекрасных комнат — почему бы вам не пойти в любую и там этим не заняться? Так будет приличнее, чем при мне!»

«Что это Пирр говорит? — обратясь к мужу, спросила Лидия. — Бредит он, что ли?»

«Нет, не брежу, — отозвался с дерева Пирр. — Неужели вы думаете, что я ничего не вижу?»

«Тебе что-то снится, Пирр», — в крайнем изумлении заметил Никострат.

«Да ничего мне не снится, государь мой, — возразил Пирр, — и вам ничего не снится, — какое там! Если бы это дерево тряслось так же, как трясетесь сейчас вы, то на нем не осталось бы ни единой груши».

«Что с ним такое? — снова заговорила Лидия. — Неужто ему и впрямь что-то кажется? Ах, боже мой, если бы я была здорова, я бы непременно влезла на дерево и поглядела, что за чудеса ему мерещатся».

Пирр, сидя на груше, продолжал молоть вздор. «Слезай!» — крикнул ему Никострат. Пирр слез. «Так что же ты видел?» — спросил его Никострат.

«Вы, уж верно, думаете, что я грежу или брежу, — отвечал Пирр, — но если уж говорить по чистой совести, то я видел вас на вашей жене. Только я спустился на землю — гляжу: ан вы уже слезли и сидите там же, где и сейчас».

«Значит, на тебя тогда н а ш л о , — заключил Никострат. — После того как ты взобрался на грушу, мы оба с места не сдвинулись».

«Да что вы со мной спорите? — воскликнул Пирр. — Я же вас видел — видел, что вы лежите кверху спиной».

Никострат был окончательно сбит с толку. «Дай-ка я посмотрю, не колдовское ли это дерево и подлинно ль тому, кто на нем сидит, мерещатся чудеса», — сказал он и полез на дерево. Стоило ему взгромоздиться на грушу — Лидия с Пирром давай развлекаться. Увидел их Никострат, да как закричит: «Ах ты срамница! Ты что делаешь? И ты, Пирр! А я так тебе верил!» И тут он поспешил слезть с груши.

Жена и Пирр ему: «Да мы сидим!» А потом видят, что он спускается на з е м л ю , — и снова приняли прежнее положение. Никострат слез, удостоверился, что они там же, где и были, и начал их ругать.

А Пирр ему: «Теперь я понимаю, Никострат, что давеча вы были правы: все, что я видел, когда сидел на г р у ш е , — это обман зрения, а вывод я это вот из чего: как видно, и у вас был такой же точно обман зрения. А что я говорю правду — в этом вы можете убедиться, как скоро поразмыслите и раздумаетесь: если бы даже ваша супруга, честнейшая и благоразумнейшая женщина, и решилась запятнать вашу честь, то стала ли бы она заниматься этим у вас на глазах? О себе уж я не говорю, — я скорее позволил бы четверговать себя, чем хотя бы помыслил о таком деле, а не то что заниматься им в вашем присутствии. Таким образом, всему виной грушевое дерево — это оно вызывает обман зрения. В самом деле, весь свет не сумел бы мне доказать, что вы не совокуплялись сейчас с вашей женой, если б я не услышал от вас, что вам показалось, будто и я тем же самым занимался, тогда как я не только не занимался такими вещами, а и в мыслях-то их не держал — кому же это и знать, как не мне?»

Тут Лидия, притворившись разгневанной, встала. «Как тебе не известно! — обратясь к мужу, вскричала о н а . — Значит, я, по-твоему, совсем уже дурочка, коли вздумала, как ты уверяешь, творить блуд у тебя на глазах? Если б мне припала такая охота, я бы расположилась в какой-нибудь комнате, — уж ты мне п о в е р ь , — да так бы хитро и ловко устроила, что если б ты когда-нибудь узнал, я бы ахнула».

Никострат пришел к заключению, что оба говорят п р а в д у , — никогда бы они не дерзнули так при нем поступить; перестав бранить их и корить, он заговорил о небывалом случае — о том, что с дерева все представляется не так, как оно есть на самом деле.

Лидия, однако ж, делала вид, будто она все еще зла на Никострата за то, что он посмел дурно о ней подумать.

«Я постараюсь сделать так, чтобы это дерево больше не срамило ни меня, ни других женщ и н , — сказала о н а . — Сбегай, Пирр, принеси топор и отомсти и за себя и за меня: сруби это дерево. Впрочем, гораздо лучше было бы хватить топором не по дереву, а по твоей голове, Никострат, — за то, что ты не дал себе труда подумать, вследствие чего мысленные твои очи мгновенно ослепли. Пусть даже глазам твоим и почудилось то, о чем ты нам толковал, — суд твоего разуме-

ния ни в коем случае не должен был принимать и признавать это за правду».

Пирр в ту же секунду сбежал за топором и срубил грушевое дерево. Когда оно упало, Лидия объявила Никострату: «Враг моей чести повержен, и я уже не сержусь», — и великодушно простив Никострата, который ее о том умолял, примолвила, чтоб он больше не смел подозревать женщину, которая любит его больше, чем самое себя.

Засим бедный обманутый муж, жена и любовник вошли в дом, и в этом доме Пирр с Лидией и Лидия с Пирром много раз потом, и уже без помех, наслаждались и утешались. Дай бог и нам того же!





*Двое сиенцев влюбляются в куму одного из них;
кум неожиданно умирает;
согласно данному обещанию,
он после смерти является своему приятелю и рассказывает,
как живет на том свете*



се что-нибудь да рассказали, кроме короля. Как скоро дамы, жалевшие грушевое дерево, которое ни за что ни про что срубили, успокоились, король начал следующим образом:

— Всем известно, что справедливый король является самым строгим блюстителем изданных им законов; если же он поступает не так, то это не король, а заслуживающий наказания раб. В такой именно грех — в сущности, поневоле — придется впасть и мне, вашему королю, и такие же точно навлеку я на себя обвинения. В самом деле,

когда я вчера устанавливал закон для нынешнего нашего собеседования, то я не рассчитывал воспользоваться предоставленной мне льготой, — напротив того: я намерен был заодно с вами подчиниться общему для всех закону и повести речь о том же, о чем и вы, однако вы не только рассказали о том, что должно было составить предмет моей повести, вы рассказывали значительно подробнее и гораздо занимательнее, чем это мог бы сделать я, и теперь, сколько ни роюсь я в памяти, а все не могу припомнить и сообразить, какая из мне известных историй выдержала бы сравнение с вашими рассказами. Вот почему я, вынужденный нарушить мною же самим изданный закон и, следовательно, заслуживающий наказания, заранее уведомляю, что готов уплатить пеню в любом размере,

но льготою моею воспользуюсь. Признаюсь, милейшие дамы, рассказ Элиссы про кума и куму и про тупоумие сиенцев произвел на меня столь сильное впечатление, что я решился оставить штуки, которые умные жены вытворяют с глупыми мужьями, и предложить вашему вниманию небольшой рассказ про кума и куму, который вы, уж верно, выслушаете не без приятности, хотя многое в нем неправдоподобно.

Итак, жили-были в Сиене два молодых человека низшего состояния, из коих одного звали Тингоччо Мини, другого — Меуччо ди Тура, а проживали они у ворот Салайя, общались преимущественно друг с другом и, казалось, очень друг друга любили. Как все добрые люди, они часто ходили в церковь и слушали проповеди, а проповедники постоянно внушали молящимся, что души усопших ожидают на том свете слава или мука — в зависимости от их заслуг. Другим хотелось раздобыть достоверные о том сведения, но они не знали, как можно их получить, и потому дали друг другу такое обещание: кто первый умрет, тот постарается прийти к оставшемуся в живых и осведомить его; и на том они поклялись.

Итак, они продолжали постоянно друг с другом общаться, о чем я уже упоминал, а после того как они дали это обещание, Тингоччо покусился с неким Амброджо Ансельмини, проживавшим в Кампо Реджи, — жена этого Ансельмини, монна Мита, только что родила ему сына. После крестин Тингоччо вместе с Меуччо изредка навещал свою куму, прелестную, обворожительную женщину, и невзирая на кумовство влюбился в нее. Меуччо она тоже очень нравилась, а тут еще Тингоччо постоянно ее расхваливал, — кончилось дело тем, что и Меуччо в нее влюбился. Оба скрывали это друг от друга, однако ж основания у каждого были особые: Тингоччо не хотелось сообщать об этом Меуччо потому, что он почитал свою любовь к куме за грех и ему было стыдно кому-либо в этом признаться, а Меуччо держал свою любовь в тайне по другой причине: от него не укрылось, что монна Мита нравится Тингоччо. «Если я ему откроюсь, — рассуждал он сам с собой, — это вызовет в нем чувство ревности, а так как он на правах кума имеет возможность говорить с ней сколько угодно, то настроит ее против меня, и тогда я от нее уже ничего не добьюсь».

Итак, оба молодых человека полюбили монну Миту, но Тингоччо легче было с ней объясниться, и он при помощи слов и действий добился от нее, чего хотел. Меуччо прекрасно понял, что между ними произошло, и хотя это было ему очень больно, все же он не утратил надежды на успех в дальнейшем, а чтобы у Тингоччо не было поводов и оснований вредить ему и мешать, он притворился, что ничего не замечает.

Итак, один приятель оказался удачливее в любви, нежели другой, однако ж Тингоччо, обнаружив во владениях кумы благодарную почву, столь ретиво принялся на ней трудиться и вскапывать ее, что, переусердствовав, опасно заболел и, не перенеся этого недуга, спустя несколько дней ушел от жизни. А на третий день после смерти, — раньше, очевидно,

было нелзя, — он по обещанию явился Меуччо ночью и, хотя тот крепко спал, разбудил его.

«Кто это?» — проснувшись, спросил Меуччо.

«Тингоччо, — отвечал призрак, — я пришел к тебе, как обещал, рассказать про тот свет».

При виде его Меуччо струхнул, но быстро оправился. «Добро пожаловать, друг мой!» — сказал он и тут же задал Тингоччо вопрос, пропащая ли он душа.

Тингоччо же ему на это ответил так:

«Что пропало, того уже не найдешь. Если б я пропал, то как бы я здесь очутился?»

«Да я не прот о, — возразил Меуччо. — Я тебя спрашиваю: осуждена ли душа твоя гореть в адском огне?»

Тингоччо же ему ответил так: «Нет, на это она не осуждена, но за свои грехи я люто страдаю и томлюсь».

Тут Меуччо начал подробно расспрашивать своего приятеля, какое наказание влечет за собой каждый содеянный на этом свете грех, а Тингоччо все ему объяснил. Тогда Меуччо спросил, не может ли он быть ему чем-либо полезен; Тингоччо ответил, что может: пусть, мол, закажет по нем заупокойные обедни, попросит за него молиться, пусть подает милостыню на помин его души — все это, дескать, на том свете очень помогает. Меуччо сказал, что исполнит все это с радостью.

Когда Тингоччо собрался уходить, Меуччо вспомнил про куму и, искоса взглянув на Тингоччо, спросил: «Да, хорошо, что я вспомнил! Послушай, Тингоччо: какое тебе дали наказание за то, что ты на этом свете жил со своей кумой?»

Тингоччо же ему на это ответил так: «Друг мой! Когда я туда попал, оказалось, что некто, находящийся там, знает все мои грехи, как свои пять пальцев, — он повелел мне отправиться в определенное место, и там я, тяжело скорбя, оплакивал мои прегрешения вместе со многими другими, осужденными на ту же муку, что и я. Находясь среди них, я вспомнил, что я проделывал с кумой, и, ожидая за это еще более строгого наказания, задрожал от страха, несмотря на то что весь был объят жарким и неугасимым пламенем. Заметив мое состояние, он спросил: «Тебя палит огонь, а ты дрожишь, — значит, ты совершил более тяжкое преступление, чем все остальные, здесь пребывающие?» — «О друг мой! — воскликнул я. — Я страшусь наказания за совершенный мною великий грех». Тогда тот спросил меня, какой же это грех. «А вот какой, — отвечал я, — я баловался со своей кумой, и до того добаловался, что в конце концов доконал себя». Тот расхохотался. «Ах ты дурачина! — сказал он. — Чего ты боишься? Кумы в счет здесь не идут». И тогда я успокоился». Но тут уже начало светать, и Тингоччо сказал: «Ну, Меуччо, оставайся с богом, мне пора». С этими словами он вдруг исчез.

Узнав, что кумы в счет не идут, Меуччо посмеялся над собственной глупостью, — скольких кумушек он не тронул только потому, что был

глуп! Мрак его невежества рассеялся, и впредь он стал умнее. Если бы брат Ринальдо знал о том, что кумы в счет не идут, ему не пришлось бы тратить столько красноречия, когда он соблазнял добрую свою куму.

Солнце уже склонялось к закату и повевал зефир, когда король, окончив свою повесть и приняв в соображение, что рассказывать больше некому, снял с головы венки и, возложив его на Лауретту, сказал:

— Милостивая государыня! В соответствии с вашим именем я венчаю вас лаврами; отныне вы — наша королева, распоряжайтесь же на правах властительницы, как вам заблагорассудится, — лишь бы нам было весело и приятно.

Сказавши это, он сел на свое место.

Тотчас после коронации Лауретта послала за дворецким и велела накрыть столы в уютной долине ранее обыкновенного, чтобы можно было не спешить возвращаться во дворец, а потом объяснила, каков должен быть распорядок во все продолжение ее царствования. Потом Лауретта обратилась к обществу с такою речью:

— Вчера Дионео изъявил желание, чтобы мы рассказывали о том, какие штуки вытворяют жены с мужьями. Если б я не боялась, что меня примут за кусачую собачонку, я бы отдала распоряжение, чтобы завтра рассказывали о том, какие штуки вытворяют с женщинами мужчины. Но это мы пока оставим, — я хочу, чтобы к завтрашнему дню у всех были готовы рассказы *О том, какие штуки ежедневно вытворяют женщина с мужчиной, мужчина с женщиной и мужчина с женщиной*, и сдается мне, что забавных о том рассказов будет не меньше, чем нынче.

С этими словами Лауретта встала и всех отпустила до ужина.

Дамы и мужчины тоже встали; кто разулся и пошел босиком по прозрачной воде ручейков, кто пошел погулять по зеленому лугу, окаймленному красивыми и стройными деревьями. Дионео и Фьямметта долго пели вдвоем об Арчите и Палемоне. Так, в многообразных удовольствиях, необычайно приятно прошло у них время до ужина. Затем все сели за стол недалеко от озера и под пение множества птиц, овеваемые легким ветерком, дувшим с окрестных гор, и совсем не тревожимые мошкаррой, весело и спокойно отужинали. Затем немножко погуляли по уютной долине и еще до захода солнца по велению королевы медленным шагом направились к своему жилищу. Шутя и болтая о самых разных вещах, как относящихся к выслушанным в этот день рассказам, так и не относящихся, они подошли к роскошному своему дворцу, когда уже стемнело. Хотя путь был недолог, однако ж все притомились, но холодные вина и сласти сделали свое дело: усталость скоро прошла, и все затанцевали вокруг прелестного фонтана — сначала под звуки Тиндаровой волынки, а потом под другую музыку. Наконец королева велела Филомене спеть песню, и Филомена начала так:

Как жизнь моя грустна!
Ах, неужели не вернусь я снова
Туда, где чашу нег пила до дна?

Напрасно бедный мой рассудок тщится
Ответить мне на это —
Кто слишком сильно ослеплен мечтой,
Тот правде посмотреть в лицо страшится;
У ближних я совета
Просить стыжусь; но ты, властитель мой,
Не будь жесток со мной
И молви утешительное слово
Той, чья душа разлукой смятена.

Нет, невозможно звуками земными
Поведать с должной силой
И так, чтоб понял ты меня вполне,
Насколько всеми чувствами своими
К тебе влекусь я, милый.
В столь жарком и безжалостном огне
Сгораю я, что мне
Вдали от друга моего бывшего
Смерть кажется ни капли не страшна.

Скажи, когда ж в приюте нашем старом
Взглянуть смогу опять я
В глаза тому, чей взор мой пыл зажег,
Когда же ты придешь, чтоб с прежним жаром
Упасть в мои объятия;
И если скажешь, что недолог срок,
То больше — видит бог! —
Не надо мне лекарства никакого
От раны, что тобой нанесена.

Коль мне судьба отдаст тебя обратно,
Ты не уйдешь вторично —
Научена я горем быть умней.
О, как я жажду вновь тысячекратно,
С любовью безграничной
Лобзать тебя, припав к груди твоей!
Явись же поскорей
И верь: запеть ликующе готова
Я от признанья, что тебе нужна.

Эта песня всех навела на мысль, что какая-то новая и на сей раз счастливая любовь завладела сердцем Филомены, а так как из ее слов можно было заключить, что она не ограничилась лицемерием своего предмета, то все пришли к заключению, что на ее долю выпала редкостная удача, а иные позавидовали ей. Но тут королева вспомнила, что завтра пятница, и потому обратилась ко всем с учтивою речью:

— Вам, знатные дамы, и вам, молодые люди, известно, что завтра мы вспоминаем страдания господина нашего, а вы, уж верно, не забыли, что когда королевой была Нейфила, то мы этот день провели, как подобает благочестивым людям, и отменили игривые рассказы, и подобным образом поступили мы и в субботу. Так вот, я желаю следовать благому примеру, который подала нам Нейфила, а посему, памятуя о том, что было совершено в эти дни ради нашего спасения, почитаю приличным завтра и послезавтра воздержаться от наших прелестных рассказов, как это мы сделали прошлый раз.

Благочестивая мысль королевы всем пришлась по душе. Отпустила она общество, когда уже минула большая часть ночи, и все пошли спать.



Контится седьмой день
ДЕКАМЕРОНА,
начинается восьмой



*В день правления Лауретты
предлагаются вниманию рассказы о том,
какие штуки ежедневно вытворяют
женщина с мужчиной, мужчина с женщиной
и мужчина с мужчиной*









оскресным утром лучи восходящего солнца уже озарили гребни самых высоких гор, уже исчезли ночные тени и все предметы стали явственно различимы, когда королева и ее подданные встали и, погуляв по росистой траве, в половине восьмого пошли в ближнюю церковку, дабы присутствовать при богослужении. Вернувшись, сели обедать, и обед прошел весело и оживленно, затем поехали, потанцевали, а потом королева разрешила желающим пойти отдохнуть. После полудня все по велению королевы собрались у прелестного фонтана на предмет обычного собеседования, и, исполняя волю государыни, Нейфила начала так.





1

*Вольфард берет у Гаспарруоло взаймы денег,
предварительно уговорившись с его женой,
что как раз за такую сумму он проведет с нею время;
он вручает ей эти деньги, потом говорит в ее присутствии мужу,
что вернул их жене, а жена это подтверждает*



сли уж так угодно богу, чтобы я первая начала сегодня рассказывать, то быть посему. О штуках, которые женщины вытворяют с мужчинами, мы говорили много, я же хочу рассказать вам, любезные дамы, о штуке, которую вытворил мужчина с женщиной, причем я не собираюсь его за это осуждать и вовсе не хочу сказать, что женщина этого не заслужила, — как раз наоборот: моя цель — одобрить мужчину, осудить женщину и доказать, что и мужчины умеют вытворять штуки с теми, кто им доверяется, ничуть не хуже, чем с ними самими вытворяют штуки те, кому доверяются они. Собственно говоря, то, о чем я собираюсь рассказать, следовало бы назвать не штукой, но заслуженным возмездием, ибо женщине надлежит быть особенно целомудренной, беречь свою честь, как жизнь, и пресекать малейшие на нее посягновения. Но мы, женщины, народ слабый, блюсти себя так, как это от нас требуется, мы не можем; со всем тем я утверждаю, что женщина, которая дает себя увлечь ради денег, заслуживает сожжения на костре, а та женщина, которую вводит в грех любовь, коей всемогущество нам хорошо известно, в глазах не слишком строгого судьи заслуживает снисхождения, как то несколько дней назад нам доказал Филострато на примере донны Филиппы из Прато.

Итак, жил некогда в Милане немец, наемный солдат по имени Вольфард, человек храбрый, в отличие от большинства немцев верой и правдой служивший тем, кто его нанимал. А так как Вольфард честней-

шим образом расплачивался с долгами, то любой купец давал ему займы охотно и под небольшой процент. В Милане Вольфард полюбил красивую женщину, которую звали Амброджа, жену своего друга-приятеля, богатого купца по имени Гаспарруоло Кагастраччо. Проявлял он свои чувства к ней весьма осторожно, так что никто, в том числе муж, ни о чем не догадывался; наконец однажды он послал ей сказать, что умоляет ее ответить на его любовь, он же, мол, со своей стороны, готов исполнить все, чего она ни потребует. Долго они переливали из пустого в порожнее, наконец Амброджа дала ему знать, что исполнит то, чего от нее добивается Вольфард, если он выполнит следующие два условия: во-первых, он должен хранить это в строжайшей тайне; во-вторых, ей нужно для одной цели двести флоринов золотом, а он человек богатый, — дал бы он ей двести флоринов, за это она, мол, всегда потом будет к его услугам. До сих пор Вольфард считал ее женщиной порядочной, но тут он увидел, до чего она корыстолюбива, какая у нее низкая душонка, пламенная его страсть превратилась почти что в ненависть, и он, задумав шутить с ней шутку, велел передать ей, что ради нее готов на все, что только в его силах, — пусть, мол, скажет, когда ему можно прийти, и он вручит нужную ей сумму, и никто-де про то не узнает, за исключением одного приятеля, которому он всецело доверяет и которого он во все свои дела посвящает. Дама, а лучше сказать — дрянная бабенка, обрадовалась и велела передать Вольфарду, что ее муж Гаспарруоло спустя несколько дней уедет по делам в Геную — тогда, мол, она его уведомит и пошлет за ним.

Выбрав подходящее время, Вольфард пошел к Гаспарруоло и сказал ему: «Мне для одного дела нужно двести флоринов золотом. Дай мне займы под обычный процент». Гаспарруоло охотно согласился и тут же отсчитал ему всю сумму.

Спустя несколько дней, как и говорила Амброджа, Гаспарруоло выехал в Геную, о чем она не замедлила сообщить Вольфарду; кроме того, она просила передать ему приглашение и просьбу принести двести флоринов. Вольфард взял с собой своего приятеля, пошел к поджидавшей его Амбродже и первым делом вручил ей в присутствии своего приятеля двести флоринов. «Вот вам деньги, сударыня, — сказал он. — Когда ваш супруг вернется, отдайте их ему».

Амброджа взяла деньги; она только не поняла, почему Вольфард так сказал; это он для того, решила она, чтобы приятель не подумал, что он ей платит. «Хорошо, передам, — сказала она, — я только пойду пересчитаю». Высыпав деньги на стол и, к великой своей радости, удостоверившись, что тут двести флоринов, она их спрятала. Затем вернулась к Вольфарду и провела его к себе в комнату. И не только в тот раз, но потом еще много раз — вплоть до возвращения мужа из Генуи — она своим телом расплачивалась с Вольфардом.

Как скоро Гаспарруоло возвратился из Генуи, Вольфард, выбрав такое время, когда и он и жена были дома, побежал к нему и в присутствии жены сказал: «Знаешь, Гаспарруоло, двести флоринов, коими ты меня ссудил, мне не понадобились — то дело, ради которого я их у тебя

брал, у меня не выгорело. Я их сейчас же отдал твоей жене. По сему случаю уничтожь мое долговое обязательство».

Гаспарруоло спросил жену, получила ли она деньги. Жена, вспомнив, что получила она их при свидетеле, решила, что отрицать бесполезно. «Да, да, как же, получила, — подтвердила она, — я только забыла тебе об этом сказать».

«Все в порядке, Вольфард, — молвил Гаспарруоло. — Ступай себе с богом — долг за тобою не числится».

Когда Вольфард ушел, одураченная Амброджа вернула мужу постыдное вознаграждение за свою низость. Так хитроумный любовник бесплатно попользовался алчною своею возлюбленной.





*Варлунгский священник проводит время с монной Бельколоре;
в залог он оставляет ей свою накидку;
немного погоды он просит у нее ступку,
потом возвращает и просит вернуть накидку, которую он оставил ей в заклад;
почтенная женщина хоть и с бранью, но заклад возвращает*



мужчины и дамы одобрили Вольфарда за его проделку с алчной миланкой, а затем королева, с улыбкой обратясь к Панфило, сказала, что теперь его черед, и Панфило начал так:

— Приятные дамы! Я намерен предложить вашему вниманию небольшой рассказ, изобличающий тех, что на каждом шагу оскорбляют нас, зная заведомо, что мы не можем им отплатить; изобличающий тех духовных особ, которые воздвигли крестовый поход на наших же н, — ведь когда кому-нибудь из них удастся овладеть замужней женщиной, он воображает, что ему за это будут отпущены грехи и божья кара его минует, как будто он самого султана доставил связанным из Александрии в Авиньон; между тем у бедных мирян нет возможности отплатить им той же монетой, — так они вымещают обиду на матерях, сестрах, приятельницах, дочерях обидчиков и берут их приступом, подобно как обидчики берут их жен. Так вот, я и хочу вам рассказать деревенскую любовную историю, не длинную, но зато с уморительным концом, — из нее вам, помимо всего прочего, будет ясно, что священникам нельзя доверять всегда и во всем.

Итак, надобно вам сказать, что в селе Варлунго, которое, как вы знаете или хотя бы могли слышать, находится недалеко отсюда, жил священник, неутомимый по части ублаговления женщин крепыш, не бог весть какой грамотей, однако ж имевший обыкновение по воскресеньям, сидя под ольхою, поучать пасомых и обильно уснащать свою речь благочестивыми и душеполезными изреченьицами, что не мешало ему, когда те отлучались, навещать их жен чаще, чем кто-либо из его

предшественников, под каким-либо благовидным предлогом: одной принести образок, другой — огарочек, третьей — святой водички, четвертую благословить. Более других прихожанок пришла к нему по сердцу некая монна Бельколоре, жена хлебопашца Бентивенья дель Маццо, прехорошенькая, смуглая крестьяночка, свежая, в теле, как нельзя лучше приспособленная для накачивания. Кроме того, она лучше всех играла на цимбалах, пела *Вода стекает в овраг* и с красивым, дорогим платком в руке танцевала ридду и баллонкио. Священник прямо с ума по ней сходил и все старался попасть к ней на глаза. Воскресным утром, если ему было известно, что она в церкви, он, когда произносил *Kyrie*¹ или же *Sanctus*², выказывал столь совершенное певческое искусство, что можно было подумать, будто это верещит осел; если же он ее не видел, то из кожи вон не лез. При этом он действовал так, что и Бентивенья дель Маццо, и все прочие поселяне ничего не замечали. Для того чтобы задобрить монну Бельколоре, священник время от времени чем-либо ее одарял: то пошлет из своего огорода, который он возделывал собственноручно, связку свежего чесночку, — а лучше его чеснока не было во всем селе, — то корзинку фасоли, а иной раз пучок зеленого лука или же шарлота. При встречах он, если никто их не видел, запускал глазену или же любя щунял ее, а монна Бельколоре дичилась его и, делая вид, будто ничего не замечает, чинно проходила мимо, священник же оставался ни при чем.

Но вот однажды, когда его преподобие в полуденный час слонялся по селу, ему встретился Бентивенья дель Маццо, погонявший осла, навьюченного всякой всячиной; священник с ним поздоровался и спросил, куда он путь держит.

Бентивенья же ему на это ответил так: «Откровенно говоря, ваше преподобие, я направляюсь по своей надобности в город и вот это все везу мессеру Бонакорри да Джинестрето, чтобы он мне помогнул в одном деле, — из-за этого дела меня в срочном беспорядке вызывает через своего письмородителя судья по уловным делам».

Священник обрадовался. «Добро, сын мой, да будет с тобой мое благословение! — сказал он. — Возвращайся скорее, а если увидишь Лапуччо или же Нальдино, то не забудь сказать им, чтобы они принесли мне ремней для цепов».

Бентивенья обещал и пошел себе во Флоренцию, а священник подумал, что теперь самое время зайти к Бельколоре и попытать счастья. Духом домчался он до ее дома и, войдя, сказал: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас! Есть кто дома?»

Бельколоре была в это время на чердаке. «Ах, это вы, отец мой! — услышав его голос, сказала она. — Милости просим. Что это вы шатаетесь по такой жарнице?»

«Да нет, что ты, бог с тобой! — отвечал священник. — Это я только к тебе зашел ненадолго: твой-то ведь в город собрался — я его встретил».

¹ Господи, помилуй (лат.).

² Да святится... (лат.).

Бельколоре слезла с чердака, села и принялась перебирать капустные семена, которые ее муж недавно насобирал. «Ну так как же, Бельколоре, — снова заговорил священник, — ты и дальше будешь меня мучить?»

«А что я вам делаю?» — усмехнувшись, спросила Бельколоре.

«Ты и сама ничего не делаешь, и мне не даешь сделать то, чего мне хочется и что сам бог велел делать», — отвечал священник.

«Ну-ну, перестаньте, перестаньте! — сказала Бельколоре. — Разве священники такие вещи делают?»

«Еще как делаем — получше других мужчин, — отвечал священник, — а почему бы нет? Я тебе больше скажу: мы лучше накачиваем. А знаешь почему? Потому что в наших насосах полно воды. Так вот, если ты не будешь противиться и предоставишь мне полную свободу действий, то тебе от этого будет только польза».

«Какая же мне от этого будет польза, если все вы скупее черта?» — спросила Бельколоре.

А священник ей: «Это уж я там не знаю, проси, чего тебе хочется: башмачки, ленту, доброго шелку поясок — что хочешь, того и проси».

«Эка невидаль! У меня все это есть, — заметила Бельколоре. — А вот если вы меня взаправду любите, окажите мне одну услугу — тогда я исполню ваше желание».

«А что за услуга? Для тебя я на все готов», — объявил священник.

Тут Бельколоре возьми да и скажи: «Мне, говорит, нужно в субботу сходить во Флоренцию — сдать шерсть, которую я выпряла, и отдать починить мою прялку. И вот, если вы мне дадите займы пять л и р, — а у вас пять-то л и р, уж верно, найдутся, — я выкуплю у ростовщика мое темно-красное платье и пояс, который я принесла в приданое мужу и который я ношу по праздникам, а то мне и в церковь, и в приличный дом стыдно показаться. А уж я тогда для вас расстараясь».

«Видит бог, при мне таких денег нет, — сказал священник, — но ты можешь быть спокойна: до субботы они у тебя будут — я с величайшим удовольствием для тебя это сделаю».

«Да, жди! — молвила Бельколоре. — Обещать-то вы все мастаки, а слова своего не держите. Вы, верно уж, хотите обойтись со мной, как с Бильюццей, которая осталась на бобах? Со мной вам это не удастся, клянусь богом, — из-за этого она потом и стала гулящей бабенкой. Коли нет при вас денег — сходите и принесите».

«Нет, ты уж меня теперь не гони со двора, благо случай вышел такой, что ты одна дома, — взмолился священник, — ведь у меня дело зря стоит, а пока я за деньгами пробегаю — глядишь, кто-нибудь да явится и помешает. Когда-то еще мне выпадет такая удача!»

А она ему на это: «Воля ваша, говорит. Коль хотите, так идите; коли нет, тогда терпите».

Священник, видя, что она согласна доставить ему удовольствие только при условии: *salvum me fac*¹, меж тем как ему хотелось добиться

¹ С гарантией (лат.).

от нее этого *sine custodia*¹, сказал: «Ну, раз ты мне не веришь, что я принесу деньги, я оставляю в залог свою синюю накидку».

Бельколоре подняла на него глаза. «Вот эту накидку? — спросила она. — Сколько же она стоит?»

«Сколько стоит? — воскликнул священник. — К твоему сведению, она из дуэйского сукна, плотного-расплотного, нет, пожалуй, — двуплотного или триплотного, а местные жители даже уверяют, что четырехплотного. Недели две тому назад я отдал за нее ветошнику Лотто целых семь лир, да еще выгадал пять сольдо, как мне сказал Бульетто д'Альберто, а он, сколько тебе известно, в синих сукнах толк понимает».

«Ах, вот оно что! — воскликнула Бельколоре. — Истинный господь, никогда бы не подумала. Ну ладно, только дайте мне ее сейчас».

Тетива у его преподобия была туго натянута; он мигом снял накидку и отдал Бельколоре. «Пойдемте, отец мой, вон в ту лачужку, — прибрав накидку, сказала Бельколоре, — туда никто никогда не заходит».

Что сказано, то и сделано. Здесь священник долго развлекался с Бельколоре: всласть нацеловался, породнил ее с самим богом, а от нее, в одной сутане, без накидки, как полагается духовным лицам ходить лишь в особо торжественных случаях, направил стопы свои в церковь.

Тут его преподобие, подсчитав, что, сколько огарков ни удалось бы ему собрать за целый год, все равно это не составило бы и двух с половиной лир, решил, что дал маху; пожалев накидку, он стал думать, как бы это выцарапать ее, не заплатив ни гроша. Человек он был продувной, а потому живо смекнул, как получить обратно накидку, и обделал это дело в наилучшем виде. На другой же день, — то был день праздничный, — он послал соседского мальчика к монне Бельколоре попросить у нее каменную ступку, а то, мол, у него сегодня обедают Бингуччо дель Поджо и Нуто Бульетти, и ему хочется сделать подливку. Бельколоре дала мальчику ступку. Подгадав к тому времени, когда Бентивенья дель Маццо и Бельколоре обыкновенно обедали, священник позвал служку и сказал: «Отнеси эту ступку Бельколоре и скажи: священник, дескать, очень благодарит и просит прислать накидку, которую мальчик оставил вам в залог». Служка пошел со ступкой к Бельколоре, — она и Бентивенья сидели в это время за столом и обедали. Служка поставил ступку и передал просьбу священника.

Бельколоре, услышав, что у нее вытребывают накидку, хотела было возразить, но Бентивенья с сердитым видом прервал ее: «Ты берешь у отца в залог вещи? — вскричал он. — Так бы и дал тебе по зубам, ей-ей! Сейчас же верни накидку, паралич тебя расшиби! Да вперед смотри: чего бы отец ни попросил, хоть бы осла, — отказа ему ни в чем быть не должно».

Бельколоре с ворчаньем подошла к сундуку, достала накидку и отдала служке. «Передай от меня отцу, — сказала она, — Бельколоре, мол, клянется-божится, что вы никогда больше не будете тереть у нее в ступке, раз вы так хорошо отблагодарили ее за эту».

¹ Без гарантии и залога (*лат.*).



Служка отнес накидку священнику и передал ему слова Бельколоре. Священник засмеялся и сказал: «Когда ты увидишь Бельколоре, скажи ей: если, мол, она не даст мне ступки, то я не дам ей пестика, — как аукнется, так и откликнется».

Бентивенья решил, что Бельколоре сказала так в сердцах, — оттого, что он ее обругал, — и пропустил ее слова мимо ушей, а Бельколоре, лишившись рога, рассорилась со священником и не разговаривала с ним до самого сбора винограда, но во время сбора священник пригрозил, что отправит ее в пасть старшего черта, и тогда Бельколоре перепугалась насмерть, он же угостил ее молодым вином и горячими каштанами, и потом они еще много раз угощались. А в уплату пяти лир священник велел обтянуть новой кожей ее цимбалы и привесить к ним колокольчик, так что в конце концов она осталась довольна.





*Каландрино, Бруно и Буффальмакко ищут на берегу Муньоне гелиотропий;
Каландрино воображает, что нашел его, и, набрав камней, возвращается домой;
жена накидывается на него с бранью;
взбешенный Каландрино колотит ее, а затем рассказывает своим приятелям о том,
что они знают лучше его*



Как скоро Панфило окончил свой рассказ (дамы над ним уж так смеялись, так смеялись — до сих пор еще смеются), королева объявила Элиссе, что теперь ее очередь, и она, еще не отсмеявшись, начала так:

— Я не ручаюсь, очаровательные дамы, что мне удастся моим рассказцем, столь же правдивым, сколь и занятным, насмешить вас так, как насмешил Панфило, однако ж я постараюсь.

В нашем городе много было всяких обычаев, много было всяких чудаков, и еще не так давно проживал там живописец по имени Каландрино, недалежного ума и со странностями, большую часть своего времени проводивший с двумя другими живописцами, из коих одного звали Бруно, а другого — Буффальмакко, изрядными забавниками, впрочем, людьми толковыми и здравомыслящими, водившими дружбу с Каландрино потому, что он своими выходками, равно как и своею придурью, беспрестанно морил их со смеху. Тогда же проживал во Флоренции молодой человек по имени Мазо дель Саджо, гораздый на всевозможные шутки, провор, себе на уме, и вот он-то, прознав о приглуповатости Каландрино, вздумал для ради развлечения подшутить над ним или же обморочить его. Однажды Мазо встретил Каландрино в церкви Сан Джованни, — тот рассматривал изображения и резьбу на надпрестольной сени, которую в этой церкви незадолго перед тем поставили; решив, что это самый удобный случай для осуществления такого замысла, Мазо рассказал о своей затее товарищу, после чего оба, приблизившись к тому месту, где Каландрино сидел в одиночестве, и притворясь, что не видят его, завели разговор о чу-

десных свойствах драгоценных камней, причем Мазо рассуждал о них тоном, не допускающим возражений, так что можно было подумать, будто он великий знаток в этой области. Каландрино прислушался, а затем, убедаясь, что секретов у них нет, некоторое время спустя встал, подошел к ним, чем весьма обрадовал продолжавшего разговор Мазо, и спросил, где такие чудные камни встречаются. Мазо ему ответил, что встречаются они у басков, на берегу реки Молочной, во Враккии, — там-де виноградные лозы подвязывают сосисками, там на грош дают целого гуся, да еще и гусенка в придачу, там есть гора из тертого сыру и живут на ней люди, которые занимаются лишь тем, что готовят макароны и равиоли, варят их в каплуном соку и бросают вниз — кто больше поймает, тому больше достается, — и тут же, неподалеку, бьет источник верначчи — такого вкусного вина на всем свете, дескать, не сыщешь, и воды в нем ни капли нет.

«Ах, какой благодатный край! — воскликнул Каландрино. — А скажи на милость, куда же идут каплуны?»

«Всех съедают баски», — отвечал Мазо.

«А ты там бывал?» — осведомился Каландрино.

«Бывал ли я там? — переспросил Мазо. — Тысячу раз, если от нее отнять тысячу».

«А это далеко?» — спросил Каландрино.

«Столько, да полстолька, да четверть столько, — вот сколько!» — отвечал Мазо.

«Стало быть, дальше, чем Абруццы», — заключил Каландрино.

«Далеко — отсюда не видать», — подтвердил Мазо.

Видя, что Мазо отвечает на все вопросы с невозмутимым видом, без тени улыбки, простак Каландрино принял рассказы Мазо на веру — так, как если бы то была чистейшая правда. «Это для меня далеко, — заметил он. — Кабы поближе, я бы непременно там с тобой хоть разок да побывал, поглядел бы, как бросают с горы макароны, и наелся бы до отвала. Будь добр, скажи мне на милость: а что, в наших краях есть такие дивные камни?»

Мазо ему на это ответил так: «Да, у нас встречаются два камня, обладающих чудодейственной силой. Один — это гранит сеттиньянский и монтишский: если из того и из другого гранита сделать жернова, то посыплется мука, — вот почему в тех краях говорят, что от бога — милости, а из Монтиши — жернова, но у нас жерновов этих столько, что мы их не ценим, подобно как местные жители не ценят изумрудов, потому что у них целые изумрудные горы, выше Морелло, и так они по ночам светятся — никаким пером не опишешь. Ну и вот, прежде чем буравить уже готовые, отменные жернова, рекомендуется надеть на них обручи, и если ты в эдаком виде принесешь их султану, то он тебя в благодарность всем, чем хочешь, оделит. Другой камень мы, знатоки, именуем гелиотропием, — он обладает огромной силой: пока он на человеке, до тех пор человек бывает невидим всюду, где только этого человека нет».

«Вот так камни! — воскликнул Каландрино. — Ну, а этот камень где встречается?»

Мазо ему ответил, что встречается он по берегам Муньоне.

«А какой величины этот камень? — спросил Каландрино. — И какого цвета?»

«Разной величины, — отвечал М а з о, — один побольше, другой поменьше, но все почти что черные».

Запомнив все это, Каландрино, под предлогом, что у него есть дела, простился с Мазо и тут же вознамерился сыскать этот камень, предварительно поставив о том в известность Бруно и Буффальмакко, которые пользовались особым его расположением. Решившись искать этот камень незамедлительно, дабы опередить всех остальных, он пошел искать их и проискал все утро. Наконец, уже в третьем часу, Каландрино вспомнил, что его приятели работают в женском фаянтинском монастыре, и, бросив все свои дела, несмотря на страшную жару, кинулся туда, подозвал их и сказал: «Друзья! Если только вы мне поверите, мы станем первейшими богачами во всей Флоренции. Один надежный человек сказывал мне, что по берегам Муньоне встречается такой камень: пока он на человеке, никто этого человека не увидит. Так вот, хорошо бы нам опередить всех остальных и пойти поискать камень. Найдем мы его наверняка — его приметы мне известны, а как найдем, так положим в карман — и скорей к менялам, а на столах у менял, сколько вам известно, всегда полно серебра и золота — бери целыми пригоршнями. Все это мы проделаем незаметно. Мы внезапно разбогатеем, и тогда нам уже не нужно будет целыми днями малевать».

Выслушав Каландрино, Бруно и Буффальмакко про себя усмехнулись и, удивленно переглянувшись, изъявили ему свое согласие; Буффальмакко, однако ж, спросил, как называется камень. У Каландрино котелок варил плохо, и название камня уже успело выскочить у него из головы. «А не все ли нам равно, как он называется, раз мы знаем его свойства? — возразил о н . — По мне, мешкать нечего — пойдем искать».

«Д о б р о, — молвил Б р у н о, — а как же он выглядит?»

«По-разному, — отвечал Каландрино, — но все камешки почти что черные. Давайте собирать подряд все черные камни, пока не нападём на тот. Не будем терять в р е м я, — пошли!»

«Нет, п о г о д и, — возразил Бруно и, обратясь к Буффальмакко, сказал: — По-моему, Каландрино говорит дело, но только идти сейчас не время: солнце стоит высоко, светит прямо на Муньоне, и оно высушило все камни, так что некоторые кажутся теперь белыми, а утром, пока солнце еще не успеет их высушить, они кажутся черными. Да и потом, нынче на Муньоне много народу собралось по разным д е л а м, — нынче ведь все работают, — увидят нас и сразу догадаются, что мы делаем, чего доброго, последуют нашему примеру, завладеют камнем, — и мы останемся с носом. Мне думается, вы не станете возражать, что это нужно делать у т р о м, — утром легче отличить черное от белого, — и притом в праздничный день, когда никто нас там не увидит». Буффальмакко присоединился к мнению Бруно, Каландрино согласился с Буффальмакко, и они порешили втроем пойти искать камень в воскресенье утром, Каландрино же обратился к ним с покорнейшей просьбой не про-

болтаться, — ведь ему тоже, дескать, сообщили о том по секрету. Рассказав про камень, Каландрино не умолчал и про Молочную реку и клятвенно уверял, что все это истинная правда. Как скоро Каландрино ушел, Бруно и Буффальмакко уговорились между собой, как им в сих обстоятельствах надлежит действовать.

Каландрино с нетерпением ожидал воскресного утра; когда же это утро настало, он поднялся на зорьке, позвал приятелей, и все трое, выйдя из ворот Сан Галло и спустившись к Муньоне, в поисках камня двинулись вниз по течению. Каландрино, как наиболее ревностный искатель, шел впереди и делал быстрые перебежки: увидит черный камень, нагнется, цоп — и скорей за пазуху. Приятели шли сзади и собирали камни без особого рвения; зато Каландрино малое время спустя набил полную пазуху; по сему случаю он поднял полы своей одежды, сшитой иначе, нежели ее шьют в Геннегау, и с крайним тщанием и спереди и сзади заткнул их края за ремень, — так у него получился широкий мешок, каковой он тоже вскорости насыпал доверху, и тогда ему пришлось сделать мешок из плаща, каковой он тоже насыпал доверху. Видя, что Каландрино переобременен, а между тем пора было обедать, Бруно, как было у него с Буффальмакко уговорено, спросил: «А где же Каландрино?»

Каландрино находился в двух шагах от Буффальмакко, но тот, оглядевшись по сторонам, ответил: «Не знаю. Только что был впереди».

«Был, да весь вышел, — заметил Бруно. — Готов об заклад побиться, что он давно дома сидит — обедает, а нас в дураках оставил: дескать, пусть себе собирают черные камни на берегу Муньоне».

«Ловко он нас надул, — сказал Буффальмакко, — а мы, дураки, ему поверили! Нет, правда, ну где еще сыщешь таких оболдуев, которые поверили бы, что на берегах Муньоне встречается чудодейственный камень?»

Слышавший их разговор Каландрино вообразил, что нашел камень и потому-то они его и не видят. В восторге от такой удачи, он вознамерился, ничего не сказав приятелям, идти домой и в сих мыслях повернул обратно.

Тогда Буффальмакко сказал Бруно: «А мы как же? Почему бы и нам не вернуться?»

«Пойдем, — сказал Бруно, — но уж Каландрино теперь меня не проведет, клянусь богом! Когда я увижу его на столь близком расстоянии, как нынче утром, я его так стукну камнем по пятке, что он долго будет помнить мою милую шутку». С этими словами он размахнулся и угодил Каландрино камнем в пятку. Каландрино задрал от боли ногу, зашипел, однако ничего не сказал и пошел дальше.

Но тут Буффальмакко схватил один из собранных им камней.

«Погляди, какой славный камешек! Вот бы запустить его Каландрино в спину!» — воскликнул он и, изо всех сил швырнув камень, попал в цель. Так, на разные лады потешаясь над Каландрино, они потчевали его камнями всю дорогу, до самых ворот Сан Галло. Тут они побросали собранные камни и предупредили стражников — те, хохоча до упаду, притворились, будто не видят Каландрино, и пропустили его. Каландрино

же дошел, не останавливаясь, до самого своего дома, находившегося близ Канто алла Мачина, и так благоприятствовала этой шутке судьба, что, пока он шел берегом, а затем по городу, никто с ним не заговорил; впрочем, и встречных-то попадалось немного, потому что время было обеденное.

Наконец он со всею своею ношей ввалился к себе в дом. Жена его, монна Тесса, женщина красивая и порядочная, стояла на верхней ступеньке лестницы. Возмущенная длительным отсутствием супруга, она, как скоро увидела его, начала браниться: «А, мой милый! — заговорила монна Тесса. — Наконец-то тебя черт несет! Добрые люди уж пообедали, а ты только еще идешь обедать!»

Поняв, что он видим, Каландрино огорчился и разгневался. «Ах ты сквернавка! — крикнул о н . — Ты чего здесь торчишь? Ты меня погубила, но я с тобой разделаюсь, вот как бог свят!» Тут он вошел в каморку, высыпал на пол уйму камней, а затем налетел на жену, схватил ее за косы, повалил — и давай пинать ее и тузить по чему ни попало, пока у самого руки и ноги не заболели, — словом, сколько она, скрестив на груди руки, ни молила его о пощаде, он живого места на ней не оставил, дал ей и таску и встряску.

А Буффальмакко и Бруно, посмеявшись со стражниками у городских ворот, не спеша двинулись следом за Каландрино. Подойдя к его дому, они постояли, послушали, наконец поняли, что он задает жене здоровую трепку, и, сделав вид, будто только сейчас явились, покричали ему. Каландрино, побагровевший, взмыленный и озверевший, приблизился к окну и попросил друзей подняться. Они как бы в сердцах поднялись и увидели такую картину: пол комнаты усыпан камнями, в одном углу горько плачет растрепанная, растерзанная жена Каландрино, и лицо у нее все в синяках, а в другом углу отдувается распоясанный Каландрино.

Поглядели, поглядели Бруно и Буффальмакко, да и говорят: «Это что ж такое, Каландрино? Строишься ты, что ли? Зачем тебе столько камней? А что это с монной Тессой? — продолжали о н и . — Видать, ты ее побил. Это еще что за новости?» Каландрино, изнемогший под тяжестью камней, после лихой взбучки, какую он задал жене, и от горькой мысли, что счастье ему изменило, был неспособен на членораздельный ответ. Выждав некоторое время, Буффальмакко снова обратился к нему: «Если ты рассердился на жену, Каландрино, то мы тут ни при чем: чего же над нами-то было издеваться? Ты потащил нас искать драгоценный камень, а сам взял и удрал, и остались мы, два дурака, на берегу р е к и , — мы на тебя очень обижены, и в другой раз ты нам очки не вотрешь!»

Тут Каландрино сделал над собой усилие и сказал: «Не сердитесь, друзья! Дело обстоит совсем иначе. Ведь я, горемычный, нашел камень! Хотите, я вам скажу всю правду? Когда вы начали спрашивать друг друга обо мне, я был от вас меньше, чем в десяти локтях. Я вижу, что вы себе шагаете и меня не замечаете, взял да и обогнал вас, и потом уже все время шел чуть-чуть впереди». Так он рассказал им все, с начала до конца, все, что они говорили, и все, что они творили, показал, как ему камни отделили спину и пятки, а засим продолжал: «И вот, изволите ли видеть, когда

я со всеми этими камнями за пазухой входил в ворота, никто мне ничего не сказал, а уж на что надоедливы и привязчивы стражники: все-то они ищут, глазами так и рыщут. По дороге я встретил многих друзей-приятелей; обыкновенно они со мной заговаривают, предлагают выпить, а тут — ни слова, ни полслова: они меня не видели, вот в чем дело! А когда я пришел домой, эта ведьма окаянная вышла мне навстречу и увидела м е н я , — ведь вы же знаете, что женщины лишают силы любой предмет. И вот глядите: только что я почитал себя за счастливейшего человека во всей Флоренции, а теперь я разнесчастный человек — оттого-то я и колотил ее, покуда руки не устали, и сейчас у меня руки чешутся до крови ее избить. Да будет проклят тот час, когда я увидел ее впервые и когда она вошла в мой дом!» Тут он снова рассвирепел и чуть было опять не набросился на жену с кулаками.

Буффальмакко и Бруно, делая вид, что они крайне изумлены, все время поддакивали Каландрино; заметив же, что он, придя в бешенство, встает и вот сейчас бросится на жену, они подскочили к нему и удержали, а затем принялись доказывать что всему виной не жена, а он: он же знал, что женщины лишают силы любой предмет, — почему же он, дескать, ей не сказал, чтобы она сегодня не показывалась ему на глаза? Как видно, господь отнял у него р а з у м , — отнял, может статься, потому, что это счастье не было назначено ему в удел, а может статься, в наказание за то, что он хотел обмануть друзей, которым он обязан был сказать, что нашел камень. С величайшим трудом, после долгих перекоров, удалось им наконец помирить Каландрино с его удрученной женой, и они удалились, предоставив ему сокрушаться, сидя над грудой камней.





*Настоятель собора во Фьезоле любит вдовушку, но вдовушка его не любит;
он полевивает с ее служанкой, а воображает, что с ней;
между тем братья вдовушки выдают его головой епископу*



ак скоро Элисса окончила свою повесть, доставившую всему обществу изрядное удовольствие, королева, обратясь к Эмили, изъявила желание, чтобы после Элиussy рассказывала она, и Эмилия тотчас же начала так:

— Достойные дамы! Нашему вниманию уже не раз предлагались повести о том, как священники, монахи, а равно и все прочие духовные лица, искушают наши души, однако исчерпать сей предмет невозможно: уж кажется, на сказано много, а нет — недосказано еще больше, вот почему в до-

бавление к выслушанным повестям я хочу рассказать вам еще одну — о настоятеле собора, который во что бы то ни стало порешил добиться от одной благородной вдовы, чтобы она волей или неволей разделила его пламень, она же, будучи женщиной на редкость находчивой, обошлась с ним так, как он того заслуживал.

Сколько вам известно, Фьезоле, — отсюда видна гора, на которой он расположен, — город очень древний, и в старину это был большой город, но с течением времени он захирел, однако ж и теперь, как и в былые годы, там живет епископ. Неподалеку от собора находились усадьба и домик благородной вдовы по имени монна Пиккарда. Так как она была не из богатых, то жила здесь почти безвыездно, вместе с двумя братьями — славными, учтивыми юношами. Молиться богу монна Пиккарда ходила в собор, а была она еще очень молода, красива, мила, и по этой причине в нее по уши влюбился настоятель, да так, что совсем потерял голову. Некоторое время спустя он дошел до такой наглости, что изъяснился даме в любви и обратился к ней с мольбой не отвергать его домогательств и ответить ему взаимностью.

Старый годами, но пряткий, напористый, спесивый, самонадеянный, с жеманными и противными манерами, он был до того отвратителен и омерзителен, что все испытывали к нему отвращение, в особенности — вдова: для нее он был хуже головной боли. Будучи женщиной умной, она ответила ему так: «Ваше высокопреподобие! Мне может быть только лестно, что вы меня любите; я тоже обязана любить вас и с удовольствием полюблю, но только и в вашем и в моем чувстве не должно быть ничего недозволенного. Вы мой духовный отец, вы священник, вы уже на склоне лет, вам подобает вести добродетельный и целомудренный образ жизни, а я уже не девушка, — это девушкам приличествует выслушивать изъяснения в любви, — я вдова, а вы знаете, какого строгого поведения должны быть вдовы, так что вы уж извините, а только я никогда не полюблю вас той любовью, какой вы от меня ожидаете, и не хочу, чтобы так же любили меня и вы».

Настоятель хоть и ничего на сей раз от нее не добился, однако ж после первого удара духом не пал и не сдался, — по свойственному ему нахальству и навязчивости он засылал к ней гонцов, которые передавали ей от него письма или же что-либо на словах, а то и сам лез к ней с разговорами, когда она появлялась в церкви. Все эти его подходы надоели и опротивели монне Пиккарде, и она положила отделаться от него, за неимением другого средства, тем способом, какого он заслуживал, но только рассудила за благо предварительно посоветоваться с братьями. Она сообщила им, как ведет себя с ней настоятель собора и что намерена предпринять она, братья же вполне ее одобрили, и вот спустя несколько дней она, по обыкновению, пошла в церковь, и стоило настоятелю ее увидеть, он, как всегда, направился к ней и развязным тоном заговорил. Монна Пиккарда обратила на него приветливый взор, а затем отошла с ним в сторонку и, выслушав обычные его излияния, с глубоким вздохом молвила: «Мне часто приходилось слышать, отец мой, что нет такой неприступной крепости, которая после многодневного приступа не была бы в конце концов взята, и теперь я в этом убедилась на собственном опыте. Осадив меня, вы пускали в ход сладкие слова, применяли то одну любезность, то другую, и в конце концов я решилась изменить обычному моему образу действий: если уж я так вам понравилась, то я — ваша».

Настоятель пришел в восторг. «Чувствительно вам благодарен, сударыня, — сказал он. — Откровенно говоря, я диву давался, что вы так долго держитесь, — это первый случай в моей жизни. Бывало, я не раз говорил себе: «Если бы женщины были из серебра, то монет из них нельзя было бы начеканить — ни одна из них не выдержала бы молота. Но это между прочим. Когда и где мы встретимся?»

«Когда хотите, мой драгоценный, — отвечала вдова, — ведь у меня нет мужа, которому я была бы обязана отчетом в том, с кем я пробыла ночь. Но вот где? Тут я ничего не могу придумать».

«Как где? А у вас?» — спросил настоятель.

«Вы же знаете, отец мой, что со мной живут два брата, два молодых человека, — отвечала монна Пиккарда, — они и днем и ночью вваливаются с целой ватагой приятелей, а дом у меня не велик, и потому встречаться

там неудобно, разве если на время онеметь и не проронить ни единого слова, ни единого звука, и, словно слепые, сидеть в темноте. На таких условиях встретиться можно, потому что ко мне в комнату они не заглядывают, но беда в том, что наши комнаты близехонько одна от другой: шепоток — и тот слышен».

«Ничего, одну-две ночи можно и там, сударыня, — возразил настоятель, — а потом я подыщу что-нибудь поуютнее».

«Это уж ваша забота, отец мой, — заметила вдова, — я прошу вас об одном: чтобы все это осталось в тайне, никому ни полслова!»

«Об этом можете не беспокоиться, сударыня, — сказал настоятель. — Вы только постарайтесь устроить нам свидание вечером».

«Хорошо», — молвила вдова и, объяснив ему, как и в какое время лучше всего к ней пройти, пошла домой.

У вдовы была служанка — не первой молодости и вдобавок на редкость уродливая и безобразная: нос у нее был приплюснутый, рот кривой, губы толстые, зубы редкие и большие; она слегка косила, глаза у нее часто болели, цвет лица у нее был изжелта-зеленый, словно лето она провела не во Фьезоле, а в Синигалье, и к довершению всего она была хромая и слегка кривобокая; за зеленый цвет лица все звали ее Зеленушкой; однако ж при всем своем безобразии она была не лишена хитрецы.

Вдова позвала ее и сказала: «Зеленушка! Если ты ночью окажешь мне услугу, я подарю тебе красивую новенькую сорочку».

Услыхав, что госпожа собирается подарить ей сорочку, Зеленушка ответила так: «Если вы, сударыня, подарите мне сорочку, я все, что ни прикажете, сделаю, даже в огонь брошусь».

«Ну вот и отлично, — заметила вдова. — Пробудь эту ночь в моей постели с мужчиной и приласкай его, но только молча, чтобы братья мои не услышали, — ведь они спят за стеной, — а потом я подарю тебе сорочку».

«Да я, коли нужно, с шестерыми проспую, а не то что с одним», — молвила Зеленушка.

И вот вечером, в назначенный час, явился настоятель, а молодые люди, как это у них было уговорено с сестрой, были у себя в комнате и громко заявляли о своем присутствии, по каковой причине настоятель в потемках тихохонько пробрался в комнату монны Пиккарды и направился, как ему было сказано, к постели, — Зеленушка же, наученная монной Пиккардой, как ей надлежит действовать, направилась туда же, но только с другой стороны. Полагая, что с ним монна Пиккарда, отец настоятель заключил Зеленушку в объятия и молча стал целовать ее, а Зеленушка его. Словом, настоятель вступил во владение вождеденными благами и начал развлекаться. Устроив свидание, монна Пиккарда велела братьям доделать остальное. Братья на цыпочках вышли из дому и пошли на площадь, судьба же благоприятствовала им в задуманном предприятии даже больше, чем они рассчитывали. Стояла сильная жара, и епископ велел узнать, дома ли эти молодые люди, — ему хотелось пройтись и выпить у них вина, но тут как раз он увидел, что они сами идут к нему; он признался, чего ему хочется, и пошел с ними; когда же он вошел в про-

хладный их дворик, освещенный множеством свечей, то не отказал себе в великом удовольствии выпить доброго вина.

Когда же он выпил, молодые люди обратились к нему с такими словами: «Владыка! Вы оказали нам такую милость: удостоили своим посещением убогое наше жилище, — а мы ведь и шли пригласить вас в г о с т и , — соблаговолите же взглянуть на одну вещицу — мы были бы счастливы вам ее показать».

Епископ ответил, что с удовольствием посмотрит. Тогда один из братьев взял зажженный факел и пошел прямо в комнату, где отец настоятель полеживал с Зеленушкой, а за ним — епископ и все остальные; настоятель же успел отмахать более трех миль, ибо все это время он скакал во весь опор, а потому, притомившись, отдыхал, несмотря на жару держа Зеленушку в объятиях. Когда, вслед за освещавшим дорогу молодым человеком, в комнату вошел епископ и все прочие, то епископу в ту же минуту показали настоятеля, обнимавшего Зеленушку. Отец настоятель между тем пробудился и, увидев свет и чужих людей вокруг, от нестерпимого стыда и страха с головою накрылся простыней. Тогда епископ, отчитав настоятеля, велел ему высунуть голову и посмотреть, с кем он лежит. Удостоверившись, что монна Пиккарда его обманула, и помыслив о том, как он осрамился, настоятель в превеликое впал уныние. Епископ велел ему одеться, а затем настоятеля под усиленным караулом отвели в с о б о р , — там на него должна была быть наложена строжайшая епитимья за совершенный им грех. Затем епископ полюбобытствовал, каким это образом настоятель разлегся тут с Зеленушкой. Молодые люди все рассказали епископу. Епископ очень одобрил и вдовушку, и молодых людей за то, что они, не пожелав обогреть руки в крови священника, обошлись с ним, как он того заслуживал.

Епископ присудил настоятеля сорок дней оплакивать свой грех, однако ж любовь и негодование кающегося оказались столь сильны, что оплакивал он свой грех сорок девять дней с лишком, и, к умножению его несчастий, ему долго потом не давали проходу мальчишки — показывали на него пальцем, кричали: «Глядите! Это он спал с Зеленушкой!» — и чуть было не довели его до сумасшествия. Так почтенная дама избавилась от тошнотворного и нахального настоятеля, а Зеленушка заработала на этом сорочку.





*Пока судья из Марки заседает во флорентийском суде,
трое молодых людей снимают с него подштанники*



огда Эмилия дошла до конца своей повести и все выразили одобрение вдовушке, королева обратила взор на Филострато.

— Теперь твоя очередь, — сказала она.

Тот сейчас же изъявил готовность и начал так:

— Прелестные дамы! Элисса упомянула одного молодого человека по имени Мазо дель Саджо, и это навело меня на мысль вместо повести, которую я прежде собирался вам предложить, рассказать другую — о нем и о его товарищах, повесть не непристойную, однако ж заклю-

чающую в себе такие выражения, которые вы стесняетесь употреблять, но до того смешную, что грех было бы не рассказать ее.

Все вы знаете, что градоправителями у нас нередко бывают уроженцы Марки, и по большей части это — мелкие душонки, народ прижимистый и сквалыжный, всю жизнь они только и делают, что крохоборничают. И вот по причине этого своего сквалыжничества и скопидомства градоправители и привозят с собой таких судей и нотариусов, о которых скорей можно подумать, что они прямо от плуга или из сапожной мастерской, но только не из школы законоведения. Итак, некий градоправитель вместе с множеством других судей привез мессера Никкола да Сан Лепидо, с виду больше всего похожего на кузнеца, и было этому судье поручено вести дела уголовные. Горожанам делать в суде решительно нечего, и все-таки они нет-нет да туда и заглянут, и вот нужно же было случиться так, что однажды утром туда зашел разыскивавший своего приятеля Мазо дель Саджо. Обратив внимание на заседавшего там мессера Никкола, он спросил себя: что это, мол, еще за птица, и стал его разглядывать.

На судьбе была грязная беличья шапка, у пояса болталась чернильница, из-под мантии вылезала нательная рубашка, да и многое другое говорило о том, что судья не принадлежит к числу людей чистоплотных и благородных, но особенно поразили Мазо дель Саджо его подштанники, доходившие чуть не до икр; мантия была узкой, полы ее расходились, и из-под них выглядывали подштанники.

На этом Мазо дель Саджо прекратил осмотр судьи, равно как и поиски своего приятеля, и, отправившись на новые поиски, встретил двух других своих приятелей, из коих одного звали Рибби, а другого — Маттеуццо, не меньших забавников, нежели он сам. «Хотите доставить мне удовольствие? — спросил о н . — Пойдемте в суд: я вам покажу такое чудело, какого вы сроду не видывали».

Все трое пошли в суд, и Мазо показал своим приятелям судью и его подштанники. Приятели еще издали начали покатываться, а подойдя ближе к скамьям, на одной из коих восседал господин судья, они обнаружили, во-первых, что под скамьи легко подлезть, а во-вторых, что перекладка, на которой покоились ноги судьи, треснула, и в дыру ничего не стоило просунуть руку.

«Меня так и подмывает совсем стащить с него подштанники — уж больно это просто!» — сказал своим товарищам Мазо.

Каждому было ясно, как за это взяться, а потому, условившись, что нужно делать и что говорить, приятели на другое утро опять пришли в суд. В переполненной зале Маттеуццо ухитрился незаметно подлезть под скамью и очутиться как раз возле судейских ног. Тем временем к судьбе с одной стороны приблизился Мазо и взял его за полу мантии, а с другой стороны к нему подошел Рибби и сделал то же самое, и тут заговорил Мазо. «Господин судья, а господин судья! — начал о н . — Пока вот этот ворюшка не улизнул, ради бога велите ему вернуть мне сапоги: он у меня их стибрил, но не признается, а я с месяц тому назад собственными глазами видел, как он отдавал поставить на них новые подметки».

А с другой стороны вопил Рибби: «Не верьте ему, господин судья, — он плутяга: он прекрасно знает, что я пришел в суд, чтобы потребовать сундук, который он у меня с п е р , — потому-то он и завел речь про сапоги, а ведь я эти сапоги давным-давно купил. Коли не верите, могу вам представить свидетелей: мою соседку-зеленщицу, потом Толстуху, которая требухой торгует, и потом еще мусорщика, который собирает отбросы возле церкви Санта Мария, что у Фреддианских в о р о т , — мусорщик видел, как тот возвращался из пригорода».

Мазо не давал Рибби слова сказать — орал во всю глотку, а Рибби еще того лише. Чтобы лучше их слышать, судья встал со скамьи — этим не преминул воспользоваться Маттеуццо: он просунул руку в дыру, которая образовалась в перекладке, и, ухватившись за задок судейских подштанников, изо всех сил потянул их книзу. Подштанники немедленно спустились, ибо судья был худ — кожа да кости. Чувствуя, что что-то неладно, но еще не понимая, в чем дело, судья попытался было запахнуть мантию и сесть на свое место, но Мазо и Рибби вцепились в нее с обоих боков. «Нехорошо вы делаете, господин судья! — кричали они

дикими голосами. — Не желаете рассудить меня, не хотите даже выслушать, порываетесь уйти. В нашем городе из-за таких пустяков переписки не заводят». И так они долго еще держали его за мантию — до тех пор, пока все, кто был в суде, не увидели, что с судьи спустили подштанники. Маттеуццо некоторое время их подержал, а потом отпустил и незаметно вышел из залы. Риби, вдоволь над судьёю натешившись, объявил: «Я пожалуюсь в управу, ей-богу, пожалуюсь!» Мазо тоже отпустил полу мантии. «Ну, а я, — сказал он, — буду ходить и ходить в суд и дождусь такого дня, когда выбудете посвободнее». Словом, все трое с великою поспешностью разошлись кто куда.

Господин судья натянул при всех подштанники, и вид у него был такой, словно он только сейчас проснулся; догадавшись наконец, что произошло, он осведомился, куда делись те, что препирались из-за сапог и сундука. Когда же судья удостоверился, что они скрылись, то поклялся божьим чревом дознаться и допытаться, существует ли во Флоренции обычай снимать с судьи подштанники во время судебного заседания. А как скоро это происшествие достигло ушей градоправителя, то и он расшумелся; друзья, однако ж, сумели убедить его, что все это было проделано единственно для того, чтобы показать градоправителю, что флорентийцы понимают, почему вместо судей он привез с собой скотов, — так, мол, дешевле, и градоправитель почел благоразумным смолчать, и на этом дело и кончилось.





*Бруно и Буффальмакко крадут у Каландрино свиную тушу;
оба советуют Каландрино постараться найти ее,
испытав подозреваемых на имбирных пиллюлях и впрочем,
а ему дают, одну за другой, две пиллюли из собачьего кала,
в который подбавлен сабур, каковое испытание всем доказывает,
что Каландрино сам у себя стащил свинью;
под угрозой всё рассказать его жене Бруно
и Буффальмакко требуют с Каландрино откуп*



ак скоро Филострато окончил свою всех насмешившую повесть, королева велела рассказывать Филомене, и Филомена начала так:

— Обворожительные дамы! Подобно как имя Мазо навело Филострато на мысль рассказать повесть, которую вы только что слышали, так же точно и мне имена Каландрино и его приятелей привели на память одно происшествие; о нем-то я и поведам рассказ — надеюсь, он вам понравится.

Мне незачем пояснять вам, кто такие Каландрино, Бруно и Буффальмакко, — вы уже довольно о них наслышаны, — а потому я прямо приступаю к рассказу: итак, у Каландрино близ Флоренции было небольшое имение, которое он получил в приданое за женой; именьице приносило хозяину доход, — между прочим, там ежегодно откармливалась свинья. В самом конце ноября Каландрино непременно отправлялся туда с женой, резал свинью и солил ее.

Нужно же было случиться так, чтобы в этот год жена Каландрино оказалась не совсем здорова, и пришлось ему одному идти резать свинью. Сведая о том и узнав наверное, что жена Каландрино остается дома, Бруно и Буффальмакко тот же час отправились к одному священнику, ближайшему их другу, соседу Каландрино, с тем чтобы несколько дней у него погостить. Пришли они к священнику как раз в то утро, когда Каландрино зарезал свинью. Увидев Бруно и Буффальмакко вместе со священником, Каландрино окликнул их. «Добро пожаловать! —

сказал о н . — Поглядите, какой я хороший хозяин». И тут он повел их к себе и показал свинью.

Свинья оказалась отменная; Каландрино признался, что намерен засолить ее, но не на продажу, а для себя. «Экий же ты дуралей! — воскликнул Б р у н о . — Да ты лучше продай свинью, деньги мы прокутим, а женке скажешь, что ее у тебя украли».

«А она не поверит и выгонит меня из дому, — возразил Каландрино. — Нет уж, оставьте, все равно вы этого от меня не добьетесь».

Сколько ни уговаривали Каландрино, он остался непреклонен. Он пригласил приятелей закусить чем бог послал, но они отказались и ушли.

«А что, если мы ночью украдем у него свинью?» — сказал Бруно.

«Каким образом?» — спросил Буффальмакко.

«Каким образом — это я уже о б д у м а л , — отвечал Б р у н о , — лишь бы только он ее не перенес на другое место».

«Коли так — споровим, — заключил Буффальмакко. — Да и почему бы, собственно, не споровить? А потом мы вместе с его преподобием устроим пир».

Священник сказал, что он с удовольствием поел бы свининки.

«Тут уж придется пуститься на хитрость, — снова заговорил Бруно . — Ты знаешь, Буффальмакко, какой Каландрино скряга и какой он любитель выпить на чужой счет. Так вот, мы сведем его в таверну, и там священник пусть скажет, что по случаю нашего прибытия он всех угощает, и не позволит ему платить. Каландрино ухнет, и тогда мы всё обедаем в лучшем в и д е , — ведь дома-то он один!»

Как Бруно сказал, так и было сделано. Видя, что священник не позволяет платить, Каландрино давай хлестать; впрочем, ему немного и нужно было, так что вскоре он уже был хорош. Ужинать он не стал, ушел из таверны за полночь и когда входил к себе, то вообразил, что запер за собою дверь, хотя на самом деле оставил ее незапертой, а войдя, лег спать. Буффальмакко же и Бруно пошли к священнику ужинать, отужинали, а потом, захватив с собою кое-какой инструмент, потребный для того, чтобы проникнуть в дом к Каландрино в том месте, которое выбрал Бруно, два приятеля осторожным шагом направились в Каландрино и, обнаружив, что входная дверь не заперта, вошли, сняли с гвоздя свиную тушу, отнесли ее к священнику, хорошенько припрятали и улеглись спать.

К утру хмель у Каландрино прошел; он встал с постели, сошел вниз и увидел, что дверь открыта, а свиньи нет. Он стал спрашивать того, другого, не видали ль, кто стянул у него свинью, — никто не знал; тогда он поднял страшнейший шум: дескать, у него, бедного, несчастного, свинью украли. Бруно же и Буффальмакко встали и пошли к Каландрино послушать, что-то он скажет им про свинью. Увидев их, Каландрино со слезами сказал: «Друзья! У меня несчастье: свинью украли!»

Бруно подошел к Каландрино и шепнул ему на ухо: «Что за диво! Первый раз в жизни ты поступаешь умно».

«Ах ты господи, да ведь я правду говорю!» — возразил Каландрино.

«Продолжай в том же духе, — сказал Бруно, — ори во всю мочь, так будет еще правдоподобнее».

Тут Каландрино и впрямь еще громче крикнул: «Клянусь телом Христовым, у меня правда украли свинью!»

«Так, так! — подзуживал его Бруно. — Если хочешь достигнуть цели — вопи громче: тогда тебя все услышат и подумают, что взаправду украли».

«Ты меня до иступления доведешь! — вскричал Каландрино. — Я говорю, а ты не веришь! Висеть мне на виселице, если свинью у меня не унесли!»

«Постой! Как же это могло случиться? — сказал Бруно. — Я еще вчера видел ее вот здесь. Неужели ты думаешь, что я могу подумать, будто ее у тебя уволокли?»

«Я говорю так, как оно есть», — подтвердил Каландрино.

«Да как же так?» — спросил Бруно.

«А вот так, — отвечал Каландрино. — Пропавший я теперь человек, — как же я домой покажусь? Жена мне не поверит, а хоть бы и поверила — все равно потом дуться на меня целый год будет».

«Ай-ай-ай! — воскликнул Бруно. — Коли так, то дело плохо. Но только вот что, Каландрино: ведь я же сам вчера научил тебя так голосить. Морочь кого хочешь, только не женку и не нас с Буффальмакко».

Тут Каландрино разбушевался и раскричался: «Вы меня до того доведете, что я начну хулить бога, святых и все подряд! Вам же говорят: ночью у меня украли свинью!»

«Если правда украли, значит, нужно подумать, как бы отнять ее у вора», — заметил Буффальмакко.

«А как ее найти?» — спросил Каландрино.

«Да ведь не из Индии же кто-то пришел слямзить у тебя свинью, — верно, кто-нибудь из соседей, — заметил Буффальмакко. — Постарайся созвать всех до единого — я умею испытывать людей на хлебе и сыре, и мы тогда сразу узнаем, кто спер».

«Много ты вытянешь с помощью хлеба и сыра у соседских молодчиков, а ведь я уверен, что это кто-нибудь из них постарался, — возразил Каландрино. — Догадываются, зачем их зовут, и не явятся».

«Как же быть?» — спросил Буффальмакко.

«Это можно сделать при помощи имбирных пилюлек и доброй вранчи, — отвечал Бруно. — Надобно пригласить их выпить — они не поймут и придут, а имбирные пилюли можно заговорить так же, как хлеб и сыр».

«Ей-богу, ты прав, — заметил Буффальмакко. — А ты что скажешь, Каландрино? Сделать так, как он говорит?»

«Ради всего святого! — воскликнул Каландрино. — Мне бы только узнать, кто уворовал, — я уже наполовину был бы утешен».

«Коли так, — подхватил Бруно, — то для тебя я готов пойти за пилюлями и вином во Флоренцию, но только если ты дашь мне денег».

У Каландрино было около сорока сольдо, — он их и отдал Бруно.



Во Флоренции Бруно зашел к своему другу аптекарю, купил у него фунт хороших имбирных пилюль и заказал еще две пилюли из собачьего кала, в который он просил подбавить свежего сабура; пилюли эти он просил посахарить, точь-в-точь как имбирные, а чтобы не смешать их и не спутать, он просил сделать на них какой-нибудь знак, чтобы их можно было легко отличить; еще он купил бутылъ доброй верначчи и, возвратившись к Каландрино, сказал: «Завтра постарайся угостить тех, кто у тебя на подозрении. Явятся с е , — ведь завтра п р а з д н и к , — а ночью мы с Буффальмакко заговорим пилюли, и утром я их тебе принесу. По старой дружбе я все устрою сам: пилюли раздам, гостей уважу и все улажу».

Каландрино так именно и поступил. И вот наутро, когда возле церкви, под вязом, собралось немало молодых флорентийцев, прибывших в свои усадьбы, равно как и местных крестьян, Бруно и Буффальмакко явились с коробкой пилюль и бутылью вина, и, посадив всех в кружок, Бруно заговорил: «Синьоры! Я хочу объяснить, для чего мы вас здесь собрали, чтобы в случае чего вы на меня потом не жаловались. У Каландрино, — вон он сидит! — ночью утянули роскошную свиную тушу, и он до сих пор ее не нашел, а так как утянуть ее никто, кроме нас, здесь присутствующих, не мог, то, дабы установить, кто именно ее подтибрил, он предлагает вам съесть по одной пилюле и выпить вина. Упреждаю вас: кто спер свинью, тот не сможет проглотить пилюлю — она покажется ему горше яда, и он выплюнет ее, а потому пусть лучше тот, кто украл, покается в своем грехе священнику, чем срамиться при народе, я же обещаю этому делу хода не давать».

Все изъявили желание съесть пилюли. Тогда Бруно рассадил всех, в том числе и Каландрино, и, начав с одного конца, стал раздавать пилюли. Дойдя до Каландрино, он положил ему на ладонь пилюлю из собачьего этого самого. Каландрино, нимало не медля, сунул ее в рот и начал разжевывать, но как скоро язык его ощутил вкус сабура, во рту у него стало так горько, что он не удержался и выплюнул пилюлю. Между тем все зорко следили друг за другом — не выплюнет ли кто-нибудь, и не успел Бруно, сделавший вид, что ничего не заметил, дораздать пилюли, как за его спиной послышался чей-то голос: «Эй, Каландрино, ты что это?» Тут Бруно живо обернулся и, удостоверившись, что Каландрино выплюнул пилюлю, сказал: «Погодите! Может, он по какой-либо другой причине выплюнул. На-ка еще!» С этими словами он положил ему другую пилюлю прямо в рот, а затем дораздал остаток. Если первая пилюля показалась Каландрино горькой, то вторая — горькой-прегорькой, а выплюнуть ему было стыдно, и он некоторое время ее жевал, меж тем как из глаз у него текли слезы величиною с орех, однако ж в конце концов сил его не стало, и вторую пилюлю постигла та же участь, что и первую. В это время Буффальмакко и Бруно поили собравшихся. Увидев, что Каландрино выплюнул и вторую пилюлю, все сошлись на том, что, вне всякого сомнения, он сам у себя украл свинью, а некоторые принялись ругательски ругать его.

Наконец все разошлись — с Каландрино остались только Буффальмакко и Бруно. «Я с самого начала был у б е ж д е н , — обратясь к Каландри-

но, заговорил Буффальмакко, — что ты сам же ее и похитил, а нас уверял, будто ее у тебя украли, для того чтобы не распить с нами те деньги, которые ты за нее получил».

Каландрино, во рту у которого все еще было горько, начал божиться, что и не думал похищать у себя свинью.

«Скажи-ка, брат, по чистой совести, — спросил Буффальмакко, — сколько ты за нее содрал? Уж не меньше шести флоринов?»

Каландрино это взорвало. «Послушай, Каландрино, — вмешался тут Бруно. — Один из тех, которые с нами ели и пили, сказал мне, что ты здесь завел себе девочку и что ей от тебя перепадает; так вот, он уверен, что свинью ты послал своей красотке. Здорово же ты наловчился дурачить добрых людей! Повел нас по берегу Муньоне собирать черные камни, потом дал тягу, а нас оставил, что называется, на корабле без сухарей и потом еще уверял, будто нашел камень, а теперь клянешься и божишься, будто у тебя украли свинью, которую ты сам же кому-то подарил или продал. Мы тебя раскусили, мы тебя видим насквозь, больше тебе своими плутнями на удочку нас не поддеть, однако ж, сказать по правде, хитрость наша обошлась нам недешево, вот мы с Буффальмакко и порешили взять с тебя по сему случаю двух каплунов, а коли не дашь — мы все расскажем монне Тессе».

Видя, что ему не верят, и рассудив, что, дескать, мало ему покражи — недостает только головной уборы от жены, Каландрино дал им двух каплунов. Свинью они засолили и отвезли во Флоренцию; Каландрино же остался в накладе, да еще и в дураках.





*Студент любит вдовушку,
а вдовушка любит другого
и заставляет студента ночь напролет прождать ее на снегу;
впоследствии по наущению студента она в середине июля
целый день стоит на башне нагая,
и ее жалят мухи, слепни и печет солнце*



амы много смеялись над горемычным Каландрино и смеялись бы еще больше, если б им не было досадно, что те самые люди, которые стащили у Каландрино свинью, с него же требовали каплунов. Как скоро рассказ о Каландрино пришел к концу, королева велела рассказывать Пампинее, и та сейчас же начала:

— Милейшие дамы! Одна хитрость часто смеется над другою — вот почему безрассудно смеяться над себе подобными. Слушая разные истории, мы много смеялись над всевозможными проделками, но вот об отместке за них мы не слыхали ни разу. Мне же хочется вызвать у вас сострадание к одной нашей согражданке, понесшей заслуженную кару, — ее проделку ей припомнили, и она едва не стоила ей жизни. Послушать мой рассказ вам будет не бесполезно — вы уже не так будете потом смеяться над другими, и в том проявится ваш превеликий разум.

Не так давно жила-была во Флоренции молодая женщина по имени Елена, красивая, гордая, славного рода и отнюдь не обойденная судьбой по части земных благ. Оставшись вдовой, она не пожелала вторично выходить замуж, так как по своей доброй воле отдала сердце некоему пригожему и очаровательному юноше и, позабыв обо всем на свете, при посредстве служанки, которая пользовалась у нее доверием безграничным, часто проводила с ним время, наслаждаясь безоблачным счастьем. Случилось, однако ж, так, что один молодой человек по имени Риньери, принадлежавший к городской знати, долго учившийся в Пари-

же, но не для того, чтобы потом, по примеру многих других, торговать своими сведениями, а чтобы, как подобает человеку благородному, к источнику знания прикинуть и в суть и корень вещей проникнуть, вернулся тогда из Парижа во Флоренцию и, будучи весьма уважаем как за благородное свое происхождение, так и за свои познания, здесь обосновался и зажил на широкую ногу. Но те, кто отличается умом глубоким, чаще всего и теряют голову от любви, — так именно и произошло с нашим Риньери. Однажды он поехал на бал, там его взору явилась Елена в черном платье, как у нас полагается быть одетой вдове, и он усмотрел в ней столько красоты и столько прелести, сколько, как ему казалось, ни у одной женщины он до сих пор не видал. Только тот человек, думалось ему, имеет право назвать себя счастливым, кого господь сподобил держать ее, нагую, в своих объятиях. Искоса на нее поглядывая, он, отдав себе отчет, что все великое и драгоценное дается нелегко, порешил не жалеть трудов и усилий, чтобы понравиться ей, понравившись — влюбить ее в себя, а добившись этого — получить возможность обладать ею. Взгляд у молодой женщины вовсе не был устремлен в преисподнюю, — напротив того, думая о себе больше, чем следовало, она ловко водила глазами и сразу замечала, кто ею любит. Обратив внимание на Риньери, она усмехнулась про себя. «Нынче я не зря сюда пришла, — подумала она. — Если не ошибаюсь, птичка попалась». И вот она нет-нет да и поглядит на него вскользь и даст понять, что он произвел на нее впечатление. Помимо всего прочего, Елена рассуждала так, что чем больше она силою своих чар приманит и поймает поклонников, тем выше будут ценить ее красоту, в особенности тот, кому она подарила ее вместе со своею любовью.

Молодой ученый больше уже не философствовал — все его мысли были заняты Эленой. Ласкаясь надеждою понравиться ей, он разузнал, где она живет, и под разными предлогами начал прохаживаться мимо ее дома. По указанной причине это не могло не льстить ее самолюбию, и она притворялась, что его появления доставляют ей удовольствие, вследствие чего студент, воспользовавшись удобным случаем, вошел в дружбу к ее служанке, поведал ей тайну своей любви и попросил замолвить за него словечко госпоже. Служанка твердо обещала и все рассказала госпоже — та выслушала ее и залилась хохотом. «Что же это он, нажил ума-разума в Париже и уже успел все растерять? — сказала она. — Ну хорошо, чего домогается, то от нас и получит. Когда он еще раз с тобою заговорит, скажи, что я люблю его гораздо сильнее, чем он меня, но мне нужно беречь мое доброе имя, чтобы я могла, как все честные женщины, высоко держать голову, и если он и впрямь так умен, как о нем говорят, то должен еще больше меня за это ценить». Ах, бедняжка, бедняжка! Не знала она, мои дорогие, что значит связываться со студентами. Служанка при встрече передала студенту все, что ей наказывала госпожа. Студент на радостях перешел к еще более жарким мольбам, начал писать письма, посылать подарки — все принималось, но в ответ студент получал общие фразы, и так Елена долго водила его за нос.

Она все рассказала своему возлюбленному, и тот на нее рассердился, даже стал ревновать, и вот, чтобы доказать ему, что он к ней несправедлив, она как-то раз послала к студенту, который все еще упорно домогался ее расположения, служанку, и та от ее имени ему сказала, что Елена давно уже уверилась в его чувстве к ней, что до сих пор ей все не удавалось доставить ему удовольствие, но что подходят святки, и вот-де на святках она надеется с ним побыть, так что, если ему угодно, пусть, мол, на другой день праздника вечером придет к ней во двор, а она при первой возможности к нему выйдет. Студент был наверху блаженства; в условленный час он пошел к своей возлюбленной, служанка впустила его во двор и заперла калитку, а он остался ждать Элену.

В тот же вечер Елена позвала к себе своего возлюбленного и после веселого ужина сообщила, что она затеяла в эту ночь. «Теперь ты увидишь, сколь сильное и глубокое чувство у меня было и есть к тому человеку, к которому ты так глупо меня приревновал», — прибавила она. От этих ее слов любовник возвеселился духом, и ему уже не терпелось поглядеть, как будет приводиться в исполнение ее замысел. Накануне выпало много снега, всюду намело сугробов, и студент очень скоро стал мерзнуть, однако ж, уповая на награду, терпел.

Немного спустя Елена предложила своему возлюбленному: «Пойдем в ту комнату, поглядим в окошко — что поделявает тот человек, к которому ты меня приревновал, и послушаем, что он ответит служанке, — я ей велела поговорить с ним».

Они подошли к окошку, — им все отсюда было видно, а вот их никто не могут видеть, — и подслушали разговор служанки со студентом. «Риньери! — сказала служанка. — Моя госпожа очень расстроена: к ней брат пришел, долго разговаривал, потом изъявил желание отужинать и до сих пор еще не ушел, но теперь она скоро к тебе выйдет. Она просит тебя не пенять на нее за долгое ожидание».

Не подозревавший обмана студент ответил ей так: «Скажи моей бесценной, чтобы она обо мне не беспокоилась. Нельзя так нельзя — пусть выйдет, когда освободится».

Служанка пошла спать.

«Ну? Что скажешь? — обратилась к своему возлюбленному Елена. — Если бы я точно любила этого человека, как это ты себе вбил в голову, то неужели же заставила бы его мерзнуть во дворе?» Тут она и ее отчасти удовлетворенный любовник легли в постель и долго-долго блаженствовали и наслаждались, смеясь и потешаясь над злосчастным студентом.

Студент, чтобы согреться, ходил по двору и делал различные телодвижения, но спрятаться от стужи ему было негде, и он проклинал засидевшегося у Элены брата. При каждом шорохе у него возникала надежда, что это она отворяет ему дверь, но ожидания его были напрасны.

Порезвившись со своим возлюбленным до полуночи, Елена его спросила: «Как тебе, душа моя, нравится наш студент? Что, по-твоему,

сильнее: его благоразумие или же моя любовь к нему? И не выморозит ли в твоей груди стужа то, что в ней поселили мои шутки?»

«Душенька моя! Теперь я вижу, что ты мое блаженство, мое утешение, моя радость, мое упование, а я весь твой!» — сказал ей в ответ возлюбленный.

«Ну так поцелуй же меня тысячу раз — тогда я тебе поверю», — молвила Елена. И тут любовник сдвинул ее в объятиях и поцеловал даже не тысячу, а более ста тысяч раз.

Поговорив еще немного с возлюбленным, Елена предложила ему: «Давай встанем и поглядим, не погас ли тот огонь, в котором целый день горел новоявленный мой любовник, как он писал о том в своем письме ко мне».

Оба встали, подошли к тому же самому окошку и, заглянув во двор, увидели, что студент, промерзнув до костей, под щелканье собственных зубов выбивает на снегу чечетку, да такую быструю и частую, какой им отроду видеть не приходилось. «Что скажешь, моя отрада? — спросила Елена. — Теперь ты видишь, что когда мои поклонники ради меня вытанцовывают дробь, то им не нужны ни трубы, ни волынки?»

«Вижу, счастье мое!» — со смехом отвечал ей возлюбленный.

«Давай подойдем к двери, — предложила Елена. — Ты молчи — говорить буду я. Любопытно знать, что-то он скажет. Может, его ответы будут еще забавнее, чем его вид». На цыпочках выйдя из комнаты, они приблизились к входной двери, и тут Елена, не отворяя ее, прильнула к замочной скважине и шепотом позвала студента.

Услыхав, что его зовут, и понадеявшись, что сейчас он войдет в помещение, студент мысленно возблагодарил бога. «Я здесь, сударыня, — подбежав к двери, проговорил он, — ради бога, отворите, я замерз!»

«Уж больно ты зябкий! — молвила Елена. — Какой же это холод — снегу-то ведь немного! В Париже куда больше бывает снегу! Я еще не могу тебе отворить — мой окаянный братец отужинал и не уходит. Но он скоро уйдет, и тогда я сейчас же отворю. Я от него еле вырвалась на секундочку, чтобы тебе не так томительно было ждать».

«Ах, сударыня! — возопил студент. — Отворите мне ради создателя, дайте побыть в тепле, — весь день бушевала вьюга, и сейчас еще метет, а в закрытом помещении я буду ждать сколько угодно».

«Не могу, голубчик, — сказала Елена, — дверь очень скрипучая, как бы братик не услышал, но я его сейчас выпровожу, приду и отворю».

«Пожалуйста, поскорей! — взмолился студент. — И вот еще что: будьте добры, прикажите развести пожарче огонь, а то я весь закоченел».

«Не может быть, — возразила Елена, — ведь ты же сам писал мне, что пылаешь ко мне любовью. Да нет, ты просто шутишь надо мной! Ну, я пойду, а ты жди и не падай духом». В восторге от этого разговора, любовник возвратился с Эленой в ее опочивальню, но только эту

ночь они почти не спали: все только миловались да посмеивались над студентом.

А несчастный студент щелкал зубами, как волк; он уже догадывался, что над ним смеются, пытался отворить дверь, искал другого выхода и, не находя, метался, как лев в клетке, проклиная и непогоду, и женское коварство, и ночи зимней долготу, а заодно и свою простоту. Он был так сердит на Элену, что его длительная и жаркая страсть внезапно превратилась в дикую, бешеную злобу, и он уже перебирал в уме разные способы мести, один другого страшнее, ибо мести он жаждал теперь сильней, нежели еще так недавно жаждал свидания со своею возлюбленною.

Ночь тянулась бесконечно долго, но все же уступила место дню, и когда стало светать, служанка, исполняя приказание своей госпожи, вышла во двор, отворила калитку и, изобразив на своем лице сочувствие, сказала студенту: «А, чтоб ему пусто было, вчерашнему нашему гостю! Мы из-за него всю ночь волновались, а ты тут мерзнул. Но только ты не горюй — что сорвалось нынче ночью, то не сорвется в другой раз. Моей госпоже это было так неприятно, так неприятно, уж ты мне поверь!»

У студента в душе все кипело, но он был человек рассудительный и прекрасно понимал, что угрозы — это оружие того, кто сам находится под угрозой, а потому предпочел затаить в груди слова, под действием неукротимого гнева рвавшиеся у него наружу. Не возвышая голоса и не показывая вида, что он озлоблен, студент ответил служанке: «Откровенно говоря, такой скверной ночи у меня еще не было, но я понимаю, что твоя госпожа несколько не виновата, тем более что она меня пожалела и приходила извиниться и подбодрить меня. Ты же сама говоришь: что сорвалось нынче ночью, то не сорвется в другой раз. Не забудь поклониться от меня своей госпоже. Ну, оставайся с богом!»

Скрючившись от холода, студент еле добрался до дому. Дома усталость и бессонная ночь сморили его, и он повалился на постель и заснул; когда же он проснулся, то ему показалось, что ни рук, ни ног у него нет. Тогда он послал за лекарем и, рассказав, как он продрог, попросил его принять меры. Лекари применили к нему средства сильные, действующие быстро, и все же им лишь по прошествии некоторого времени удалось привести его мышцы в такое состояние, что они вновь обрели способность сокращаться, а не будь он так молод и если б не наступила теплая погода, он бы еще намучился. Когда же он снова стал бодрым и свежим, то, глубоко запрятав свою ненависть, притворился, что никогда еще не был так влюблен в свою госпожу, как теперь.

И вот некоторое время спустя судьба представила ему возможность осуществить свое намерение. Молодой человек, которого любила вдова, презрел ее чувство и, прельстившись другою женщиною, выказывал по отношению к Элене совершенное равнодушие и холодность, отчего Элена скорбела и плакала не осушая глаз. Служанка очень жалела свою госпожу, но не знала, как рассеять ее тоску по изменившем ей возлюбленном.

Студент между тем все так же прохаживался под окнами Элены, и вот у служанки явилась безрассудная мысль: с помощью некромантии пробудить в бывшем любовнике прежнее чувство, студент же — думалось ей — должен быть великим мастером по некромантической части, и все эти свои домыслы служанка выложила госпоже. Ум у госпожи был короткий, и, не сообразив, что если б студент знал толк в некромантии, то, верно уж, воспользовался бы ею в своих целях, она вполне прониклась доводами служанки, велела ей переговорить со студентом и, в случае его согласия, дать ему твердое обещание, что, какой бы награды он себе за это ни попросил, желание его будет, дескать, исполнено.

Служанка выполнила поручение в точности и добросовестно. Выслушав ее, студент возрадовался. «Слава тебе, господи! — подумал о н . — Наконец-то пришло время с твоею помощью наказать подлую женщину, опозорившую меня в благодарность за мою великую к ней любовь». А служанке он сказал так: «Передай владычице моей души, чтобы она не печалилась: если б даже ее возлюбленный находился в Индии, я бы и оттуда немедленно вызвал его и заставил просить у нее прощения за то, что он так ее изобидел. А как ей надлежит действовать — об этом она от меня узнает, когда и где ей будет угодно. Так ты ей и передай и скажи, чтоб она не волновалась». Служанка сообщила его ответ госпоже, и Елена условилась встретиться со студентом в Санта Лючия дель Прато.

Когда Елена и студент пришли на свидание и начали беседовать наедине, Елена, забыв о том, что она чуть было его не заморозила, чистосердечно призналась ему во всем и попросила помочь ей, студент же ответил так: «Признаюсь, сударыня, в Париже я, между прочим, изучил и некромантию, — тайны ее мне о т к р ы т ы, — но занятие это богопротивное, и я дал клятву никогда не прибегать к ней ни ради себя, ни ради других. И все же я так вас люблю, что ни в чем не могу отказать вам, и если бы даже за одно это я угодил в пекло, все равно я исполню ваше желание. Но только я упреждаю вас, что некромантия — дело трудное, труднее, чем вы, вероятно, себе его представляете, особенно когда речь идет о том, чтобы заставить мужчину полюбить женщину или женщину заставить полюбить мужчину, потому что здесь нельзя обойтись без участия заинтересованного лица, и участнику надлежит быть неустрашимым, ибо это нужно проделать ночью, в уединении, без свидетелей, а я не знаю, способны ли вы на это».

«Ради любви я готова на все, лишь бы вернуть человека, который ни за что ни про что меня б р о с и л, — отвечала пылкая, но недалекая Э л е н а . — Ты только скажи мне на милость: в чем именно должна выразиться моя неустрашимость?»

Тут глаза у студента загорелись недобрым огнем. «Мне нужно будет, сударыня, изготовить оловянное изображение того человека, любовь которого вы желаете вернуть, — отвечал о н , — и вот, как скоро я пришлю вам его, вы должны ночью в первосонье, когда месяц будет уже не так ярко светить, раздеться догола, взять в руки изображение и семь раз

окупаться в проточную воду, а затем совершенно голой взлезть на дерево или на крышу нежилого дома и, повернувшись лицом к северу, с изображением в руке семь раз подряд произнести те несколько слов, которые я вам напишу. Когда же вы их произнесете, перед вами предстанут две девушки, писанные красавицы, поздороваются с вами и любезно спросят, в чем заключается ваше желание. Вы им на это вразумительно и подробно ответите, но только смотрите не назовите кого-нибудь другого. Девушки после этого удалятся, а вам тогда можно будет спуститься, одеться и вернуться домой. Ручаюсь вам, что в следующую же ночь придет ваш возлюбленный и будет со слезами каяться и просить у вас прощения, и больше он ни на кого вас не променяет».

Выслушав студента и всему поверив, Элена обрадовалась так, как будто мечта ее уже наполовину сбылась; ей казалось, что она снова держит любовника в своих объятиях. «Можешь не сомневаться, что я все исполню как нельзя лучше, тем более что у меня есть для этого полная возможность, — сказала она. — В Верхнем Вальдарно недалеко от реки расположена моя усадьба, а ведь сейчас июль — самое время для купанья. Помнится, там неподалеку от реки стоит необитаемая башенка; на вышку ведет приставная лестница из каштанового дерева, туда иной раз взбираются пастухи поглядеть, не видать ли где отбившейся от стада скотины, — место, как видишь, безлюдное и глухое. Туда-то я и заберусь и все, что ты мне велишь, отлично исполню».

Студент прекрасно знал эти места, знал и эту башенку; довольный тем, что Элена приняла твердое решение, он сказал ей: «Мне, сударыня, не приходилось бывать в тех краях, я не знаю ни ваших владений, ни башенки, но если все обстоит так, как вы говорите, то лучше и желать нечего. Итак, немного погодя я пришлю вам изображение и заклинание, но только очень прошу вас: как скоро желание ваше исполнится и вы уверитесь, что я сослужил вам службу, — вспомните тогда обо мне и слово свое сдержите». Элена сказала, что он может быть совершенно спокоен, и, простясь с ним, возвратилась домой.

Обрадованный тем, что замысел его близок к осуществлению, студент приготовил изображение, что-то на нем нацарапал, вместо заклинания написал какую-то чепуху, затем отослал и то и другое Элене и велел передать ей, чтобы она этого дела не откладывала: пусть, мол, нынче же ночью исполнит то, о чем у него был с ней разговор, а сам взял с собою слугу и, дабы насладиться плодами задуманного предприятия, отправился тайком к своему другу, жившему совсем близко от башенки.

Туда же направила путь и Элена со своей служанкой, и, когда наступила ночь, она сделала вид, что сейчас ляжет, а служанку уснула спать, и вот в первосонье крадучись вышла она из дому, пошла к башенке, что стояла на берегу Арно, и долго оглядывалась по сторонам, — кругом все тихо, нигде ни души; тогда она разделась, спрятала одежду под кустом, семь раз с изображением в руке окунулась, а затем, нагая, не выпуская из рук изображения, пошла к башенке. Студент со слугою

еще с вечера схоронился подле башенки среди ив и других деревьев, и он видел, как она окуналась; когда же она, сверкая во мраке ночи белизною своего обнаженного тела, прошла мимо него, он разглядел ее грудь, разглядел ее всю, восхитился тем, как прекрасно она сложена, и, подумав о том, что в самом непродолжительном времени с этим телом станется, ощутил нечто похожее на жалость, но тут же в нем заговорила плотская похоть и заставила нечто перейти из лежачего состояния в стоячее, так что студент готов был выскочить из засады, схватить Элену и удовлетворить свое желание, — словом, он был раздираем противоположными чувствами. Когда же он пришел в себя и вспомнил, как и за что его оскорбили, то снова вознегодовал и, подавив в себе и сострадание, и позывы плоти, решился во что бы то ни стало довести дело до конца и не остановил Элену. Элена взошла на башню и, повернувшись лицом к северу, начала произносить слова, которые он ей написал. Малое время спустя студент подкрался к башенке, незаметно убрал лестницу, ведущую на вышку, где сейчас находилась Элена, и начал за ней наблюдать.

Элена семь раз подряд сотворила заклинание и стала поджидать девушек, но прождала она их, дрожа от холода, до самой зари — девушки так и не появились. Огорченная тем, что предсказания студента не сбылись, она невольно подумала: «А не устроил ли он мне такую же ночь, какую я когда-то устроила ему? Если так, то это неудачная месть: нынешняя ночь втрое короче той, да и похолодней тогда было». Тут она решилась спуститься, чтобы день не застал ее на башне, и вдруг обнаружила, что лестницы нет. Перед глазами у нее все поплыло, сердце зашло, и она упала как подкошенная. Когда же она очнулась, то начала горько плакать и роптать на судьбу. Смекнув, что это дело рук студента, она стала упрекать себя в том, что напрасно обидела человека, а равно и в том, что доверилась этому человеку, которого не без основания должна была считать своим недругом. И так прошло много времени. Поглядев, нельзя ли каким-либо другим способом сойти с башни, но ничего утешительного не обнаружив, Элена пришла в отчаяние и снова заплакала и запричитала: «Горе тебе! Что скажут твои братья, твои родственники, соседи и все флорентийцы, когда узнают, что тебя нашли здесь нагою? Твое доброе имя было до сего дня незапятнанным, а теперь все станут говорить, что о тебе составилось ложное мнение. Если бы даже ты и попыталась как-нибудь вывернуться, что не так-то уж трудно, проклятый студент, которому все про тебя известно, выведет тебя на чистую воду. Нужно же уродиться такой несчастливой: одновременно утратить возлюбленного, которого ты полюбила на свою беду, и свое доброе имя!» Тут душевная ее мука достигла такой силы, что она чуть было не бросилась с башни.

В это время взошло солнце, и Элена, подойдя к краю вышки, посмотрела вокруг — не видать ли стада с подпаском, которого она могла бы послать за своей служанкой, но тут студент, вздремнувший под кустом, проснулся и увидел ее, а она его. «С добрым утром, сударыня! Ну как, приходили девушки?» — спросил он.

Увидав и услышав студента, Элена опять заплакала навзрыд и попросила его подойти к башне — ей-де нужно с ним поговорить. Студент в сем случае оказался достаточно любезен. Элена легла на пол, так что в проеме виднелась только ее голова, и со слезами заговорила: «Ты, Риньери, провел из-за меня мучительную ночь, но, право же, ты мне жестоко за нее отомстил: хотя сейчас июль месяц, но я думала, что замерзну; ведь я же совсем раздета. Притом я всю ночь проплакала оттого, что я тебя тогда обманула, и оттого, что имела глупость тебе поверить, — диву даюсь как я еще глаза не выплакала. Так вот, я обращаюсь к тебе с просьбой не ради любви ко мне — любить меня ты уже не можешь, я взываю к твоему благородству: удовлетворишь тем, что ты уже совершил, и больше не мсти. Вели принести мою одежду, чтобы мне можно было сойти с башни, и не отнимай у меня моего доброго имени — ведь ты при всем желании не сможешь мне его потом возвратить. В ту ночь я не позволила тебе побыть со мной — ну так я за одну ту ночь подарю тебе много ночей, стоит только тебе захотеть! Словом, удовольствуйся этим. Ты человек порядочный, так пусть же тебе будет довольно сознания, что ты сумел отомстить и дал мне это понять. Не издевайся над женщиной — победа над голубкой славы орлу не приносит. Ради бога и ради своей чести, смилуйся надо мной!»

Ожесточившийся студент, вновь и вновь вспоминая учиненную ему обиду, слушал плач ее и мольбу, и в душе у него боролись чувство удовлетворения и чувство жалости: удовлетворение доставляла месть, — мести он жаждал больше всего на свете, — меж тем как жалость внушало ему человеколюбие: оно пробуждало в нем сострадание к попавшей в беду. И все же человеколюбие не смогло вытеснить в нем злорадство, и он ответил ей так: «Элена! Если б мои жалобы, к которым я — уввы! — не сумел подбавить ни слез, ни меда, как это делаешь сейчас ты, тебя тронули и в ту ночь, когда я замерзал на твоём замеченном дворе, ты впустила меня хоть ненадолго погреться, то мне было бы нетрудно внять твоим жалобам ныне. Но раз тебе дорого твое доброе имя, — тогда ты, кстати сказать, так о нем не заботилась, — раз тебе неловко, что ты раздета, то воззови к тому, в чьих объятиях тебе не стыдно было голой лежать в ту памятную для тебя ночь, когда ты слышала, как я хожу по твоему двору, щелкая зубами и утапывая снег, — вот пусть он и придет тебе на помощь, пусть принесет одежду, пусть приставит лестницу, пусть позаботится о твоём добром имени, которое ты ради него и тогда, и во многих других случаях не задумываясь ставила на карту. Что же ты его не зовешь? Кому же еще и выручить тебя, как не этому человеку? Ты принадлежишь ему. Кого же он тогда охраняет и кого вызволяет, если не тебя? Позови же его, безрассудная женщина, и удостоверься, способна ли твоя любовь к нему, а также твоя изворотливость совместно с его изворотливостью избавить тебя от моего безумия, — ведь ты же, развлекаясь с ним, спрашивала, что сильнее — моя глупость или же твоя любовь к нему. И не предлагай мне то, чего я теперь не желаю и в чем ты все равно не могла бы мне отказать, если б я пожелал. Побереги ночи для любовника, если только тебе удастся выйти отсюда живой. Я вам их уступаю —

с меня довольно одной, раз поизмывались — и будет. Сейчас ты пытаешься меня растрогать, стараешься ко мне подольститься, нарочно толкуешь о моей порядочности, о моем благородстве, думаешь, как бы это ловчее воспользоваться моей добротой, чтобы я не наказывал тебя за твою подлость, но лести твоей не ослепить духовные мои очи, как ослепили их твои посулы. Теперь я закален; за все время моего пребывания в Париже я так не закалился, как в ту ночь — благодаря тебе. Положим даже, я выказал бы великодушие, но ведь ты этого не заслуживаешь: если бы меня просил человек, я бы, конечно, удовольствовался содеянным, но такие хищницы, как ты, должны искупать свои злодеяния только смертью, и только так должно отмщать им. Я не орел, но ведь и ты не голубка, ты ядовитая змея, и преследовать я тебя буду как исконного своего врага — со всею силою ненависти; впрочем, то, что я с тобой делаю, в сущности, нельзя назвать мстью — скорее, это наказание, ибо мсть должна быть сильнее оскорбления, а моя мсть — это не настоящая мсть: ведь если бы я захотел отомстить как должно, то, приняв в рассуждение, что ты со мной сделала, мне мало было бы лишить тебя ж и з н и , — да и не одну тебя, а сто таких, как ты, — потому что я умертвил бы всегонавсего скверную, гадкую, злую бабенку. Черт побери, если бы не твоя смазливая мордашка, которая очень скоро подурнеет, ибо годы избородят ее морщинами, то чем ты лучше ничтожной служанки? А из-за тебя чуть не умер, как ты сама меня только что назвала, порядочный человек; я могу за один день принести людям больше пользы, нежели сто тысяч таких, как ты, способны принести пользы до скончания века. Словом, я покажу тебе, как глумиться над людьми здравомыслящими, я покажу тебе, как глумиться над людьми просвещенными, я раз навсегда отучу тебя от таких безобразий, если только ты выживешь. Ну, а если тебе там невоготу, так что же ты не бросишься с башни? Коли, с божьей помощью, сломишь себе шею, то и себя избавишь от страданий и й , — а ты, как видно, в самом деле страдаешь, — и меня сделаешь счастливейшим человеком в мире. Больше я тебе ничего не скажу. Я сумел устроить так, что ты туда взобралась, — сумей же ты теперь устроить так, чтобы тебе можно было сойти, как сумела ты надо мной насмеяться».

Пока студент говорил, несчастная женщина утопала в слезах. А время шло, и солнце подымалось все выше. Когда же студент умолк, заговорила она: «Послушай, жестокосердый человек! Если тебе так дорого досталась та проклятая ночь и проступок мой представляется тебе столь ужасным, что тебя не трогают ни моя молодость, ни моя красота, ни горючие слезы, ни смиренные мольбы, то пусть тебя разжалобит и пусть смягчит неумолимую твою суровость то обстоятельство, что я вновь тебе доверилась и поведала все мои тайны, — ведь этим я дала тебе возможность пробудить мою совесть, ибо если бы я тебе не доверилась, ты не смог бы мне отомстить, а ведь ты, судя по всему, так жаждал мщения! Не гневишь, прости же меня наконец! Если ты меня простишь и вызволишь отсюда, я брошу ветреного моего юнца, и ты будешь единственным моим обожателем и обладателем, хотя ты и ни во что не ставишь мою красоту

и утврждаешь, что она недолговечна и не так уже обольстительна. Какова бы, впрочем, ни была моя красота, она, как и всякая женская красота, сколько мне известно, хоть тем одним ценна, что доставляет удовольствие, наслаждение и отраду молодым мужчинам, а ведь ты не стар. Хотя ты поступаешь со мною жестоко, я все же не могу допустить мысли, что ты жаждешь присутствовать при моей позорной смерти, что ты хочешь, чтобы я в отчаянии бросилась с башни у тебя на глазах, а ведь когда-то, сколько бы ты сейчас ни отпирался, взор твой пленился мною. Сжался надо мной ради бога и не мучай меня! Солнце припекает. Ночью я страдала от холода, а теперь мне жарко невмочь!»

Студенту доставляло удовольствие донимать Элену своими речами, и он заговорил снова: «Элена! Ты доверилась мне не по любви, а потому, что ты стремишься вернуть утраченное, — следственно, ты заслуживаешь еще более строгого наказания. И напрасно ты думаешь, что у меня была только одна возможность утолить желанную месть. В моем распоряжении было множество средств: притворяясь, что люблю тебя по-прежнему, я расставил вокруг тебя множество капканов, и если бы даже ты не попала в этот, то немного погодя непременно угодила бы в другой, и в других капканах тебе было бы еще хуже и еще стыднее; избрал же я именно этот не для того, чтобы облегчить твою участь, а потому, что из всех способов мести это наиболее забавный. Если бы даже все способы мести оказались мне недоступны, у меня осталось бы перо, и я написал бы о тебе столько и так, что, когда бы ты об этом узнала, — а не узнать ты бы никак не могла, — ты бы тысячу раз в день жалела о том, что родилась на свет божий. Сила пера несравненно сильнее, нежели думают люди, не имевшие случая удостовериться в том на опыте. Клянусь богом, — и да ниспошлет он моей мести столь же отрадный конец, сколь отрадное ниспослал ей начало, — я написал бы о тебе такие вещи, что, устыдившись не только других, но и себя самой, ты, лишь бы не видеть себя, вырвала бы себе глаза, — так не упрекай же море за то, что ручеек подбавил в него воды! Я уже сказал, что до твоей любви мне теперь нужды нет, обладать тобою я не хочу. Продолжай, если только тебе это удастся, жить со своим бывшим любовником, — прежде я его ненавидел, а теперь люблю — за то, как он с тобой обошелся. Вы, женщины, влюбляетесь в молодых и гоняетесь за ними, потому что у них цвет лица здоровее, борода чернее, потому что они на все горазды: и на балах красоваться, и на турнирах состязаться, хотя это отлично умеют и пожилые, у которых тем следовало бы еще поучиться. Кроме того, вы убеждены, что они лучше умеют ездить верхом и в день отмахивают больше, чем люди зрелого возраста. С этим я готов согласиться: в самом деле, нажаривать они мастаки, зато люди в годах, как более опытные, в отличие от них, хорошо разбираются, в чем самый смак. Лучше мало, да вкусно, чем много, да невкусно. Бешеная скачка утомляет и изматывает, а кто пойдет медленным шагом, — пусть даже это будет человек молодой, — тот достигнет цели хотя и позднее, да зато с меньшей затратой сил. Вы — неразумные твари, вам невдомек, сколько зла таит в себе мишурный блеск. Молодые люди никогда не довольствуются одною; сколько жен-

щин ни пройдет перед их взором — к каждой испытывают они вождеделение, ибо они уверены, что нет такой женщины, которой они не были бы достойны; вот почему их любовь не может быть постоянной, — теперь ты это узнала на собственном горьком опыте. Молодые люди полагают, что женщины обязаны угождать им, лелеять их, и ничем они так не любят хвастаться, как своими победами над женщинами, оттого-то многие женщины предпочитают монахов — те, по крайней мере, держат язык за зубами. Ты уверяешь, что о твоих сердечных делах не знал никто, кроме твоей служанки да меня, но ты заблуждаешься; напрасно ты так думаешь, если, впрочем, ты и вправду так думаешь. И в его и в твоём околотке только про вас и говорят, но чаще всего тот, кого эти разговоры касаются, узнает о них в последнюю очередь. В довершение всего молодые люди вас грабят, меж тем как люди пожилые одаряют. Словом, выбор твой плох, ну так и живи с тем, кому ты отдалась, а надо мной ты насмеялась — так не отнимай же меня у другой: я нашел женщину гораздо лучше тебя, она меня оценила — не то что ты! Словам моим ты не веришь, зато увидишь по глазам моим, как страстно я желаю, чтобы ты покончила с собой, — так вот, чтобы это последнее впечатление ты унесла с собой на тот свет, бросайся скорее вниз, и душа твоя, которая уже сейчас находится в когтях у дьявола (для меня это сомнению не подлежит), увидит, изменюсь ли я в лице, глядя на то, с какой головокружительной быстротою падаешь ты с башни наземь. Впрочем, я уверен, что ты меня этим не порадуешь; слушай же, что я тебе скажу: если солнце тебя прижгло, вспомни, как ты меня морозила, и если ты сравнишь сегодняшнюю жару с тогдашним холодом, то неминуемо придешь к заключению, что нынче не так еще жарко».

Доведенная до отчаяния Елена, видя, что все речи студента направлены к одной и той же бесчеловечной цели, снова залилась слезами. «Послушай! — сказала она. — Бессильна я разжалобить тебя, так сжался надо мной хотя бы из любви к той женщине: по твоим словам, она оказалась умнее меня, она тебя любит — прости же меня ради нее, принеси мне одежду и помоги спуститься».

Студент рассмеялся; было, однако, уже около десяти. «Ну вот теперь, — молвил студент, — раз ты просишь меня ради такой прелестной женщины, я не в силах тебе отказать. Скажи, где ты спрятала одежду, — я за ней схожу и помогу сойти».

Елена ему поверила, приободрилась и указала место, где лежала ее одежда. Студент велел слуге далеко не отходить и следить за тем, чтобы до его возвращения никто к башне не подходил, а сам пошел к приятелю, откушал у него в свое удовольствие, а после обеда лег отдохнуть.

Оставшись на башне, Елена, отчасти утешенная обманчивою надеждою и все же до крайности удрученная, села и, прислонившись к той части стены, которая давала хоть немного тени, предалась в ожидании горчайшим думам. Некоторое время она размышляла, тужила, то надеждой ласкалась, то снова разуверялась в том, что студент принесет ей одеяние, мысли у нее путались, и наконец, она, убитая горем, сморенная

бессонною ночью, уснула. Время близилось к полудню, солнце палило немилосердно, отвесные его лучи падали прямо на ее изнеженное, холерное тело и на непокрытую ее голову, отчего кожа на местах, обращенных к солнцу, была обожжена и вся, как есть, потрескалась. И так ее нажгло, что она хоть и крепко заснула, а не могла не проснуться. Почувствовав боль от ожогов, она пошевелилась, и тут ей показалось, будто вся ее сожженная кожа растрескалась и разлезлась, как разлезается опаленный лист пергамента — стоит только за него потянуть. Голова у нее раскалывалась, да и было отчего. Пол на вышке так накалился, что на нем невозможно было ни сидеть, ни стоять, и Элена, рыдая, все время перебежала с места на место. В довершение всего день был безветренный, и на вышку налетели тучи мух и слепней; они садились на голое ее тело и так больно кусали, что при каждом укусе ей представлялось, будто в нее вонзается копьё, и она все время от них отмахивалась и кляла себя, свое существование, своего любовника и студента. Истомленная, истерзанная, мучимая несветимой жарой, солнечными лучами, мухами, слепнями, голодом и, в еще большей степени, жаждой, а помимо всего прочего — роем докучных мыслей, она решилась позвать на помощь, что бы из этого ни вышло, и, в надежде увидеть кого-нибудь поблизости или же услышать человеческий голос, вытянулась во весь рост. Однако враждебный рок отнял у нее и эту надежду. Крестьяне из-за жары вынуждены были приостановить полевые работы, — каждый возле своего дома занялся мольбой. Элена слышала только треск цикад, а видела Арно, и когда она смотрела на его катившиеся волны, жажда в ней не только не уменьшалась, но, напротив того, усиливалась. А кругом виднелись тенистые рощи, усадьбы и манили ее к себе. Что еще вам сказать про несчастную женщину? Палящее солнце, раскалившийся пол вышки, укусы слепней и мух обезобразили ее; еще так недавно белизна ее тела побеждала ночную тьму, а теперь она была вся красная, как мареновая краска, вся в крови, так что на нее страшно было смотреть.

Уже не чая, что кто-нибудь ее вызволит, она больше всего хотела умереть. Наконец в половине второго проснулся студент, вспомнил про Элену и пошел посмотреть, что с ней, голодного же своего слугу отпустил поесть. Услышав, что он пришел, изнемогшая и истрадавшаяся Элена приблизилась к проему, села и, плача, заговорила: «Риньери! Месть твоя превосходит всякую меру: я проморозила тебя ночью на дворе, ты же днем меня жарить, вернее — сжигаешь, на башне, да еще не даешь ни пить, ни есть. Ради самого Христа, поднимись на вышку! У меня не хватает силы духа покончить с собой, вот я и обращаюсь к тебе с мольбою: прикончи меня! Я так страдаю, так мучаюсь, что смерть для меня теперь желанный исход. Если же ты не соизволишь явить мне эту милость, то прикажи, по крайней мере, подать мне воды, чтобы я могла омочить уста, а то слез у меня для этого не хватает — так пересохло во рту и так все горит внутри».

Студент понял по ее голосу, как она ослабела, в проем ему было видно, как обожгло ее солнце, и он, тронутый самым звуком ее голоса, тем, во что она превратилась, равно как и униженною ее мольбою, по-

чувствовал к ней что-то похожее на сострадание, и все же обратился он к ней с такими словами: «Нет, злодейка, коли хочешь, сама накладывай на себя руки — от моей руки ты не умрешь, а напьешься ты у меня так же, как я у тебя согрелся. Только вот что меня огорчает: к отмороженным местам мне пришлось прикладывать теплый вонючий навоз, а твои ожоги уврачует прохладная и душистая розовая вода; я чуть не умер от заражения крови, ты же сменишь кожу, подобно змее, и останешься такою же красавицею, как прежде».

«Красота досталась мне на горе! — воскликнула Э л е н а . — Только лютым моим врагам могу я пожелать красоты. А ты — ты свирепее дикого зверя: как у тебя хватает жестокости так меня мучить? Как же ты поступил бы со мною, если б по моему хотению все родные твои погибли в лютых мученьях? Можно ли было бы изобрести для изменника, по вине которого разрушен целый город, более мучительную казнь, нежели та, какой ты обрек меня, заставив жечься на солнце и отдав на съедение гнусу? Этого мало: ты не дал мне воды, а ведь даже убийцам, когда их ведут на казнь, не отказывают в вине, сколько бы раз они ни попросили. Я вижу, ты непреклонен в неумолимой своей жестокости, пытки, которые я терплю, тебя не трогают, — ну что ж, я покорно буду ждать смерти, и да спасет господь мою душу! Молю его о том, чтобы он обратил всеправедный взор свой на то, что делаешь ты со мною». Произнеся эти слова, она, в отчаянии, полагая, что ей все равно уже не спастись от палящего солнца, с превеликим трудом отползла на середину вышки. Много раз ей казалось, что она вот сейчас умрет от жажды или от нестерпимой муки, и, ропща на свою долю, она громко и неутешно рыдала.

Вечером, однако ж, студент решил, что с него довольно; приказав слуге взять ее одежду и завернуть в плащ, он направился к дому несчастной женщины и увидел на пороге служанку: печальная, унылая, она пребывала в крайней растерянности. «А что, голубушка, не скажешь ли, где твоя госпожа?» — спросил он.

«Не знаю, м е с с е р , — отвечала с л у ж а н к а . — Я была уверена, что поутру застану ее в постели, — вечером я видела, как она ложилась, — но нигде ее не нашла. Не понимаю, что с ней могло случиться, с ума схожу от беспокойства. А вы, мессер, ничего о ней не знаете?»

«Жаль, что и ты вместе с нею не попала в ловушку, — я бы и тебе отомстил! — ответил ей на это студент . — Но ты от меня не уйдешь, я тебе отплачу за твои проделки, дабы впредь всякий раз, когда тебе придется охота одурачить мужчину, ты меня вспоминала». Тут он обратился к слуге: «Отдай ей одежду и скажи, что коли она хочет, то может идти за госпожой».

Слуга так и сделал. Служанка убедилась, что это точно одежда ее госпожи, а все, что она сейчас услышала, навело ее на мысль, не убита ли госпожа, и она чуть не вскрикнула от ужаса. Когда же студент ушел, она зарыдала и бросилась бежать к башне.

В тот день одному из работников Элены не повезло: он потерял двух свиней. Долго он разыскивал их, всюду шарил глазами и наконец,

вскоре после того как студент оставил Элену одну, приблизился к той самой башенке и, услышав жалобный плач несчастной женщины, постарался как можно выше подпрыгнуть. «Кто это там плачет?» — крикнул он.

Элена сейчас узнала голос работника. «Пойди к моей служанке и позови ее», — назвав его по имени, сказала она.

Работник понял, что это его госпожа. «Ах, боже мой! — воскликнул он. — Как вы туда попали? Служанка целый день вас ищет, да разве ей могло прийти в голову, что вы там?»

Он взял лестницу и, приставив к башне, начал при помощи веток укреплять перекладыны. Тут прибежала служанка, всплеснула руками и, не в силах долее сдерживаться, запричитала: «Ах, да что же это? Ненаглядная моя госпожа, где вы?»

Элена постаралась как можно громче крикнуть: «Я здесь, моя милая, на вышке! Не плачь, подай мне скорее одежду!»

Служанка узнала ее по голосу, и это придало ей бодрости; когда же она с помощью работника поднялась по лестнице, которую он к этому времени почти привел в порядок, и увидела, что ее госпожа, истерзанная, похожая на обгорелый пень, лежит, нагая, изнемогая, на раскаленном полу, то заголосила над ней, как над покойницей, и начала царапать себе лицо. Элена, однако ж, умолила ее не плакать и помочь ей одеться. Узнав, что, кроме студента, его слуги да еще работника, никому не известно, где она пробыла это время, она несколько успокоилась и попросила служанку и работника ради всего святого никому ничего не рассказывать. После того как они обо всем переговорили, работник посадил госпожу к себе на закорки, — идти она была не в состоянии, — и благополучно спустился со своею ношей. А бедная служанка, спускавшаяся следом за ними, но не так осторожно, поскользнулась, полетела с лестницы наземь, сломала себе бедро и взвыла от боли. Работник положил Элену на траву и пошел посмотреть, что со служанкой; увидев, что у нее перелом бедра, он взял ее на руки и положил рядом с Эленой. Как скоро Элена уверилась, что случилась новая беда, что та, на кого она надеялась больше, чем на кого-либо еще, сломала себе бедро, то пришла в совершенное отчаяние и так горько заплакала, что работник, тщетно пытавшийся ее утешить, в конце концов сам заплакал. Солнце уже склонялось к закату, и, чтобы ночь их тут не застала, он по просьбе удрученной госпожи пошел домой, позвал двух своих братьев, жену и захватил с собой доску; братья положили служанку на доску и перенесли в дом. Работник как мог ободрил Элену, дал ей холодной воды, а затем снова посадил на закорки и отнес к ней в спальню. Работникова жена дала ей поесть, раздела и уложила, а затем они оба распорядились, чтобы госпожу и служанку ночью доставили во Флоренцию, что и было исполнено.

Будучи изворотливой на диво, Элена сочинила про себя и служанку целую историю, нимало не похожую на то, что с ними случилось на самом деле, и уверила братьев своих, сестер и всех прочих, что все это дьявольские козни. Элена долго мучилась и страдала, постельное белье беспрестанно прилипало к ее телу, и его приходилось отдирать вместе с кожей,

но в конце концов лекари вылечили ее и от злой лихорадки, и от всех прочих болей, а служанке вылечили бедро. Елена после этого забыла и думать о своем любовнике и благоразумно остерегалась влюбляться и издеваться. А студент, услышав, что служанка сломала себе бедро, решил, что он за все отплатил сполна, на том успокоился и никому ничего не сказал.

Так вот как досталось безрассудной молодой женщине, вздумавшей подшутить над студентом, как она подшутила бы над всяким другим, и не знавшей, что студентам — правда, не всем, но большинству — палец в рот не клади. А потому, милостивые государыни, не шутите, в особенности — над студентами.





*Двое мужчин дружат между собой;
один из них сходится с женой другого;
узнав о том, обманутый муж подстраивает так,
что тот сидит в запертом сундуке,
а он в это время полеживает на сундуке с его женой*



яжело и горестно было дамам слушать о злоключениях Элены, но так как она их отчасти заслужила, то дамы хоть и пожалели ее, но не очень, а студент, по их мнению, выказал неумолимую, чрезмерную суровость, вернее сказать — жестокость. Как же скоро Пампиней окончила свою повесть, королева предложила начать Фьямметте, и Фьямметта с радостью ей повиновалась.

— Очаровательные дамы! — сказала она. — Сдается мне, что свирепость оскорбленного студента потрясла вас, а потому я почитаю за нужное чем-нибудь забавным успокоить возмущенный ваш дух: я хочу рассказать вам про одного молодого человека, который добродушнее отнесся к причиненной ему обиде и не так жестоко за нее отомстил. Из моего рассказа вам станет ясно, что должно откликаться только так, как тебе аукнули, и что негоже человеку, задумавшему отомстить за нанесенное ему оскорбление, в ответном оскорблении превышать меру возмездия.

Итак, надобно вам знать, что в Сиене, как я слыхала, жили-были два молодых человека из богатых и благородных семей; одного из них звали Спинеллоччо Тавена, а другого — Дзеппа ди Мино; оба проживали в Камоллии, по соседству. Молодые люди между собой дружили и любили друг друга братской любовью; оба были женаты на красавицах. Случилось, однако ж, так, что Спинеллоччо, часто бывавший у Дзеппы как при нем, так и в его отсутствие, сошелся с его женой ближе некуда. И так это у них продолжалось довольно долго, и никто до поры до времени ничего не замечал. Но вот как-то раз, когда Дзеппа сидел дома, а жена об этом не знала, Спинеллоччо окликнул его с улицы. Жена сказала, что его

нет; тогда Спинеллоччо взбежал наверх и, уверясь, что его возлюбленная — одна, давай обнимать ее и целовать, а она его. Дзеппа все это видел, но не сказал ни слова и притаился: ему хотелось посмотреть, чем их шалости кончатся. И вот не в долгом времени видит он, что его жена и Спинеллоччо проходят, обнявшись, к ней в спальню и запираются, и это его до глубины души возмутило. Рассудив, однако же, что если поднять шум и все такое прочее, то нанесенное ему оскорбление от этого меньше не станет, а вот сраму не оберешься, он стал думать, нельзя ли отомстить таким образом, чтобы про это никто не узнал, а душа его была бы довольна.

После долгих размышлений он таковой способ сыскал и пробыв в своем тайнике все время, пока Спинеллоччо находился у его жены.

Стоило, однако же, Спинеллоччо отправиться восвояси, и Дзеппа был уже тут как тут, так что жена не успела надеть покрывало, которое Спинеллоччо, резвясь, сорвал у нее с головы. «Ты что же это делаешь, жена?» — спросил Дзеппа.

«А ты разве не видишь?» — сказала жена.

«Как же не видеть, — отвечал Дзеппа, — и еще я видел нечто такое, на что глаза бы мои не глядели!» И тут он начал пушить ее, а она со страху долго виляла, но в конце концов под тяжестью улик принуждена была сознаться, что находится со Спинеллоччо в близких отношениях, и стала со слезами просить у мужа прощения.

А Дзеппа ей на это сказал: «Ну, так вот, жена, ты поступила дурно, но если хочешь, чтобы я тебя простил, исполни в точности все, что я тебе велю, а именно: скажи завтра Спинеллоччо, чтоб он в десятом часу утра под каким-нибудь предлогом от меня ушел и зашел к тебе. А тут и я поднимусь наверх, и как скоро ты услышишь мои шаги, то вели ему влезть в сундук, а сундук запри, я же тебе потом скажу, что делать дальше. Только ты не бойся — даю слово, что ничего ему не сделаю». Чтобы умаслить супруга, жена дала обещание и все исполнила.

На другое утро, в десятом часу, Дзеппа и Спинеллоччо сидели вдвоем, и вдруг Спинеллоччо, обещавший жене Дзеппы в это время прийти к ней, говорит Дзеппе: «Я нынче обедаю с приятелем — неудобно заставлять его ждать. Ну, пока до свиданья!»

«Да ведь до обеда еще далеко», — заметил Дзеппа.

«Обед-то обед, но я еще хочу поговорить с ним об одном деле, — возразил Спинеллоччо, — так что мне нужно быть у него пораньше».

Уйдя от Дзеппы, Спинеллоччо сделал круг и пробрался к его жене, но не успели они войти в ее спальню, как послышались шаги Дзеппы. Тут жена, сделав вид, что перепугалась насмерть, велела Спинеллоччо лезть в сундук, о котором толковал ей муж, заперла его в сундуке и вышла из спальни.

«А не пора ли обедать, жена?» — поднявшись наверх, спросил Дзеппа.

«Ито правда», — молвила жена.

«Спинеллоччо пошел обедать к приятелю, а жена осталась дома, — продолжал Дзеппа. — Выгляни в окошко и позови ее к нам обедать».

Жена Дзеппы, боявшаяся за себя, а потому ставшая весьма послушной, исполнила приказание мужа. Жена Спинеллоччо, узнав от жены Дзеппы, что Спинеллоччо дома не обедает, сдалась на уговоры и пришла. Дзеппа встретил жену своего друга как нельзя более радушно и, шепнув жене, чтобы она шла на кухню, взял гостью на правах дружбы за руку и повел в спальню, а войдя, запер за собою дверь. Видя, что Дзеппа запирает дверь, жена Спинеллоччо воскликнула: «Ой, Дзеппа, ты что же это? Так вот для чего ты меня звал? Вот как ты любишь Спинеллоччо, вот какой верный ты ему друг?»

Тут Дзеппа приблизился к сундуку, где был заперт ее муж, и, все так же крепко держа ее за руку, молвил: «Прежде чем гневаться, послушай, дорогая, что я тебе скажу. Я любил и люблю Спинеллоччо как брата, однако ж вчера я убедился, хотя он об этом и не подозревает, что он, воспользовавшись моим безграничным к нему доверием, стал так же точно близок с моей женой, как с тобой. Но я его люблю, а потому намерен отплатить ему тем же, и не более того: он обладал моей женой, а я хочу обладать тобою. Если же ты на это не пойдешь, все равно он так или иначе узнает, что я застал его на месте преступления; спускать же ему я не собираюсь: я так его уважу, что вы оба не обрадуетесь».

Долго еще Дзеппа ее убеждал, но в конце концов она ему поверила и сказала: «Милый Дзеппа! Коль скоро вину моего мужа надлежит искупить мне — что ж, я согласна, но только дай мне честное слово, что то, что у нас с тобой должно сейчас произойти, не испортит моих отношений с твоей женой — я хочу по-прежнему быть с нею в ладу, несмотря на то зло, которое она мне причинила».

«Я непременно все улажу, — обещал ей Дзеппа, — а кроме того, подарю тебе красивую, дорогую вещичку — у тебя такой нет». Тут он обнял ее, расцеловал, а затем, положив на сундук, в котором был заперт ее муж, позабавился с ней в свое удовольствие, а она с ним — в свое.

Спинеллоччо, сидя в сундуке, слышал от слова до слова все, что говорил Дзеппа, слышал, что его жена ответила Дзеппе согласием, и, наконец, услышал у себя над головой буйную пляску, от каковой ему долгое время было так тошно — прямо хоть помирай, и если б он не боялся Дзеппы, то из своего заключения послал бы немало проклятий подлянке жене. Вспомнив, однако ж, что первый-то поступил подло не кто иной, как он, Спинеллоччо, что у Дзеппы были основания действовать именно так, как он сейчас и действовал, и что Дзеппа еще обошелся с ним по-человечески, по-товарищески, Спинеллоччо решил, что с этого дня, если только Дзеппа с ним не порвет, он будет с ним еще дружнее.

Дзеппа между тем провел с чужой женой столько времени, сколько ему хотелось, а потом слез с сундука; когда же она спросила Дзеппу, где обещанная вещица, Дзеппа отворил дверь и велел своей жене войти, а та сказала: «Сударыня! Вы мне отплатили тою же монетой», — но сказала она это, смеясь.

«Отопри-ка сундук», — молвил тут Дзеппа, а когда жена Дзеппы отперла сундук, Дзеппа показал жене Спинеллоччо ее супруга.



Кому было стыднее: Спинеллоччо, который, зная, что Дзеппе все известно, в сей миг увидел его, или жене Спинеллоччо, которая, зная, что муж слышал и чувствовал все, что творилось над самой его головой, в сей миг увидела е г о , — об этом долго рассказывать.

Тут Дзеппа сказал ей: «Вот эту драгоценную вещицу я вам и дарю». Спинеллоччо вылез из сундука и, не вступая в пререкания, сказал: «Вот и хорошо, Дзеппа! Теперь мы с тобой в расчете — так, по крайности, ты сам говорил моей жене, и будем мы опять друзьями, а коль скоро у нас все общее, кроме жен, то пусть и жены будут общие».

Дзеппе это пришлось по нраву, и все четверо в мире и согласии сели обедать. И с тех пор у каждой из двух жен стало два мужа, а у каждого из мужей — две жены, и ни разу не вышло у них из-за этого ни ссоры, ни драки.





*Доктору Симоне захотелось корсарить;
Бруно и Буффальмакко подговаривают его пойти ночью в указанное ими место;
Буффальмакко бросает его в яму с нечистотами и там оставляет*



осле того как дамы, коих любопытство возбудили общие жены двух сиенцев, об этом потолковали, королева, — а, кроме нее, больше некому было рассказывать, — порешила не отнимать у Дионео предоставленной ему льготы и начала так:

— Любезные дамы! Спинеллоччо вполне заслужил штуку, которую с ним вытворил Дзеппа; вот почему, в противоположность Пампинею, тщившейся доказать обратное, я утверждаю, что не следует строго судить того, кто смеется над человеком, который сам на это напрашивается или же этого заслуживает. Спинеллоччо заслужил глумление; я же хочу рассказать о человеке, который напросился на издевательства, причем, по моему разумению, те, что над ним потешились, заслуживают не порицания, но одобрения. Человек, с которым произошел такой случай, был врач, приехавший во Флоренцию из Болоньи баран бараном, хотя и в мантии на беличьем меху.

Мы с вами каждый день видим такую картину: наши сограждане возвращаются из Болоньи кто — судьей, кто — лекарем, кто — нотариусом, разряженные и разубранные, в пурпуровых, подбитых беличьим мехом, длинных и широких мантиях; что же касается того, соответствует ли наружный вид этих людей их способностям, — это мы с вами также имеем возможность наблюдать каждый день. К их числу принадлежал недавно к нам прибывший и поселившийся на улице, которая теперь называется Виа дель Кокомо, носивший пурпуровую мантию и широкий капюшон доктор медицины, — так, по крайности, он сам себя величал, хотя если и мог чем похвастаться, то уж никак не познаниями, а лишь

доставшимся ему от отца богатым наследством, — некто Симоне да Вилла. У этого самого, как я уже сказала, вновь к нам прибывшего Симоне было много примечательных привычек, и, между прочим, такая: он имел обыкновение расспрашивать всякого, кто бы с ним ни находился, про всех прохожих, кого бы он ни увидел, и так он их разглядывал и так за ними наблюдал, как будто он изготовлял лекарства из человеческих поступков. Всех более обращали на себя его внимание те два живописца, о коих у нас сегодня дважды шла речь, а именно — жившие с ним по соседству неразлучные друзья Бруно и Буффальмакко. Симоне составил себе мнение, что у них нет иных забот и хлопот, кроме как повеселиться. Он всех и каждого про них расспрашивал и неизменно получал ответ, что они люди бедные, живописцы; он же держался того взгляда, что бедняку не до веселья, а так как он слышал, что они люди хитроумные, то вообразил, что они, уж верно, здорово наживаются на чем-нибудь таком, чего никто и не подозревает, и ему захотелось поближе познакомиться, по возможности, с обоими или уж, по крайности, с кем-нибудь одним, и вот наконец он познакомился с Бруно. После нескольких встреч Бруно пришел к заключению, что лекарь — болван, и с особым удовольствием стал потешаться над его из ряда вон выходящею бестолковостью, лекарь же души не чаял в Бруно. Несколько раз пригласив его к обеду, лекарь решил, что теперь они уже достаточно сблизились и он имеет право поговорить с Бруно откровенно, а потому однажды изъясил удивление по поводу того, что Бруно и Буффальмакко, будучи людьми небогатыми, так весело живут, и попросил объяснить ему, в чем тут секрет.

Вопрос этот показался Бруно одним из самых нелепых, одним из самых дурацких, какие когда-либо задавал ему лекарь, и, придя в веселое расположение духа, он вознамерился на глупость ответить глупостью.

«Сию тайну, доктор, я открыл бы немногим, — начал он, — а вот вам открою охотно: вы мой друг, я знаю, что вы не проговоритесь. Да, нам живется хорошо, весело, еще веселей, нежели вам кажется. Того, что нам дает наше ремесло, и доходов, которые мы получаем с наших именишек, нам не хватило бы расплатиться даже за воду. Не думайте, однако ж, что мы в о р ы, — мы — корсары, и корсарством мы безо всякого ущерба для других добываем все, что нам необходимо, и все, что нас может порадовать. Вот отчего мы, как видите, живем весело».

Подивился лекарь тому, что услышал от Бруно, однако поверить поверил, а так как сути дела он не уразумел, то и загорелся желанием узнать, что такое корсарство, и пообещал никому ничего не говорить.

«Ах, доктор, о чем вы меня просите! — воскликнул Бруно. — Вы хотите, чтобы я поведал вам великую тайну. Да ведь если кто про это узнает, меня в порошок сотрут, со свету сживут, я попаду в пасть к Люциферу — тому самому, что намалеван снаружи в Сан Галло. Однако ж я проникся таким уважением к вашей ложной, то бишь непреложной учености и такое доверие вы мне внушаете, что я ни в чем не могу отказать вам. Коротко говоря, я открою вам тайну, но с условием: поклянитесь монтезонским распятием, что исполните данное обещание и никому ничего не скажете».

Доктор поклялся.

«Итак, да будет вам известно, достопочтеннейший доктор, — продолжал Бруно, — что в нашем городе недавно проживал великий некромант по имени Майкл Скотт, выходец из Шотландии, пользовавшийся особым уважением у знатных людей, из коих лишь немногие дожили до нашего времени. Задумав от нас уехать, Майкл Скотт, уступая их настойчивым просьбам, оставил здесь двух своих выдающихся учеников и наказал им исполнять любые желания тех знатных людей, которые так его чтили. Ученики Скотта с неизменной готовностью оказывали тем людям услуги как в сердечных, так и во всех прочих делишках. И самый город, и обычаи местных жителей пришлось Скоттовым ученикам по душе, и они порешили остаться здесь навсегда и с некоторыми из них сблизилась и подружилась; при этом они не смотрели, знатные то люди или не знатные, богатые или бедные — обращали они внимание только на сходство нравов. В угоду друзьям своим они образовали кружок человек в двадцать пять, коим надлежало собираться в определенном месте, по крайней мере, раз в месяц. На этом сборище каждый имел право выразить свое желание, и они в ту же ночь его исполняли. Мы с Буффальмакко особенно с ними сблизилась и подружилась, и они приняли нас в это общество, в коем мы состоим и теперь. Когда мы собираемся, то, скажу по чести, любо бывает смотреть на ковры, коими увешаны стены залы, где мы пируем, на столы, сервированные по-царски, на множество осанистых и красивых слуг и служанок, за каждым из нас ухаживающих, на тазы, кувшины, бутылки, кубки и другую посуду, как серебряную, так и золотую, из коей мы едим и пьем, и, наконец, на многоразличные яства, приготовленные на все вкусы и в определенном порядке подаваемые. Я слов довольно не имею, дабы описать, какого рода и сколь приятны услаждающие наш слух звуки бесчисленных музыкальных инструментов, дабы описать мелодичное пение, равно как не могу сосчитать, сколько свечей сторает за каждым ужином, сколько мы съедаем сластей и сколько выпиваем дорогих вин. Только, пожалуйста, не думайте, многоученейший друг мой, что мы там сидим в том платье и одеянии, в каком вы можете видеть нас ежедневно. Даже того, кто одет беднее нас всех, за ужином вы приняли бы за императора — такое на нас там богатое убранство и так мы там унижены драгоценностями. Однако же самая большая для нас услада — это красивые женщины; их доставляют со всех концов света, стоит нам только изъявить желание. Там вы можете видеть повелительницу барбаникков, царицу басков, жену султана, жену хана Осбека, белибердиню Норвежскую, ерундизу Чепухуболтайскую и вздормолотительницу Тарабарскую. Всех не перечислишь. Словом сказать, там бывают все царицы мира, даже фиглимигия пресвитера Иоанна. Слушайте дальше! После того как все выпьют, закусят сластями, танца два станцуют, каждая из этих женщин идет в комнату мужчины, который ее сюда вызвал. Комнаты эти, к вашему сведению, рай да и только, до того они красивы, а пахнет там не хуже, чем у вас в аптеке, когда по вашему распоряжению толкут тмин. А кровати, на которых они возлежат, наряднее, чем у дожа венецианского. Можете себе представить, с каким великим

проворством вставляются там утки в челноки, а нити основы насаживаются на крючки! Однако же из всех, кто там бывает, наибольшие счастливы — это мы с Буффальмакко, потому что Буффальмакко чаще всего вызывает сюда королеву французскую, а я — королеву английскую, то есть первых красавиц в мире, и они на нас глядят — не наглядятся. Так вот, приняв в рассуждение, что нас любят королевы, да еще такие, вы без труда поймете, почему мы можем и должны жить и ходить веселее других. Ну, а помимо всего прочего, ежели кому-нибудь из нас понадобятся тысчонки две флоринов, то их нам мигом дадут... выкусить.

Вот это у нас в просторечии и называется корсарить. Корсары грабят кого придется, так же точно и мы, с тою, однако же, разницей, что корсары не возвращают добычи, а мы, попользовавшись, возвращаем. Теперь вам, д-осто-й-лопнейший друг мой, ясно, что значит корсарить? Сами понимаете, какая это важная тайна. Больше я вам ничего не скажу — лучше не просите».

Ученость доктора, по-видимому, не простиралась дальше лечения малых ребят от коросты, а потому он принял рассказ Бруно за непре-рекаемую истину, и теперь ему ничего так не хотелось, как вступить в это общество. Он сказал, что его уже не удивляет веселое расположение духа, в каком постоянно пребывают Бруно и Буффальмакко, но попросить принять его в члены общества пока не решился, хотя ему стоило изрядных усилий об этом не заговорить; он полагал, что ему надлежит снискать у них еще большее уважение, и тогда уже он будет действовать наверняка. Рассудив таким образом, доктор стал еще чаще видаться с Бруно, и утром и вечером звал его на угощение и выказывал ему все знаки приязни необыкновенной. Можно было подумать, что доктор не может без Бруно жить и дышать — так часто и так подолгу они виделись.

Бруно, по-видимому, был очень этому рад, а чтобы отплатить доктору за его благорасположение, он в его зале нарисовал Пост, над дверью в спальню — *Agnus Dei*¹, над входной дверью — урильник, дабы желающие посоветоваться с доктором скорей находили его жилище, на терраске же изобразил войну мышей и кошек, чем привел доктора в восторг неопишущий. А за ужином он нет-нет да и вставит: «Нынче я был в нашем обществе. Королева английская мне, признаться сказать, надое-ла, и я вызвал галиматицу великого хана Алтарисского».

«Что такое галиматица? — спросил доктор. — Я в этих названиях не разбираюсь».

«Ах, доктор, в этом ничего удивительного нет! — возразил Бруно. — Сколько мне известно, ни Конокрад, ни Набивайцены этих лиц не упоминают».

«То есть, Гиппократ и Авиценна?» — спросил доктор.

«А я почем знаю? — молвил Бруно. — Я в ваших именах так же мало смыслу, как вы в моих титулах. Галиматица же на языке великого хана

¹ Агнец божий (лат.).

означает *императрица*. Да уж, смею вас уверить: этакая милашечка вам бы приглянулась — с ней вы бы позабыли и лекарства, и клистиры, и пластыри».

Такие разговоры время от времени вел Бруно с доктором, чтобы еще больше его распалить, и вот как-то вечером доктор, допоздна светивший Бруно, который в это время малевал войну мышей и кошек, разоткровенничался с ним, ибо он был совершенно уверен, что обласканный им Бруно всецело ему предан. Они были сейчас одни, и доктор ему сказал: «Нет на свете человека, Бруно, для которого я так же охотно сделал бы что угодно, как для тебя, ей-богу! Даже если б ты меня послал в Перетолу, и то я бы, наверно, пошел. Так не удивляйся же, что я по-дружески, доверительно обращаюсь к тебе с просьбой. Ты, конечно, помнишь, что совсем недавно ты рассказывал мне о нравах веселого вашего общества, и мне, вынь да положь, захотелось в него вступить. И у меня есть на то особая причина, в чем ты удостоверись, как скоро мне удастся войти в ваше общество. Можешь поднять меня на смех, если я не вызову туда красавицу — ты такой давно не видал, а я увидел ее в прошлом году в Какавинчильи и с первого взгляда влюбился. Клянусь телом Христовым, я предлагал ей десять болонских монет за то, чтоб она со мной поладила, но она отказалась. Вот я и обращаюсь к тебе с просьбой: научи меня, если можно, как мне в ваше общество проникнуть, ты же, со своей стороны, порадей мне и поспособствуй, а во мне члены общества найдут доброго и верного друга. Самое главное, я мужчина красивый, бравый, цветущий, да к тому же еще доктор медицины, — а у вас там докторов, наверно, нет, — я знаю много всяких любопытных вещей, знаю много славных песенок. Сейчас я тебе спою». И тут он взял да и запел.

Бруно стоило огромного труда удержаться от смеха. «Ну как?» — допев песню, спросил доктор.

«По чести скажу: сорговые свирели не идут ни в какое сравнение с вашим голосом — до того искусно вы дерете горло», — отвечал Бруно.

«Если б ты своими ушами не слышал, никому бы, поди, не поверил», — заметил доктор.

«Разумеется!» — подтвердил Бруно.

«Я много песен знаю, но это как-нибудь в другой раз, — сказал доктор. — Так вот я каков! Отец мой был человек знатный, хотя жил в пригороде, а мать из рода Валецкьо. Сколько тебе известно, ни у кого из флорентийских врачей нет таких хороших книг и таких красивых нарядов, как у меня. Некоторые мои наряды, если всё как следует подсчитать, стоили мне назад тому более десяти лет, сказать тебе — не соврать, примерно сто лир мелочью. Так вот, я прошу тебя: введи меня, ради бога, в ваше общество, а я обязуюсь не брать с тебя ни гроша — более сколько хочешь».

Выслушав его, Бруно укрепился во мнении, что доктор — набитый дурак. «Посветите мне вот сюда, доктор, — сказал он. — Потерпите немного: я только дорисую хвосты вот этим мышам, а потом мы с вами поговорим».

Как скоро хвосты были готовы, Бруно сделал вид, будто крайне озадачен его просьбой. «Доктор, миленький! — сказал он. — Я знаю, что вы мой благодетель, но вы меня просите о таком одолжении, которое вам-то, может, кажется пустяковым, потому что вы человек великого ума, а для меня ваша просьба непосильна. Если б у меня была хоть какая-нибудь возможность, я бы сделал это только для вас, и больше ни для кого, потому что я вас очень люблю, да и говорите вы до того красно, что под вашу дудку всякий заплашет. Чем больше я с вами общаюсь, тем больше дивлюсь вашей мудрости. И потом я бы уж за одно то вам помог, что вы влюбились в такую красотку. Да вот беда: напрасно вы на меня понадеялись — тут я ничего для вас не могу сделать. Впрочем, если вы дадите мне треклятовое обещание держать это в тайне, я укажу вам наивернейший путь. Я убежден, что вы этого добьетесь, тем более что у вас такие прекрасные книги и все прочее, о чем вы мне еще раньше рассказывали».

«Говори, не бойся, — сказал доктор. — Ты, я вижу, плохо меня знаешь, тебе еще не приходилось убеждаться в том, как я умею хранить тайны. Мессер Гаспарруоло из Саличево в бытность свою форлимпольским судьей осведомлял меня почти обо всех делах, — он почитал меня за надежнейшего человека. Желаете убедиться на примере? Он мне первому сообщил, что хочет жениться на Бергамине. Теперь убедился?»

«Добро! — молвил Бруно. — Коли он вам доверял, то доверюсь и я. Вот какой я укажу вам путь: в нашем обществе есть председатель и при нем два советника; сменяются они каждые полгода, и в начале следующего месяца председателем непременно будет Буффальмакко, а советником — я, это дело решенное. Председатель волен ввести или же заставить ввести в общество кого угодно, — вот почему, думается мне, вам не мешало бы поближе познакомиться с Буффальмакко и заслужить его расположение. Это такой человек: как увидит, что вы — ума палата, так в ту же минуту и полюбит вас. Когда же вы заметите, что расположили его в свою пользу умными речами и славными вещичками, вот тогда и просите, и он не сможет вам отказать. Я с ним говорил — он о вас самого лестного мнения. Действуйте, как я вам сказал, а я, со своей стороны, на него повлияю».

«Твой совет очень даже мне по сердцу, — заметил доктор. — Если Буффальмакко точно любит умных людей, то пусть он со мной побеседует — ручаюсь, что после этого он по пятам за мной будет ходить: ума у меня столько, что я могу целый город им наделить и все-таки останусь самым умным человеком».

Бруно обстоятельно рассказал Буффальмакко о своем разговоре с доктором, и Буффальмакко, сим обстоятельством обрадованный, не чаял, как дожидаться того вожделенного мига, когда он сможет исполнить желание доктора Оболтуса. А доктору не терпелось начать корсарить, и он не замедлил подружиться с Буффальмакко, что не составило для него труда. Он угощал Буффальмакко, а вместе с ним и Бруно, преобильными ужинами и обедами, они же ради тонких вин, жирных каплунов и прочих превосходных вещей бывали у него постоянно, не дожидая-

ясь особых приглашений, — словом сказать, отлично проводили у него время, а его уверяли, якобы они так часто его навещают единственно для того, чтобы доставить ему удовольствие.

Когда же доктор нашел, что пора наконец последовать совету который преподал ему Бруно, он обратился к Буффальмакко с просьбой. Буффальмакко сделал вид, что это его возмутило, и налетел на Бруно. «Ах ты предатель! — вскричал он. — Клянусь изображением бога-отца в пазиньянском храме, я еле сдерживаюсь, чтобы не своротить тебе нос. Кто же еще мог разболтать доктору, как не ты?»

Доктор всячески старался выгородить Бруно, клялся и божился, что узнал про общество из другого источника, и так умно повел дело, что Буффальмакко в конце концов утихомирился.

«Сейчас видно, дорогой доктор, что вы учились в Болонье и вывели оттуда умение держать язык на привязи, — заметил Буффальмакко. — Я вам больше скажу: когда вы учились, успехи у вас, уж верно, были тихие, а уши, если не ошибаюсь, всегда холодные. Бруно сказывал мне, что вы изучали медицину, а мне сдается, что вы обучались искусству очаровывать людей: благодаря своему уму и манере говорить вы умеете это делать лучше, чем кто-либо еще».

Тут лекарь, не дав ему договорить, обратился к Бруно: «Вот что значит беседовать и общаться с умными людьми! Никто так скоро не постигал свойства моего разума, как этот достойнейший человек! Ты-то вот, небось, меня не оценил! Приведи, по крайности, мои слова, сказанные в ответ на твое сообщение, что Буффальмакко любит умных людей. Хорошо я тогда выразился?»

«Лучше не надо», — отвечал Бруно.

«Если бы ты видел меня в Болонье, так еще не то бы сказал, — обратился к Буффальмакко, продолжал доктор: — Там все, от мала до велика, от доктора и до последнего школяра, на руках меня носили — так я сумел их пленить своими речами и остроумием ума. Я тебе больше скажу: в Болонье покатывались над каждым моим словом — так меня там любили. А когда я замыслил оттуда уехать, все плакали навзрыд и умоляли меня остаться. Дело дошло до того, что хотели уступить мне все до одной лекции по медицине, но я не согласился: здесь, у вас, мне предстояло вступить в права наследия, и точно: я стал обладателем огромного родового состояния».

Тут Бруно обратился к Буффальмакко: «Ну что? А ты мне не верил! Клянусь Евангелием, в нашем городе нет другого врача, который так же хорошо разбирался бы в ослиной моче, как он. Да что там: пройди до самых Парижских ворот — равного ему наверняка не сыщешь. Разве можно ему не угодить?»

«Бруно верно говорит, — заметил лекарь, — но меня здесь не понимают — ведь вы же тут закоснели в невежестве, а посмотрели бы вы, каким уважением я пользуюсь у людей ученых!»

«Ваша правда, доктор, — сказал Буффальмакко, — я и не подозревал, что вы так много знаете. Так вот, выражаясь на языке умопомрачительном, — а ведь только на этом языке и поддается изъясняться с такими

мудрецами, как в ы , — я почитаю за должное сказать вам, что непременно введу вас в наше общество».

После того как Буффальмакко дал такое обещание, лекарь начал еще больше с ними обоими носиться, а друзья над ним потешались, забивали ему голову всякой чепухой и обещали женить на графине Нечистотской, то есть на самом прелестном существе, какое только можно сыскать в заднем проходе любого жилья.

Лекарь осведомился, кто такая эта графиня. «Ах вы огурец соленый! — воскликнул Буффальмакко. — Это дама из наивысшей знати, ей подведомственен едва ли не весь род человеческий, даже минориты — и те отдают ей долг под стук кастаньет. Надобно заметить, что когда она ходит, то о ней всегда бывает и слух и дух, но только она чаще всего сидит запершись. Впрочем, совсем недавно она прошла ночью мимо вашего дома — она ходила на Арно, чтобы отмыться и заодно подышать воздухом, однако ж постоянное ее местожительство — город Нужник. Воины обходят его дозором, и все в знак ее величия носят изображение метлы и черпака. Графинины приближенные бывают всюду, например — Колбаска, дон Кучка, Чистильно, Дристуччо и другие; это все ваши знакомые, но только вы, уж верно, позабыли, как их зовут. Вам придется оставить вашу даму сердца из Какавинчили, мы же толкнем вас в сладостные объятия этой знатной дамы, — думаем, что в своих чаяниях мы не обманемся».

Лекарь, родившийся и выросший в Болонье и смысла всех этих выражений не разумеющий, объявил, что дама эта вполне ему подходит, а вскоре после этих дурачеств живописцы сообщили ему, что он принят в члены общества. Перед вечерним сборищем доктор накормил их обедом, а после обеда обратился к ним с вопросом, в каком виде он должен предстать перед обществом. Буффальмакко же ему на это ответил так: «Видите ли, доктор, от вас требуется беззаветная храбрость; если же вы беззаветной храбрости не проявите, то на вашем пути возникнут препятствия непреодолимые, нам же вы причините огромный вред, а почему от вас требуется беззаветная храбрость — об этом вы сейчас узнаете. Нынче ночью, в первосонье, вы должны быть на одной из высоких гробниц, недавно воздвигнутых за Санта Мария Новелла, но только наденьте самое лучшее платье: ведь нынче вы в первый раз появитесь в обществе, значит, нужно одеться поприличней, а кроме того (так, по крайности, нам сказали тогда — с тех пор мы там не были), кроме того, графиня намерена, коль скоро вы человек благородного происхождения, возвести вас в сан окунутого рыцаря, причем окунание будет совершено на ее счет. Там вы и ожидайте нашего посланца. А чтобы вам все было ясно, я почитаю за нужное прибавить, что за вами явится небольшой черный рогатый зверь и начнет пыхтеть и скакать перед вами на площади, чтобы испугать вас; когда же он удостоверится, что вы его не боитесь, то тихохонько к вам приблизится, а как он приблизится, тут вы без малейших опасений спускайтесь с гробницы и, не призывая ни бога, ни святых, садитесь на него верхом, а как оседлаете, сейчас сложите руки на груди и до зверя больше не дотрагивайтесь. Тогда он двинется шагком и доставит вас к нам. Но только я вас предупреждаю: если вы призовете бога и

святых или же испугаетесь, он может вас сбросить и низвергнуть в место не столь благовонное, так что если вы в себе не уверены, то лучше не ходите, а то и себе напортите, и нам от того проку не будет».

«Нет, вы меня еще не знаете! — возразил лекарь. — Вы не глядите, что я ношу перчатки и что на мне платье длинное. Если б вы могли себе представить, что я вытворял в Болонье, когда мы гурьбой ходили к девицам, вы бы ахнули от удивления. Как-то ночью — вот ей-богу не вру! — одна из них не пожелала пойти с нами, а сама уж такая замухрышка, посмотреть не на что, от горшка два вершка, ну, я первым делом задал ей хорошую трепку, потом подхватил ее на руки и протащил расстояние, равное примерно тому, какое может пролететь стрела, — тогда она с нами пошла. А еще как-то раз, вскоре после Ave Maria, проходил я, помнится, мимо кладбища миноритов, и со мной никого не было, кроме слуги, а на кладбище как раз в тот день похоронили одну женщину, но я ни капельки не испугался. Так что вы за меня не беспокойтесь: я смельчак и удалец. И еще вот что я хочу вам сказать: чтобы предстать перед обществом в приличном виде, я надену пурпуровую мантию, в которую меня одели, когда я стал доктором. Воображаю, в какой восторг придет общество, узрев меня в мантии! Не успею оглянуться, как меня и в председатели выберут. Только бы мне туда проникнуть, а там дело пойдет как по маслу — вот увидите. Графиня-то какова: ни разу меня не видала, а уже хочет возвести в сан окупного рыцаря! А может, рыцарство мне не подойдет? Справлюсь я с ним или не справлюсь? Ну да там увидим — лишь бы мне туда попасть».

«На словах-то вы молодец, — заметил Буффальмакко, — но только смотрите не подведите нас, а то еще, чего доброго, не явитесь или же так спрячетесь, что вас не найдут. На дворе-то ведь холодно, а вы, господа медики, народ зябкий».

«Что вы, бог с вами! — воскликнул лекарь. — Я не мерзляк, холода не боюсь. Бывает, встанешь ночью за нуждой, так редко-редко когда наденешь поверх полукафтаны еще и шубу. Нет уж, я приду наверняка».

Наконец друзья ушли, настала ночь, и доктор, придумав для жены более или менее благовидный предлог, что ему нужно куда-то идти, втайне от нее оделся в парадную свою одежду и в урочный час пошел на кладбище. Холод был лютый, и доктор в ожидании зверя съезжился на одной из мраморных гробниц. Буффальмакко, верзила и здоровила, раздобыл такую личину, какие прежде надевались во время игр, в которые теперь никто уже не играет, надел шубу черным мехом наружу и стал, ни дать не взять, медведь, но личина у него была с рогами, и представляла она собой рожу дьявола. В этаким наряде он вместе с Бруно, который шагал следом за товарищем, ибо ему любопытно было поглядеть, что из этого восполучится, пошел на новую площадь к церкви Санта Марии Новелла. Увидев доктора, он запрыгал, заскакал, запыхтел, зарычал, завопил — ну прямо бесноватый! Как увидел, как услышал это доктор, волосы у него встали дыбом, и он задрожал всем телом — должно заметить, что он был трусливее бабы. Он уж был не рад, что пришел, но раз, мол, явился — делать нечего, и так сильно в нем было желание поглядеть

на чудеса, о которых те двое ему нарасказали, что мало-помалу он с собой совладал. Между тем Буффальмакко, некоторое время, как известно, бесновавшийся перед ним, сделал вид, что притих, и, подойдя к гробнице, на которой пребывал доктор, стал как вкопанный. Доктор трясся от страха; он не знал, что ему делать: то ли слезать, то ли оставаться на гробнице. Наконец, боясь, как бы зверь не кинулся, если он на него не сядет, доктор поборол страх страхом, сошел с гробницы и, шепча: «Господи, помилуй», — взгромоздился на него и устроился поудобнее. Все еще не в силах унять дрожь, он, как ему было велено, сложил руки на груди, и тогда Буффальмакко тихохонько двинулся в сторону Санта Мария делла Скала и, ползя на четвереньках, в конце концов остановился недалеко от Рипольского женского монастыря. Там были тогда ямы, куда местные крестьяне сбрасывали графиню Нечистотскую на предмет удобрения полей. Буффальмакко подполз к самому краю одной из таких ям и, улучив минуту, просунул руку под лекареву ногу и сбросил его со своей спины вниз головою в яму, а сам опять зарычал, заскакал, забесновался, а потом мимо Санта Мария делла Скала направился к лугу Оньиссанти и уже на лугу столкнулся с Бруно — тот, боясь фыркнуть, убежал на луг. Оба издали стали наблюдать, что-то будет делать вымазавшийся доктор. А господин доктор, очутившись в столь гнусном месте, пытался подняться, как-нибудь выкарабкаться — и снова падал. Измученный и удрученный, перепачкавшись с головы до ног, наглотавшись невесть чего, в конце концов он все-таки выбрался, но шапочка его осталась там. Он вытерся, сколько мог, руками, а затем в полной растерянности пошел домой и давай барабанить, покуда ему не отперли.

Только успел он, распространяя зловоние, войти к себе, только успели закрыть за ним дверь, как к его дому подкрались Бруно и Буффальмакко, коим смерть хотелось послушать, как-то примет доктора его супруга. Насторожившись, они услышали, что она ругает его так, как не ругали еще ни одного мерзавца на свете. «В хорошем виде ты домой явился! — кричала она. — Верно, бегал к какой-нибудь бабе, тебе хотелось покрасоваться перед ней в своей пурпуровой мантии. А меня тебе не достаточно? Меня, братец ты мой, не то что на тебя, а и на целый город хватит. Э, да пусть бы они тебя утопили там, куда бросили, и хорошо сделали, что бросили! Это называется — почтенный доктор! У него есть жена, а он по ночам к бабам шляется!» Такими и тому подобными речами донимала его жена до полуночи, меж тем как слуги его обмывали.

На другое утро Бруно и Буффальмакко выкрасили себе все тело в синий цвет, будто это синяки, и пошли к лекарю — тот был уже на ногах. Войдя, они почувствовали, что все у него в доме провоняло, — слуги еще не успели произвести надлежащую чистку, и оттого в комнатах стояла вонь. Услыхав о том, что они пришли, лекарь вышел к ним и пожелал доброго утра. Бруно же и Буффальмакко, как это у них было условлено заранее, с сердитым видом ответили ему так: «А мы вам доброго утра не желаем — напротив того: мы молим бога, чтобы он наслал на вас все напасти, чтобы вас рассказали как наихудшего и вероломнейшего из всех предателей и изменников, ныне живущих на земле, ибо из-за вас мы,

которые так старались доставить вам почет и удовольствие, чуть было не подошли, как псы. Из-за того, что вы нас обманули, нам нынче ночью отвесили столько ударов, что от такого, и даже меньшего, количества осел добежал бы и до Рима, не говоря уже о том, что нам грозила опасность быть изгнанными из общества, в которое мы намеревались ввести вас. Коли не верите — поглядите, на что мы стали похожи». Тут они в неверном свете утра распахнули платье, показали ему раскрашенное свое тело и сейчас же запахнулись.

Врач начал было оправдываться, рассказывать о своих злоключениях, о том, как и куда его бросили, но Буффальмакко сказал: «Я бы хотел, чтобы он бросил вас с моста в Арно. Зачем вы призывали бога и святых? Разве мы вас от этого не предостерегали?»

«Да я, ей-богу, не призывал», — возразил лекарь.

«То есть как это так не призывали? — вскричал Буффальмакко. — Еще как призывали! Наш посланец рассказал нам, что вы дрожали как лист и не соображали, где вы находитесь. Нечего сказать, хорошо вы с нами поступили, — никто другой так бы с нами не поступил, — ну и мы, со своей стороны, воздадим вам по заслугам».

Лекарь, выбирая выражения самые что ни на есть изысканные, начал просить у них прощения и Христом-богом молить не позорить его. Боясь, как бы они не осрамили его на весь город, он пуще прежнего стал ублажать их и задабривать приглашениями на обед и прочим тому подобным. Так-то учат уму-разуму тех, кто не запасся им в Болонье.





*Некая сицилийка ловким образом выманивает у купца всю сумму,
на которую он продал товар в Палермо;
приехав туда в следующий раз, купец уверяет сицилийку,
будто привез товару на еще более крупную сумму,
и, взяв у нее денег взаймы, расплачивается войдой и паклей*



егко себе представить, как смешило дам многое в рассказе королевы. Не было ни одной слушательницы, у которой от хохота раз десять не выступили бы на глазах слезы. Когда же рассказ королевы пришел к концу, Дионео, знавший, что теперь его очередь, молвил:

— Обворожительные дамы! Всем известно, что уловка тем дороже ценится, чем ловчее сумели одурачить хитроумного ловкача. Вот почему, хотя все мы уже рассказали по сему поводу тьму прелюбопытных вещей, я, однако ж, хочу предло-

жить вашему вниманию рассказ, который должен прийтись вам по нраву более, чем какой-либо еще, именно потому, что одураченная, о которой я поведу речь, умела дурачить других неизмеримо лучше всех одураченных мужчин и женщин, действовавших в предыдущих рассказах.

Во всех приморских городах, где имеется гавань, существовали, — а может статься, существуют и ныне, — правила, обязывавшие всех приезжавших с товаром купцов тотчас после выгрузки сдать товар на хранение в склад, во многих местах именуемый таможенной; склад этот содержал город или же градоправитель. Таможенники принимали у купца товар по описи, где была проставлена ценность, отводили для товара особое помещение, запирали это помещение на ключ и вписывали товар в таможенную книгу, за что брали с купца деньги, а впоследствии взимали пошлину за весь товар или же за ту его часть, которую купец брал со склада. Из таможенной книги посредники нередко узнавали о качестве и количестве лежавшего в складе товара и о том, кто его владельцы, с коими они потом в случае надобности вели переговоры о мене, продаже,

перепродаже, равно как и о прочих видах сбыта. Правила эти существовали во многих городах, и, между прочим, в Палермо, что в Сицилии, где жило, да и сейчас еще живет, много женщин обольстительной наружности, но отнюдь не честного поведения; те же, кто их не знал, принимали и почитали их за женщин благородных и наичестнейших. Промышляли они единственно тем, что не просто брили мужчин, а сдирали с них шкуру: увидят приезжего купца, и скорей в таможеню — справиться по книге, что у него есть и какими средствами он располагает, а затем приятным и ласковым обхождением и сладкими речами стараются завлечь и заманить его в любовные сети. Так они заманили многих купцов и у некоторых выманили почти весь товар, у большинства — весь, а кое-кто из купцов оставил там и товар и корабль, словом — разорился дотла: до того мягко водила бритвой брадобрейка.

И вот не так давно один молодой человек по имени Никколо да Чиньяно, а по прозвищу «Салабаэтто», наш земляк, флорентиец, по поручению своих хозяев прибыл в Палермо с большим количеством оставшихся у него после Салернской ярмарки шерстяных тканей, примерно на сумму в пятьсот флоринов золотом. С продажей молодой человек не спешил; уплатив таможенникам то, что с него причиталось, и сдав товар на хранение в склад, он пошел погулять по городу. Был он белолиц, белокур, статен, пригож, и вот одна из таких брадобреек, именовавшая себя донной Янкофьоре, будучи отчасти осведомлена о его денежных делах, начала строить ему глазки. Молодой человек это заметил и, вообразив, что обратил на себя внимание знатной дамы, приписал это действию неотразимой своей наружности и решил, что тут нужно вести дело тонко. Никому ни слова не сказав, он начал прохаживаться мимо ее дома. Янкофьоре живо смекнула, что это означает; несколько дней подряд она пламенными взглядами разжигала в нем страсть и давала понять, что тоже сгорает от любви к нему, а затем подослала к купцу женщину, в совершенстве постигшую искусство сводничества. Сводня наговорила ему с три короба; со слезами на глазах она уверила Салабаэтто, что красота его и приятство так вскружили голову ее госпоже, что она ни днем, ни ночью не знает покою, жаждет с ним увидеться и готова назначить ему тайное свидание в бане, когда ему заблагорассудится. Тут сводня достала из кошелька перстень и, пояснив, что это подарок от госпожи, вручила перстень ему. Салабаэтто возликовал. Взяв перстень, он провел им по глазам, поцеловал его и надел на палец, а почтенной женщине сказал, что любит донну Янкофьоре больше собственной жизни и готов пойти, куда и когда бы она его ни позвала.

Посланная передала его ответ своей госпоже, и Салабаэтто тут же было сообщено, в какой бане ему надлежит завтра после вечерни ее ожидать. Никому о том не проговорившись, Салабаэтто в назначенный час с великою поспешностью туда отправился и узнал, что дама заранее сняла эту баню. Немного погодя пришли две рабыни со всяким добром; одна несла на голове длинный, добротный хлопчатобумажный матрац, другая — большую корзину с разными вещами. Матрац был положен на кровать в одной из комнат за баней, а затем рабыни постелили две обши-

тые шелком тончайшие простыни, одеяло из белоснежной кипрской ткани и положили две искусно вышитые подушки. Потом они разделись и, войдя в баню, чисто-начисто вымели и вымыли ее. Малое время спустя пришла Янкофьоре и с ней еще две рабыни. Увидев Салабаэтто, она радостно приветствовала его; прерывисто дыша, она сдавила его в объятиях и покрыла поцелуями его лицо. «Только ты мог довести меня до этого, — сказала Янкофьоре. — Душа у меня горит в огне, и все из-за тебя, возлюбленный мой тосканец!»

Затем они оба, по желанию Янкофьоре, разделись догола и прошли в баню; две рабыни сопровождали их. Никому не позволив дотронуться до Салабаэтто, она сама мускусным и гвоздичным мылом тщательно и ловко его вымыла, а потом велела рабыням, чтобы они и ее вымыли и растерли. После этого рабыни принесли две тонкие белоснежные простыни, от коих так сильно пахло розами, что казалось, будто все в бане было пропитано ароматом роз. Одна из рабынь завернула в простыню Салабаэтто, другая — Янкофьоре, затем рабыни посадили их к себе на плечи и отнесли в заранее приготовленную постель. Когда пот у Салабаэтто и Янкофьоре высох, рабыни сменили простыни. Потом достали из корзины чудные серебряные флаконы с розовой, померанцевой, жасминовой, апельсинной водой и опрыскали их, затем достали ящик со сладостями и дорогими винами, угостили их и сами подкрепились. У Салабаэтто было такое чувство, словно он в раю; он пожирал Янкофьоре глазами, — а она в самом деле была красавица, — и пока рабыни не ушли и пока он не заключил ее в объятия, каждый час казался ему столетием. Наконец госпожа приказала рабыням удалиться, и они, оставив в бане зажженный светильник, ушли, и тогда Янкофьоре обняла Салабаэтто, а он ее, и, к великому удовольствию Салабаэтто, которому казалось, что она тает от любви к нему, пробыли они тут долго.

Когда же Янкофьоре решила, что пора вставать, она позвала рабынь, затем она и Салабаэтто оделись, опять подкрепились винами и сладостями, лицо и руки омыли теми же душистыми водами, и на прощанье Янкофьоре сказала Салабаэтто: «Я была бы очень рада, если б ты вечером у меня отужинал и остался ночевать».

Салабаэтто, плененный ее красотой и деланною любезностью, был совершенно уверен, что она от него без ума. «Сударыня! — сказал он. — Я был бы счастлив исполнить любое ваше желание. И вечером и в дальнейшем я буду делать все, что вам угодно, и все, что вы мне прикажете».

Придя домой, Янкофьоре велела натащить к себе в спальню как можно больше платьев и разных вещей, велела приготовить роскошный ужин и стала ждать Салабаэтто. Когда стемнело, Салабаэтто пошел к ней, был ею радостно встречен и с великою приятностью провел время за отменным ужином. Войдя же к ней в спальню, он ощутил дивный запах алоэ и курившихся смол, увидел пышное ложе и много красивых платьев на вешалке. Все это, и вместе и порознь, убедило его в том, что Янкофьоре — знатная и богатая дама. Дошедшие до него толки о ее образе жизни с этим не вязались, но он ни за что не хотел им верить; он допускал, что



она могла кого-нибудь оплести, но чтобы она околпачила его — это представлялось ему совершенно невероятным. Он провел с ней упоительную ночь, и страсть его час от часу разгоралась сильнее. Поутру Янкофьоре надела на Салабаэтто красивый, изящный серебряный поясок с висевшим на нем хорошеньким кошельком. «Милый мой Салабаэтто, помни обо мне! — сказала она. — Я вся твоя, и все, что ты видишь здесь, и все, что от меня зависит, тоже в твоём распоряжении». Салабаэтто в восторге обнял ее, расцеловал и направился туда, где имели обыкновение собираться купцы.

Потом он еще несколько раз у нее был, ровным счетом ничего на нее не потратил, однако ж с каждым разом все больше увязал. И вот наконец он продал шерстяные ткани за наличные и с изрядным барышом, о чем Янкофьоре тотчас же услышала, но не от него самого, а от других. Однажды вечером Салабаэтто был у нее, и она с ним болтала и щебетала, обнимала его и целовала и прикидывалась столь пламенно в него влюбленной, что казалось, сейчас умрет от любви в его объятиях. На сей раз она возымела желание подарить ему два красивых серебряных кубка, однако ж Салабаэтто не взял их — он и так уже два принимал от нее подарки стоимостью, по крайней мере, в тридцать флоринов золотом, она же отказывалась и от грошовых. Так, разыгрывая из себя щедрую, пылающую к нему любовью женщину, она до крайней степени разожгла в нем любовный пыл, и вот тут-то одна из ее рабынь, исполняя заранее данный ей приказ госпожи, позвала ее, Янкофьоре же вышла из комнаты, а некоторое время спустя вернулась вся в слезах, повалилась ничком на кровать и разразилась горестными рыданиями.

Салабаэтто пришел в изумление; он обнял Янкофьоре и тут же заплакал сам. «Радость моя, да что же это с вами так внезапно стряслось? — воскликнул Салабаэтто. — Что вы так убиваетесь?»

После долгих упрасиваний Янкофьоре наконец заговорила: «Ах, обожаемый мой повелитель! Я просто не знаю, что мне делать и как мне быть. Я только что получила письмо от брата из Мессины: он пишет, чтобы я через неделю непременно прислала ему тысячу флоринов золотом, хотя бы мне пришлось для этого продать и заложить все имущество, потому что, если я ему этих денег не вышлю, то ему отрубят голову. Вот я и не знаю, что делать. Разве я смогу в столь короткий срок достать такие огромные деньги? Будь у меня в запасе хотя бы две недели, я бы получила их в одном месте — там мне еще больше следует, либо продала одно из наших имений, но в такой срок это невысказимо. Лучше умереть, чем получить эту ужасную весть». Продолжая разыгрывать отчаяние, Янкофьоре проливала обильные слезы.

Любовный пламень отнял у Салабаэтто почти весь его разум, и он, полагая, что слезы Янкофьоре — самые что ни на есть искренние слезы, а слова еще правдивее слез, сказал ей так: «Сударыня! Тысячью флоринов я не располагаю, однако ж я вполне могу предложить вам взаймы пятьсот, при том условии, что через две недели вы мне их возвратите. На ваше счастье, я как раз вчера продал ткани, а до вчерашнего дня я вам ломаного гроша не мог бы ссудить».

«Ах, боже мой! — воскликнула Янкофьоре. — Так ты сидел без денег? Что же ты у меня-то не попросил? Тысячи у меня бы не нашлось, но сто и даже двести флоринов я бы, конечно, дала тебе в долг. А теперь мне просить у тебя неловко».

Слова эти особенно тронули Салабаэтто. «Пожалуйста, возьмите, сударыня! — сказал он. — Если б я нуждался в деньгах, я бы непременно у вас попросил».

«Ах, милый Салабаэтто! — молвила Янкофьоре. — Теперь я вижу, что ты и правда любишь меня беззаветно, коль скоро ты так добр, что без всякой моей просьбы готов выручить меня такой громадной суммой. Я и до этого случая была твоею, а теперь и подавно. Я никогда не забуду, что обязана тебе жизнью брата. Видит бог, я беру эти деньги скрепя сердце — я знаю, что ты купец, а купцу без денег шагу нельзя ступить, но у меня нет другого выхода, да и потом, я нимало не сомневаюсь, что возвращу их тебе в срок. А чтобы раздобыть недостающую сумму, я, если только мне раньше не представится какая-нибудь другая возможность, заложу мои вещи». И тут она, плача, прижалась щекой к щеке Салабаэтто. Салабаэтто начал ее утешать, а проведя с нею ночь, он постарался доказать своей возлюбленной, что в его лице она имеет наищедрейшего поклонника: не дожидаясь напоминания, он принес ей ровно пятьсот флоринов, Янкофьоре же приняла их, смеясь в душе, но со слезами на глазах, а Салабаэтто дал ей эту сумму под честное слово.

Получив денежки, Янкофьоре запела совсем другим голосом: если прежде ее дом всегда был открыт для Салабаэтто, то теперь почти всякий раз находились предлоги, чтобы его не впустить; куда девались былое гостеприимство, ласка, радушие! Никаких денег в срок он не получил; после того прошел месяц, прошел другой, а когда он заговаривал про деньги, ему платили обещаниями. Убедившись наконец в хитроумии этой злодейки и в своем собственном безрассудстве, поняв, что, если только она сама не соблаговолит хоть что-нибудь вернуть, ему ничего не удастся из нее вытянуть, так как ни расписки, ни свидетелей у него нет, стыдясь кому-либо излить душу, потому что добрые люди его предостерегали и теперь он мог опасаться, как бы его, ротозея, не подняли на смех, и за дело, Салабаэтто один на один с самим собою оплакивал свою дурость. Между тем Салабаэтто получил уже не одно письмо от своих хозяев, и в тех письмах хозяева требовали, чтобы он разменял деньги и выслал им; и вот он, боясь, что, коль скоро он их требование не исполняет, то его преступление рано или поздно будет раскрыто, положил уехать, но только не в Пизу, куда его теперь посылали, а в Неаполь, и с этим намерением сел на корабль.

В то время там проживал наш согражданин, казначей императрицы Константинопольской, ближайший друг Салабаэтто и всей его семьи, Пьетро делло Каниджано, человек умнейший и гораздый на выдумки, и вот ему-то, как человеку в высшей степени сообразительному, Салабаэтто пожаловался на свою судьбу, рассказал, что он натворил и как его обставили, попросил у него совета и помощи в рассуждении того, как бы

это ему тут прокормиться, а то, мол, во Флоренцию он ни за что не вернется.

Каниджано был огорчен его рассказом. «Ты дурно поступал, ты себя запятнал, ты ослушался своих хозяев, ты отдал огромные деньги за утоление твоей страсти, ну да что теперь толковать? — молвил о н . — Что сделано, то сделано. Подумаем, как быть дальше». Будучи человеком изобретательным, Каниджано тут же все обмозговал и подал Салабаэтто совет. Затея Каниджанова пришлась Салабаэтто по нраву, и он порешил, нимало не медля, приняться за ее осуществление.

Кое-какие деньжонки у Салабаэтто были, да Каниджано дал ему немного займы; хорошенько упаковав и увязав изрядное количество тюков, купив бочек двадцать из-под оливкового масла и наполнив их, он все это погрузил на корабль и возвратился в Палермо. Представив таможенникам опись тюков и объявив ценность бочек, Салабаэтто приказал все отнести на его счет и все отдал на хранение в склад, а таможенников предупредил, что, пока не придет еще одна партия товару, он этот товар трогать не будет. Когда о том пронюхала Янкофьоре, когда она услышала, что товар, который привез Салабаэтто, стоит, уж во всяком случае, две тысячи флоринов золотом, а то и больше, а что другая партия, которую он ожидает, стоит больше трех тысяч, ей показалось, что она еще мало с него содрала, и, надумав отдать ему пятьсот флоринов, с тем чтобы хапнуть львиную долю пяти тысяч, послала за ним.

Салабаэтто, зная теперь, с кем имеет дело, пошел к Янкофьоре, и та, притворившись, будто и не подозревает, на какую сумму он привез товару, и что она бесконечно рада ему, обратилась к нему с вопросом: «Послушай! Ты на меня не сердись за то, что я тебе в срок не вернула долга?»

Салабаэтто засмеялся и сказал: «Признаюсь, сударыня, мне это было слегка неприятно, но не из-за себя: в угоду вам я бы сердце вырвал из своей груди. Нет, я на вас сердиться не умею. Я так сильно и так горячо вас люблю, что распродал почти все свои именья и привез сюда товару на две тысячи с лишком флоринов, да еще с Запада ожидаю товару на три тысячи с лишком. А задумал я здесь у вас поселиться и открыть лавку, чтобы не разлучаться с вами, ибо вы так осчастливили меня своею любовью, что, полагаю, на всем свете нет теперь человека счастливей меня».

Янкофьоре же ему на это ответила так: «Поверь мне, Салабаэтто: всякая твоя удача радует меня, оттого что я люблю тебя больше жизни, и я в восторге, что ты вернулся и хочешь здесь обосноваться, — надеюсь, мы с тобой не соскучимся, — но я должна принести тебе извинения: перед своим отъездом ты несколько раз ко мне приходил, но я тебя не принимала, если же и принимала, то без прежнего чувства, а еще я прошу у тебя прощения за то, что в срок не вернула долга. Но ведь ты же знаешь, что у меня тогда было большое горе, я была в полном отчаянии, а когда находишься в таком состоянии, то при всем желании не можешь быть приветлив и внимателен даже к любимому человеку. Сам понимаешь, женщине не так-то просто раздобыть тысячу флоринов золотом: все только

обещают, а слова не держат, — приходится и нам лгать; вот почему я и не отдала тебе долга, а злого умысла у меня не было. Я достала денег вскоре после твоего отъезда, и если бы я знала, куда их тебе послать, то, разумеется, послала бы, но твое местонахождение мне было неизвестно, и я порешила припрятать деньги до твоего возвращения».

Тут Янкофьоре велела принести кошель с деньгами и, отдав его Салабаэтто, примолвила: «Пересчитай — тут должно быть пятьсот».

Салабаэтто обрадовался; пересчитав деньги и уверившись, что вся сумма налицо, он спрятал их и сказал: «Вам можно верить, сударыня, — вы это доказали. Так вот знайте: я питаю к вам такое доверие и так вас люблю, что готов в случае надобности дать вам займы любую сумму, какой только я располагаю. Когда я тут устроюсь, вы удостоверитесь в том на деле».

Итак, возобновив на словах былую сердечную склонность, Салабаэтто снова зажил с Янкофьоре в любви и согласии, а Янкофьоре не знала, как его ублажить, как ему угодить, и прикидывалась самую страстную в мире любовницею.

Между тем Салабаэтто намеревался отплатить ей обманом за обман, и вот как-то раз, получив от нее приглашение отужинать и остаться на ночь, он пришел к ней удрученный, сокрушенный, убитый. Янкофьоре начала обнимать его, целовать и расспрашивать; чем он так расстроен. Салабаэтто долго отнекивался, но в конце концов сказал: «Я разорен: корабль с товаром, который я поджидал, захватили монахские корсары; корабельщики от них откупились — дали им десять тысяч флоринов золотом, из коих мне надлежит уплатить тысячу, а я сижу без гроша: те пятьсот флоринов, что ты мне возвратила, я тот же час послал в Неаполь на покупку полотна, которое должны были доставить мне сюда. Если бы даже я продал имеющийся у меня товар, то у меня бы его взяли за полцены — ведь теперь не сезон, а меня здесь еще не знают, выручить меня некому, — просто ума не приложу, что мне делать и как мне быть. Если же я не вышлю денег немедленно, товар будет отвезен в Монако, и я останусь ни при чем».

Янкофьоре была этим обстоятельством крайне огорчена — ей казалось, что все пропало; поломав голову над тем, как бы так исхитриться, чтобы товар не был увезен в Монако, она наконец сказала: «Ты меня пленил своею любовью, и мне тебя так жаль — видит бог, как мне тебя жаль! Но все-таки зачем уж так убиваться? Если б у меня были такие деньги, ей-ей, я бы их тебе дала, но у меня их нет. Правда, есть тут один человек — на днях он дал мне займы пятьсот флоринов, но под большие проценты: он пускает деньги в рост из тридцати процентов, не меньше. Если ты надумаешь взять у него, нужно будет оставить ему хороший заклад. Ради тебя я готова заложить все свои вещи и даже самое себя, только бы он тебя выручил, но этого не хватит, — что бы ты мог ему предложить в обеспечение долга?»

Салабаэтто сообразил, с какою целью Янкофьоре хочет оказать ему эту услугу, и догадался, что она намерена ссудить ему свои же собственные деньги. Придя от этого в восторг, он прежде всего поблагодарил ее,

а потом сказал, что лихой процент его не смущает, ибо он в безвыходном положении. Еще он сказал, что обеспечит уплату долга товаром, находящимся в таможенном складе, и что он немедленно переведет товар на имя того, кто даст ему в долг, а ключ от склада оставит пока у себя, во-первых, на тот случай, если понадобится кому-нибудь показать товар, а во-вторых — чтобы ничего у него там не тронули, не переложили и не подменили. Янкофьоре со всем этим согласилась и сказала, что это вполне достаточное обеспечение. На другой же день она позвала маклера, который пользовался у нее особым доверием, и, изложив суть дела, дала ему тысячу флоринов золотом, маклер передал их Салабаэтто, а Салабаэтто перевел на его имя весь свой товар, который лежал в таможене. Салабаэтто вручил маклеру опись, тот ему расписку, оба остались довольны и пошли по своим делам.

Салабаэтто с полутора тысячами золотых флоринов в кармане при первой возможности сел на корабль, возвратился в Неаполь, к Пьетро делло Каниджано, и уже оттуда направил во Флоренцию своим хозяевам, посылавшим его в Палермо с шерстяными тканями, полный и безобманный отчет. Расплатившись со всеми займодавцами и, в частности, с Пьетро, он несколько дней кутил с ним на счет одураченной сицилийки, а затем, порешив бросить торговлю, отбыл в Феррару.

Между тем Янкофьоре, убедившись, что Салабаэтто в Палермо нет, далась диву, и в душу к ней закрались сомнения. Прождала она его добрых два месяца — он все не показывался; наконец она велела маклеру взломать склад. Первым делом они осмотрели бочки, якобы полные оливкового масла, и что же оказалось? В каждой бочке оливковое масло было только около самого отверстия, а вся бочка была наполнена морской водой. Когда же они развязали тюки, то обнаружили, что только в двух были ткани, все же остальные были набиты паклей. Коротко говоря, все, что там ни было, стоило от силы двести флоринов. Посрамленная Янкофьоре долго оплакивала те пятьсот флоринов, которые она вернула Салабаэтто, а еще больше — тысячу, которую она дала ему в долг. «Тосканца обирай, да сама рот не разевай», — часто повторяла она. Только теперь, оставшись в накладе да еще и в дураках, она поняла, что как аукнется, так и откликнется.

Когда Дионео окончил свой рассказ, Лауретта одобрила совет Пьетро Каниджано, коего полезность была испытана на деле, равно как и то хитроумие, с каким Салабаэтто ему последовал, а затем, вспомнив о том, что царствованию ее пришел конец, сняла с головы лавровый венок и, возложив его на Эмилию, обратилась к ней с речью, исполненную чисто женского изящества:

— Государыня! — молвила она. — Я не осмеливаюсь утверждать, будет ли наша королева милостива, но что она прелестна — это не подлежит сомнению. Мне остается только пожелать, чтобы во все продолжение вашего царствования поступки ваши соответствовали вашей красоте.

Сказавши это, она села на свое обычное место.

Эмилия зарделась — не столько оттого, что ее возвели на королевский престол, сколько оттого, что ей при всех были сказаны слова, доставляющие особое удовольствие женщинам, — сейчас ее можно было уподобить розе, распутившейся на заре. Долго не поднимала она очей — до тех пор, пока не сбежала с ее лица краска смущения, а затем, поговорив с дворецким о делах, которые касались всего общества, повела такую речь:

— Прелестные дамы! Нам с вами нередко приходилось видеть, что волов, часть дня походивших в ярме, освобождают от ярма, распрягают и пускают пастись на воле в лесу. И еще мы видим, что сады, обильные многообразными густолиственными деревьями, гораздо красивее тех лесов, где растут одни лишь дубы. Вот почему, приняв в рассуждение, сколько дней мы, соблюдая установленное правило, беседовали, я нахожу, что теперь нам, нуждающимся в отдыхе, было бы не только полезно, но даже необходимо погулять, а затем мы со свежими силами снова впряжемся в ярмо. И вот почему, когда мы завтра продолжим приятную нашу беседу, я не стану стеснять вас каким-нибудь одним предметом, — пусть каждый рассказывает *О чем угодно*, — я стою на том, что от рассказов на различные темы мы получим не меньшее наслаждение, чем если бы все мы избрали один предмет. Тем же, кто будет царствовать после меня, легче будет заставить нас, отдохнувших, по-прежнему соблюдать существующий у нас закон.

Сказавши это, королева всех отпустила до ужина.

Все изъявили королеве одобрение за ее мудрую речь, а затем встали, и тут каждый выбрал себе занятие по душе: дамы начали плести венки и развлекаться, молодые люди — играть в разные игры и петь, и так прошло у них время до ужина. Затем все уселись возле прелестного фонтана и весело, с удовольствием отужинали, а после ужина стали, по обыкновению, петь и танцевать. Под конец, несмотря на то что было уже спето немало песен, причем участники веселья сами вызывались что-нибудь спеть, королева, следуя установлению своих предшественников, сказала, что теперь должен спеть песню Панфило, и тот охотнейшим образом начал так:

Любовь! Так много счастья
Я от тебя, всевластной, получил,
Что страшный пламень твой — и тот мне мил.

Такую радость сердце ощущает,
Что не сокрыть ее,
Как ни владей собою.
Ясней с минутой каждой возвещает
О ней лицо мое
Любой своей чертою:
Тому, кто всей душою
Себя высокой страсти посвятил,
Не утаить ее победный пыл.

Но о своем восторге без предела
Хранить стараюсь я
Упорное молчанье:
Мое воображение несмело,
Убога речь моя,
И для меня страданье
Знать, что при всем желанье
Не хватит мне, увы, ни слов, ни сил
Поведать, как судьбой я взыскан был.

И сам бы не дерзнул предполагать я,
Что через день всего
Придет конец остуде
И вновь друг друга примем мы в объятья.
Так можно ль ждать того,
Чтоб в столь безмерном чуде
Не усомнились люди?
Вот почему не говорить решил
Я о блаженстве, коего вкусил.

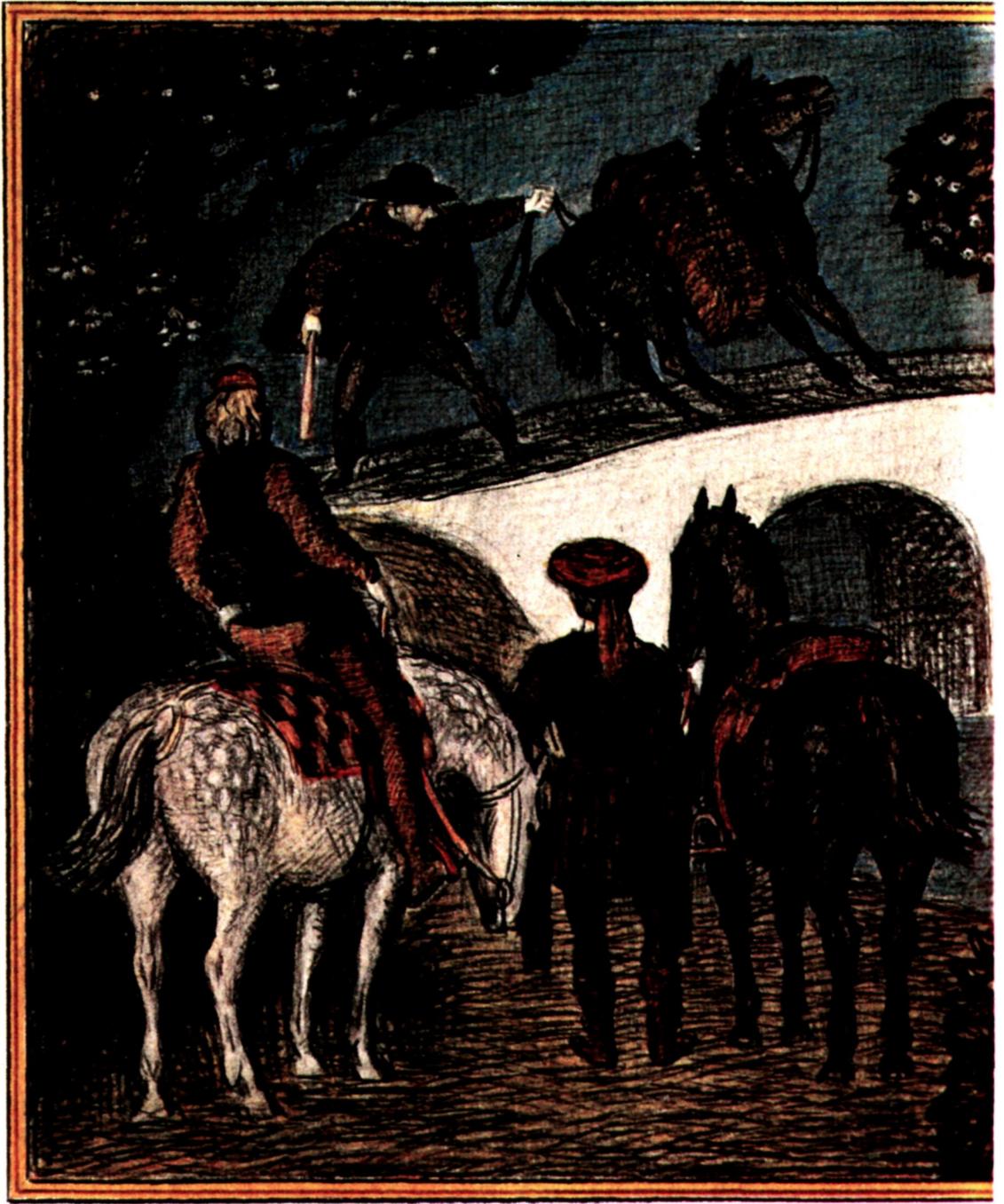
На этом Панфило кончил свою песню. Молодые дамы и юноши дружно подхватывали припев, что не мешало им необычайно внимательно вслушиваться в слова песни, дабы уловить таинственный ее смысл. Все толковали ее по-разному — и все были куда как далеки от истины. Между тем королева, приняв в соображение, что песня Панфило окончена, а молодым дамам и юношам хочется отдохнуть, велела всем идти спать.



Контится восьмой день
ДЕКАМЕРОНА,
начинается девятый



*В день правления Эмилии
каждый рассказывает о чем угодно
и о чем ему больше нравится*









же от сиянья зари побежали ночные тени, а звездное небо из синего стало бледно-голубым, и цветы на лугах начали поднимать головки, когда Эмилия, встав с постели, велела позвать своих подружек и молодых людей. Когда они собрались, королева медленным шагом повела их к рошице, что росла недалеко от дворца, и, войдя в нее, все увидели разных животных, как, например, косуль, оленей и прочих; на них теперь почти не охотились, так как чумное поветрие не прекращалось, и они без опаски, точно прирученные, ожидали приближения людей. Люди же приближались то к тому, то к другому животному для развлечения и делали вид, что вот сейчас бросятся за ними в погоню, а животные вскачь от них убегали. Наконец солнце взошло, и все порешили вернуться. Они сплели себе венки из дубовых листьев, руки у них были полны душистых трав и цветов. Если бы кто-нибудь тогда с ними встретился, то, верно уж, сказал бы себе: «Их и смерть не возьмет, а если они и умрут, то благословляя жизнь». Так, идя тихим шагом, распевая, болтая и шуточки отпуская, дошли они до дворца, — здесь все уже было готово, их ожидали слуги с приветливыми и веселыми лицами. Дамы и молодые люди немного отдохнули, потом спели шесть песенок, одна веселей другой, после чего им подали воды для мытья рук, дворецкий согласно воле королевы усадил их за стол, тут подали кушанья, и сотрапезники в отличнейшем расположении духа отдали им должное. После трапезы все стали танцевать круговые танцы, играть на музыкальных инструментах, а затем королева дозволила желающим пойти отдохнуть. В обычный час все в определенном месте собрались для беседы. Обратив взор на Филомену, королева объявила, что положить начало нынешней беседе надлежит ей. Филомена улыбнулась и начала так.





*Донну Франческу любят Ринуччо и Алессандро, она же их не любит;
одному она приказывает лечь в склеп, как будто он мертвый,
а другому велит вынести оттуда мнимого покойника;
и того и другого постигает неудача;
тогда донна Франческа ловко от них отделяется*



осударыня! Вашему величию заблагорассудилось вывести нас на открытое и широкое поле повествования, и мне очень лестно, что это состязание начинаю я; если же я сумею положить ему удачное начало, то можно не сомневаться, что у тех, кто будет рассказывать после меня, дело пойдет хорошо, может быть, даже еще лучше.

Из многих выслушанных нами рассказов явствовало, дражайшие дамы, каковы суть и сколь могущественны силы любви, однако я не думаю, чтобы все об этом было уже сказано, — мы бы и за целый год всего не перетолковали. Мало того что любовь подвергает любящих смертельной опасности, — она приводит их в обиталище мертвых, как будто они тоже умерли, и вот мне хочется в добавление к тому, что мы уже слышали, предложить вашему вниманию повесть, из коей вам станет ясно, сколь сильна любовь, и из коей вы узнаете, какую находчивость выказала некая достойная женщина, чтобы отвязаться от двух поклонников, любивших ее без взаимности.

Итак, да будет вам известно, что в городе Пистойе жила когда-то пригожая вдовушка, и нужно же было случиться так, чтобы ею прельстились два наших флорентийца, изгнанные из Флоренции и проживавшие в Пистойе, — Ринуччо Палермини и Алессандро Кьярмонтези, причем каждый из них, не подозревая о существовании другого, хитроумно применял все имевшиеся в его распоряжении средства, дабы покорить свою возлюбленную. Оба старались воздействовать на знатную даму (звали ее донной Франческой де Ладзари) посланиями и мольбами, она же имела неосторожность приклонять к ним слух, а когда благоразумие взяло верх, то отступать было уже трудно, и вот тут-то она и надумала, как избавиться от их назойливости: ей пришло в голову попросить их об

одной услуге, вообще говоря — не невозможной, но для них обоих заведомо непосильной, с тем чтобы их неудача послужила для нее благовидным и разумным предлогом, дабы решительно их отвергнуть. Мысль ее состояла в следующем. В тот самый день, когда она у нее появилась, в Пистойе умер один человек, которого, несмотря на то что он вел свое происхождение от славных предков, все признавали за самого скверного человека не только во всей Пистойе, но и в целом мире. Притом он был до того уродлив, столь безобразная была у него образина, что тот, кто видел его впервые, невольно содрогался от ужаса; похоронили же его в склепе, на кладбище при монастыре миноритов. Донна Франческа нашла, что это обстоятельство может способствовать успеху задуманного ею предприятия.

Она обратилась к своей служанке с такими словами: «Тебе известно, как мне надоели и опостытели послания двух флорентийцев, Ринуччо и Алессандро. Я вовсе не намерена осчастливить их своею любовью, и вот, чтобы от них отвязаться, я порешила, — ведь на словах-то они все готовы для меня сделать! — подвергнуть их испытанию, которое они, понятно, не выдержат, и тогда я буду избавлена от их назойливости. Вот что я измыслила. Тебе известно, что нынче утром похоронили на кладбище при монастыре миноритов Сканнадио (так звали того гадкого человека), а ведь его и живого пугались самые бесстрашные люди в нашем городе. Так вот, сбегай сперва к Алессандро и скажи: «Донна Франческа велела тебе передать, что она готова полюбить тебя и, если хочешь, побыть с тобою наедине, но вот что для этого нужно сделать. По причине, которую она тебе потом объяснит, один из ее родственников должен принести ей ночью тело Сканнадио, которого нынче утром похоронили, но она этого не хочет, потому что боится. Так вот, она просит тебя оказать ей большую услугу: ночью, в первосонье, пойди на кладбище, войди в склеп, где похоронен Сканнадио, надень на себя его саван, ляг на его место и жди, за тобой придут — а ты молчи, ни звука! — и отнесут к ней в дом, она тебя встретит, и ты с ней побудешь, потом уйдешь, а она все уладит». Согласится Алессандро — отлично, а если нет, то скажи ему от моего имени, чтобы он не смел попадаться мне на глаза и, если только ему дорога жизнь, не рисковал посылать мне письма. От него пойди к Ринуччо Палермини и скажи: «Донна Франческа говорит, что исполнит любое твоё желание, если ты окажешь ей большую услугу: в полночь войди в тот склеп, где утром похоронили Сканнадио, и, не издав ни звука, что бы ты там ни увидел, ни услышал и ни испытал, осторожно достань его тело и отнеси к ней в дом. Там ты узнаешь, почему она обратилась к тебе с такой просьбой, и утолишь свою страсть. Если же ты откажешься, то она воспретит тебе посылать ей письма».

Служанка побывала у обоих и каждому сказала все, что ей было велено. Оба ответили, что если донне Франческе будет угодно, они не то что в склеп, а и в преисподнюю сойдут. Служанка передала их ответ госпоже, и донна Франческа стала ждать той минуты, когда наконец выяснится, так ли оба ее поклонника глупы, чтобы пойти на столь многотрудное дело.

И вот глухою ночью Алессандро Кьярмонтези вышел в одном полукафтанье из дому и направился к склепу, чтобы лечь в гроб вместо Сканнадио. Дорогой ему, однако ж, стало очень страшно, и он начал сам с собой рассуждать: «Какой же я болван! Куда меня несет? Не ровен час, родные донны Франчески догадались, что я ее люблю, невесть что вообразили и толкнули ее на это, чтобы убить меня в склепе. Коли так, то я пропал — никто ничего не узнает, убийство останется безнаказанным. Чего доброго, это мне подстроил кто-нибудь из моих недоброжелателей, а она его любит и хочет ему угодить. Положим даже, что все это в з д о р , — продолжал о н , — положим, ее родные в самом деле намерены отнести меня к ней в дом. Вряд ли, однако ж, они отнесут туда тело Сканнадио, чтобы его обнимать или же чтобы его заключила в объятия донна Франческа, — скорее всего он при жизни чем-нибудь им насолил, и теперь они в отместку хотят надругаться над его телом. Она велела мне молчать, что бы ни случилось. А вдруг они примутся выкалывать мне глаза, вышибать зубы, отсекают руки или что-нибудь в этом роде , — что мне тогда делать? Как тут смолчишь? А если я заговорю, они меня сейчас узнают, и тогда, должно полагать, мне от них попадет, а если и не попадет, то я все равно на мели: ведь не оставят же они меня с донной Франческой вдвоем! А потом она скажет, что я нарушил ее запрет, и ничего мне от нее не дожидаться». Тут он чуть было не повернул обратно, однако же страстная любовь, подсказав ему чрезвычайно веские доводы «за», повлекла его вперед и подвела к самому склепу. Отворив дверцу, он вошел в склеп, раздел Сканнадио, надел на себя его саван и лег, а сверху положил плиту, но стоило Алессандро лечь на место покойника, как ему сию же минуту вспомнилось, что это был за человек, и еще пришли ему на память все страшные рассказы о том, что творится по ночам не только в склепах, но и в других местах. Волосы встали у него дыбом; ему казалось, что вот сейчас поднимется расканалья Сканнадио и прикончит его. Однако, воодушевляемый пламенною своею страстью, он преборол всякий страх; лежа неподвижно, как настоящий покойник, он ожидал решения своей участи.

Близко к полночи вышел из своего дома Ринуччо и отправился исполнять веление владычицы его души. Дорогой его одолевали много-различные мысли касательно того, что его ожидает, например: вдруг его с телом Сканнадио задержит городская стража, а затем он по обвинению в чародействе будет сожжен на костре? Вдруг, если все это узнается, его возненавидят родственники Сканнадио? И прочие тому подобные мысли лезли Ринуччо в голову и едва не удержали его. Однако ему удалось переломить себя. « Неужто , — подумало о н , — я отвечу отказом на первую же просьбу, с которой ко мне обратилась благородная эта дама, которую я так любил и продолжаю л ю б и т ь , — откажусь сделать для нее то, чем я могу снискать ее благоволение? Нет, пускай я погибну, но слово свое сдержу!» Тут он снова тронулся в путь и, дойдя до склепа, без всяких усилий отворил дверцу.

Алессандро, услышав, что кто-то идет, испугался, однако ж ничем себя не выдал. Ринуччо вошел и, воображая, что это тело Сканнадио,



взял Алессандро за ноги, вытащил его и, взвалив на плечи, направил стопы свои к дому донны Франчески. Нес он мертвое тело без всякого бережения, и оно поминутно ударялось об углы скамеек, стоявших по обе стороны улицы, а ночь выдалась темная-претемная, в двух шагах ничего не было видно. Донна Франческа, в полной уверенности, что сейчас она укажет обоим от ворот поворот, и ее служанка стояли в это время у окон и смотрели, не несет ли Ринуччо Алессандро, и вот, когда Ринуччо уже приблизился к лестнице ее дома, стражники, устроившие на той улице засаду с целью изловить одного высланного, услышали шаги Ринуччо и, подняв фонарь, дабы решить, что делать и куда устремиться, взяв копья наперевес и придерживая руками щиты, крикнули: «Кто идет?» Как увидел Ринуччо стражников, так, не долго думая, бросил Алессандро и пустился бежать со всех ног. Алессандро вскочил и, хотя на нем был длинный-предлинный саван, тоже убежал.

При свете фонаря донна Франческа отлично успела разглядеть и Ринуччо, и облаченного в саван Алессандро, которого тот взвалил себе на плечи. Беззаветная храбрость обоих привела ее в крайнее изумление, однако ж, увидев, что Ринуччо сбросил с себя Алессандро и какого они оба задали стрекача, не могла удержаться от смеха. Весьма этим обстоятельством обрадованная, донна Франческа возблагодарила бога за то, что он избавил ее от навязчивых поклонников, пошла вместе со служанкой к себе в спальню, и обе они высказали такую мысль: значит же, сильна любовь Ринуччо и Алессандро, если они, как видно, исполнили то, что она им велела.

Удрученный Ринуччо хотя и проклинал незадачу, а все-таки, выждав, когда стража ушла, вернулся не к себе домой, а на то место, где он сбросил с плеч Алессандро, и, надеясь исполнить обещание, стал шарить впотьмах, однако ж тела так и не нашел; решив, что тело убрала стража, он с сокрушенным сердцем пошел домой. Так и не узнав, кто его нес, оплакивая горькую свою долю, Алессандро в совершенной растерянности также возвратился домой.

Утром все увидели, что склеп Сканнадио отперт, тело же его не обнаружили, потому что Алессандро столкнул его в яму, и тогда по всей Пистойе пошли разные слухи; глупцы же уверяли, что Сканнадио унесли черти. Со всем тем оба вздыхателя, рассказав донне Франческе, что они совершили и что с ними приключилось, каковое происшествие — утверждали они — служит им оправданием в том, что они не довели дело до конца, молили ее о снисхождении и о том, чтобы она их полюбила. Она же, притворившись, что ни единому их слову не верит, с самым решительным видом объявила, что раз они не исполнили ее просьбу, то ничего от нее и не получат. И так она от них отделалась.





*Настоятельница одного монастыря в потемках вскакивает с постели,
чтобы застать на ложе с любовником монашку, на которую ей донесли;
так как в это же самое время у нее в келье находится священник,
то она вместо покрывала второпях надевает себе на голову его подштанники;
уличенная монашка указывает на них настоятельнице,
вследствие чего монашку отпускают,
и она продолжает блаженствовать со своим возлюбленным*



огда Филомена умолкла, все стали восхищаться тем, сколь искусно отделалась донна Франческа от немилых ее сердцу поклонников; что же касается самонадеянной храбрости влюбленных, то слушатели усмотрели в ней не проявление любви, а всего-навсего сумасбродство; наконец королева, с обольстительною приятностью обратившись к Элиссе, молвила:

— Теперь твоя очередь, Элисса, — и та сейчас же начала рассказывать:

— Милейшие дамы! Донна Франческа, как мы только что слышали, хитро сумела избавиться от своей доуки, а вот одна юная монахиня отвела от себя беду благодаря своей находчивости, а еще потому, что ей благоприятствовала сама судьба. Все вы знаете, как много непроходимых дураков любят поучать и обличать, и, как это будет видно из моего рассказа, судьба иной раз выставляет их на посмешище, и за дело. Так именно и случилось с настоятельницею одного монастыря, у коей под началом находилась монахиня, о которой я и поведу речь.

Итак, надобно вам знать, что в Ломбардии есть монастырь, славящийся своим благочестием и строгим уставом, в каковом монастыре вместе с другими монахинями спасалась девушка благородного происхождения и невиданной красоты, по имени Изабетта, и вот однажды, подойдя к решетке, за которой ожидал свидания с ней один из ее родственников, она увидела пришедшего вместе с ним прелестного юношу и влюбилась в него. Пораженный ее красотою, юноша, узрев в ее очах огонь внезапно вспыхнувшего чувства, также воспылал к ней стра-

стью, однако в течение долгого времени они, к великому для них обоих огорчению, принуждены были не давать выхода сердечной своей привязанности. Но так как оба они этого чаяли, то в конце концов юноша нашел возможность украдкой навещать свою монашку, а так как она была от этих посещений в восторге, то он, к величайшему обоюдному удовольствию, был у нее не раз и не два, а много раз. И так это у них шло до тех пор, пока наконец ночью порою некая монахиня, которую ни он, ни она не заметили, увидела, как он с Изабеттой прощался и как он от нее уходил. Монахиня тут же все рассказала другим, и первоначально было постановлено немедленно уведомить о том аббатису Узимбальду, о которой монахини и все, кто ее знал, отзывались как о женщине доброй и благочестивой, но затем передумали: решено было подстроить так, чтобы настоятельница застала Изабетту с молодым человеком — тогда уж, мол, Изабетте не отвертеться. Никого больше в это не посвящая, они тайно уговорились между собой, кому когда быть на часах и на карауле, дабы застигнуть Изабетту врасплох.

И вот однажды ничего не подозревавшая, а потому никаких мер предосторожности не принимавшая Изабетта велела своему возлюбленному прийти к ней ночью, и это сейчас же стало известно тем, кто за ними следил. Поздно ночью они разделились на два отряда: одни стали на страже у входа в келью Изабетты, а другие побежали к настоятельнице, постучались и, когда она отозвалась, крикнули: «Вставайте, матушка! В келье Изабетты находится молодой человек».

В ту ночь настоятельница пребывала в обществе некоего священника, который частенько въезжал к ней в сундуке. Услышав такую весть, настоятельница, боясь, как бы торопившиеся монахини не переусердствовали и как бы под их напором не распахнулась дверь в ее келью, мигом вскочила, кое-как оделась в темноте и, воображая, что берет складчатое покрывало, которое монахини носят на голове, тогда как на самом деле то были батины подштанники, впопыхах надела их себе на голову и, выйдя из кельи и заперев за собою дверь, спросила: «Где эта окаянная?» Вместе с другими монахинями, не замечавшими, что такое у настоятельницы на голове, оттого что все их мысли были направлены на то, чтобы поймать Изабетту с поличным, она приблизилась к келье, где находилась провинившаяся, и с помощью сопровождавших ее монахинь выломала дверь. Ворвавшись к Изабетте, они увидели любовников, в обнимку лежавших на кровати, а любовники, потрясенные внезапностью вторжения, пребывали в растерянности и не шевелились. Монахини, нимало не медля, схватили девушку и по распоряжению настоятельницы повели на капитул. Юноша, в ожидании, чем все это кончится, остался в келье и начал одеваться; он был полон решимости в случае, если его любезной будет грозить расправа, отхлупить всех, кто только подвернется ему под руку, и увезти ее из монастыря.

Явившись на капитул и заняв подобающее ей место, настоятельница при всех монахинях, не сводивших глаз с обвиняемой, начала ругать ее так, как еще ни одну женщину не ругивали, за то, что она будто бы своим постыдным и зазорным поведением запятнает святость, честь и добрую

славу обители, если слух о ночном происшествии выйдет за ее пределы; к брани настоятельница присовокупляла страшные угрозы.

Девушка, устыженная, оробевшая, сознававшая свою вину, не находя слов для ответа, молчала, вызывая сочувствие у всех монахинь. Настоятельница рвала и метала, и вдруг девушка случайно подняла глаза и увидела нечто у нее на голове, равно как и завязки, болтавшиеся по бокам. Догадавшись, что это такое, и набравшись храбрости, она обратилась к настоятельнице с такими словами: «Спаси вас господи, матушка! Сначала подвяжите чепец, а потом говорите все, что вашей душе угодно».

Настоятельница не поняла, что она хочет сказать. «Какой еще чепец, бесстыдница? — возопила она. — Ты еще смеешь шутить? Тебе до шуток?»

Девушка повторила: «Матушка! Сделайте одолжение, подвяжите сперва чепец, а там можете говорить все, что вам вздумается». Тут многие монахини, взглянув на настоятельницу, равно как и она сама, после того как схватилась за голову, уразумели, на что намекала Изабетта.

Удостоверившись в своей собственной провинности, в том, что она стала явной и ее уже не скроешь, настоятельница запела по-другому и стала проповедовать нечто прямо противоположное тому, что утверждала вначале: супротив велений плоти, дескать, не устоишь, а потому пусть каждая утешается на свой вкус, но — тайком, как это у них и велось до сего дня. Отпустив девушку, настоятельница пошла спать со священником, а Изабетта пошла к своему возлюбленному, которого она потом назло завистницам много раз к себе приглашала. Те же, у кого постоянных любовников не было, тайно пытали счастья от случая к случаю.





Доктор Симоне по просьбе Бруно, Буффальмакко и Нелло уверяет Каландрино, что он забеременел; Каландрино расплачивается за снагобье каплунами и деньгами и, так и не родив, избавляется от тягости



ыслушав рассказ ЭлиССы, все возблагодарили бога за то, что он избавил девушку от злобы завистливых монашек и за то, что все для нее окончилось благополучно, а затем королева велела рассказывать Филострато, и тот, не заставив себя упрашивать, начал так:

— Прекрасные дамы! Невоспитанный судья из Марки, о котором я рассказывал вчера, не дал мне рассказать о Каландрино, а между тем я собирался вести речь именно о нем, и хотя о Каландрино, равно как и о его приятелях, было говорено немало, я все же расскажу вам то, что собирался рассказать вчера, оттого что любой случай из его жизни не может не вызвать смех.

Кто таков Каландрино и другие, о которых я намерен рассказать, — достаточно хорошо известно, а потому я распространяться об этом не стану и начну прямо с того, что у Каландрино умерла тетка и оставила ему двести лир мелочью. По сему обстоятельству Каландрино припала охоту купить именье, и он с таким видом, точно был в состоянии израсходовать на покупку десять тысяч флоринов золотом, навел справки у всех флорентийских маклеров, но едва заходила речь о цене, как он тот же час прекращал разговор. Бруно и Буффальмакко об этом знали, и они пытались убедить его, что лучше эти деньги прокутить совместно, чем приобретать землю, так как купленной на эту сумму земли хватит только на то, чтобы шарики из нее лепить, но он ни разу даже не угостил их.

И вот однажды, когда они возмущались поведением Каландрино, к ним подошел их приятель, живописец Нелло, и тут все трое стали думать о том, как бы попировать на счет Каландрино. Все это они скорехонько обмозговали, а утром проследили, когда Каландрино вышел из дому, и не успел он пройти несколько шагов — глядь, навстречу ему Нелло. «Добрый день, Каландрино!» — сказал он.

Каландрино ответил пожеланием, чтобы господь послал Нелло добрый день и удачный год. Нелло приостановился и вытаращил на него глаза. «Что ты на меня так смотришь?» — спросил Каландрино.

«Тебе ночью худо было? — спросил, в свою очередь, Нелло. — На тебе лица нет».

Каландрино встревожился. «Ах, боже мой, что же это со мной? — воскликнул он. — Как ты думаешь?»

«Да я не говорю, чтоб от этого, но только ты очень изменился — может статься, по какой-либо другой причине», — ответил Нелло и пошел своей дорогой.

Каландрино хотя и не чувствовал никакого недомогания, а все же призадумался; он пошел было вперед, но в это время находившийся поблизости Буффальмакко, увидев, что Нелло проследовал дальше, вышел к Каландрино навстречу и, поздоровавшись, спросил, что с ним.

«Ей-ей, не знаю, — отвечал Каландрино. — Вот и Нелло только что сказал мне, что я изменился. В самом деле, нет ли у меня чего-нибудь?»

«Дане нет ли, а есть, — сказал Буффальмакко, — виду тебя — краше в гроб кладут».

Дрожь пробрала Каландрино, а тут еще появился Бруно и так прямо и бухнул: «Что это с тобой, Каландрино? Ты живой мертвец. Как ты себя чувствуешь?»

Услыхав одно и то же от трех человек, Каландрино решил, что он точно занедужил, и в расстройстве чувств спросил: «Что же мне делать?»

«Иди-ка ты домой, — сказал Бруно, — ложись в постель, вели укрыть тебя хорошенько и пошли свою мочу доктору Симоне — ты же знаешь, что нас с ним водой не разольешь. Он немедленно даст тебе совет, а мы сейчас пойдем к тебе и сделаем все, что нужно».

В это время к ним подошел Нелло, и они вчетвером направились к Каландрино. Каландрино возвратился домой в полном изнеможении и сказал жене: «Укрой меня получше — я совсем болен».

Он улегся и велел служанке отнести его мочу доктору Симоне, а Симоне держал тогда в Старом рынке аптеку под вывеской, на которой была нарисована олиная голова. Тут Бруно сказал своим приятелям: «Вы побудьте с ним, а я пойду к врачу, все у него разужнаю и в случае надобности приведу его сюда».

«Пожалуйста, друг мой, сходи к врачу и все ему про меня расскажи, — молвил Каландрино, — что-то у меня внутри есть».

Бруно пришел к доктору Симоне раньше служанки и обо всем его предупредил. Когда же пришла служанка, доктор посмотрел мочу и

сказал: «Пойди скажи Каландрино, чтоб он укрывался теплее, а я сейчас к нему приду и скажу, что нужно делать».

Служанка передала Каландрино слова врача, а не в долгом времени к нему пришли врач и Бруно. Врач подсел к больному, пощупал пульс и, не стесняясь присутствия жены, объявил: «Говорю тебе как другу, Каландрино: ты, понимаешь ли, забеременел — вот и вся твоя болезнь».

Услышав это, Каландрино закричал не своим голосом: «Ах, Тесса, это все из-за того, что ты непременно хочешь быть сверху! Я тебе сколько раз говорил!» При этих словах супруга Каландрино, женщина весьма скромная, вся вспыхнула, потупилась и молча вышла из комнаты, а Каландрино между тем продолжал стенать: «Как же мне, горемычному, быть? Как я буду рожать? Как у меня выйдет ребенок? Теперь мне все ясно: меня сгубило любострастие моей жены, да пошлет ей господь несчастье, а мне счастье! Был бы я здоров, я бы сейчас встал и так бы ее вздрючил — живого места не оставил бы. А впрочем, так мне и надо: зачем я ей разрешал укладываться сверху? Ну, если только я от этого освобожусь, то уж, как бы ей ни хотелось, больше ни-ни, хоть разорвись!»

Бруно, Буффальмакко и Нелло изо всех сил сдерживались, чтобы не рассмеяться, зато доктор Простофилимоне надорвал живот от хохота. Каландрино сказал лекарю, что нуждается в его совете и помощи, долго его о том молил, и наконец доктор изрек: «Не бойся, Каландрино. Слава богу, мы скоро захватили твою беременность — через несколько дней я тебя без особенных хлопот от нее избавлю. Тебе придется только тряхнуть мошной».

«Ах, милый доктор, ради всего святого, помогите мне! — вскричал Каландрино. — У меня есть двести лир, я хотел купить на эти деньги имение. Возьмите все, когда такое дело, только бы мне не рожать, а то я просто не знаю, что делать. Я слышал, как кричат женщины, когда рожают, а ведь им легче: у них эта штука-то широкая; если же мне будет так больно, то я умру, не разродившись, вот посмотрите!»

«Не волнуйся, — сказал врач. — Я дам тебе дистиллированного питья, весьма полезного и весьма приятного на вкус — через три дня у тебя все пройдет, и ты будешь здоров, как бык, но впредь будь умней и таких глупостей не делай. В благодарность за настойку требуется шесть добрых упитанных каплунов, а на другие лекарства выдай кому-нибудь их твоих друзей пять лир мелочью — пусть купит, и все это отошли ко мне в аптеку, а я, бог даст, завтра утром пришлю тебе этого дистиллированного питья — каждое утро выпивай залпом большой стакан».

«Хорошо, хорошо, доктор!» — сказал Каландрино и, выдав Бруно деньги и на лекарства, и на шесть каплунов, попросил его взять на себя труд и все это купить.

Придя к себе, врач велел приготовить немного пойла и послал его Каландрино. Купив каплунов и все, что нужно для возлияния, Бруно вместе с приятелями и с врачом попиrowал. Каландрино три утра подряд

пил свое пойло, а затем к нему пришел врач с приятелями и, пощупав пульс, сказал: «Ты вполне здоров, Каландрино. Сидеть дома тебе уже незачем, можешь идти по своим делам».

Каландрино тотчас повеселел, встал с постели и пошел по своим делам, и, с кем бы ни случилось ему беседовать, всем он рассказывал, какой прекрасный врач Симоне: в три дня совершенно для него безболезненно вытравил ему плод. Бруно, Буффальмакко и Нелло были в восторге от того, что так ловко надули скупца Каландрино, но монна Тесса догадалась, что все это они подстроили, и долго потом ворчала на мужа.





Чекко, сын мессера Фортарриго, проигрывает в Буонконвенто все, что у него есть, да еще и деньги другого Чекко, сына мессера Анджольери; Фортарриго, в одном белье, бежит за Анджольери, кричит, что он его ограбил, велит крестьянам задержать Анджольери, а затем переодевается в его платье, садится на его коня и уезжает, и теперь уже в одном белье остается Анджольери



о, что сообщил Каландрино о своей жене, вызвало неудержимый смех всего общества. Когда же Филострато умолк, по желанию королевы начала рассказывать Нейфила:

— Достойные дамы! Если б людям выгоднее было обнаруживать перед всеми свою дурь и свою порочность, нежели здравомыслие и благонаравие, то многие окончательно разучились бы не болтать чего не следует. За примером ходить не далеко: Каландрино по простоте своей поверил в то, что он и впрямь захворал, и не сообразил, что для того, чтобы вылечиться, вовсе не требуется всем рассказывать о тайных любовных резвостях его благоверной. Рассказ о нем привел мне на память один случай с совершенно иной развязкой: в сем случае коварство взяло верх над благоразумием, обесчестив благоразумного и причинив ему огромный ущерб. Вот об этом-то я и хочу вам рассказать.

Назад тому несколько лет в Сиене жили два вполне взрослых человека, обоих звали Чекко; один из них был сын мессера Анджольери, другой — сын мессера Фортарриго. Люди они были разные; общей была у них лишь ненависть к отцам, и эта ненависть так их сблизила, что в конце концов они подружились и постоянно встречались. Чекко Анджольери, красавцу мужчине, не хватало тех денег, какие давал ему отец, и когда до него дошел слух, что в Анконскую Марку прибыл в

качестве папского легата кардинал, весьма к нему благоволивший, то он, в надежде поправить свои дела, положил поступить к кардиналу на службу. Он сообщил о своем намерении отцу и сказал, что ему нужно приодеться, купить коня и приличную сбрую, — отец дал ему денег за полгода вперед. Когда же он начал подыскивать слугу, то об этом прослышал Чекко Фортарриго; он тут же побежал к Чекко Анджольери и взмолился к нему, чтобы тот взял его с собою: он, мол, будет у него и посыльным, и слугой, и чем угодно, и жалованья ему не нужно — пусть, мол, только возьмет его на свое иждивение. Анджольери ему на это ответил, что он его с собой не возьмет, но не потому чтобы Фортарриго был к этому не пригоден, вовсе нет, а потому что Фортарриго игрок и недурак выпить. Фортарриго же дал клятвенное обещание не играть и не пить и так к Анджольери пристал, что тот в конце концов сдался и изъявил согласие.

И вот однажды утром они тронулись в путь и к обеду прибыли в Буонконvento, а так как стояла палящая жара, то Анджольери после обеда велел постелить ему в гостинице постель и, с помощью Фортарриго раздевшись и попросив разбудить его в три часа, лег спать. Фортарриго же отправился в таверну, немножко выпил, сел играть в карты и не в долгом времени проиграл все деньги, какие были при нем, и все свое платье. Надеясь отыграться, он в одном белье побежал в гостиницу и, удостоверившись, что Анджольери спит крепким сном, вынул у него из кошелька все, что там было, вернулся в таверну и, сев играть, проиграл и эти деньги. Тем временем Анджольери проснулся, встал и спросил, где Фортарриго. Фортарриго нигде не нашли; Анджольери подумал, что он, по своему обыкновению, напился и где-нибудь спит. Порешив тут его и оставить и нанять другого слугу в Корсиньяно, он приказал седлать коня и приторочить сумы; когда же он перед самым отъездом вознамерился расплатиться с хозяином, то денег у него не оказалось. Поднялся невообразимый шум; вся гостиница всполошилась; Анджольери кричал, что его ограбили и что всех, сколько их здесь ни есть, схватят и отведут в Сиену. Но тут неожиданно появился Фортарриго; ничего, кроме белья, на нем не было, и пришел он теперь уже не за деньгами Анджольери, а за его платьем. Увидав, что Анджольери собирается отъезжать, он ему сказал: «Что такое, Анджольери? Мы уезжаем? Так скоро? Подожди немножко: сюда должен с минуты на минуту прийти один человек — он мне дал тридцать восемь сольдо, а я у него оставил в залог мое полукафтанье. Я уверен, что если мы ему сейчас же заплатим, он отдаст его за тридцать пять».

Но тут пришел другой человек и сказал Анджольери, что деньги у него стащил не кто иной, как Фортарриго, — он-де назвал ему точную сумму своего проигрыша. Анджольери вышел из себя и на чем свет стоит изругал Фортарриго, и если б только он не боялся законов человеческих еще больше, чем божеских, он бы не преминул самолично привести в исполнение все то, чего он ему желал. Пригрозив ему виселицей, пригрозив высылкой из Сиены под страхом смертной казни через повешение, он сел на коня.

А Фортарриго, как будто Анджольери не ему говорил, твердил свое: «Ах, Анджольери, стоит ли из-за такой чепухи волноваться? Давай лучше подумаем вот о чем: если мы выкупим полукафтаны сейчас, то он отдаст его за тридцать пять, а если подождем хотя бы до завтра, то он запросит, во всяком случае, тридцать восемь — то есть ровно столько, сколько дал мне взаймы. То, что он дал мне денег под залог, это с его стороны любезность; оказал же он мне ее единственно потому, что я, по его совету, не с той карты пошел. Так отчего же все-таки нам с тобой не выгадать три сольдо?»

Анджольери был в совершенном неистовстве, главным образом из-за того, что присутствовавшие при сем не спускали с него глаз и, по-видимому, склонны были думать, что не Фортарриго проиграл деньги Анджольери, но что Анджольери взял деньги Фортарриго. «Что мне, висельник, до твоего полукафтаны? — кричал он. — Мало того, что ты мои деньги украл и проиграл, — ты меня задерживаешь, да еще и шутики со мной вздумал шутить!»

Но Фортарриго, как будто не к нему обращались, стоял на своем. «Нет, правда, — говорил он, — почему ты не хочешь, чтобы я выгадал три сольдо? Сам же потом попросишь их у меня взаймы. Будь другом, подожди, куда ты так спешешь? Мы еще засветло поспеем в Торренъери. Пойди сходи за кошельком. Обыщи хоть всю Сиену — тебе не найти полукафтаны, которое так было бы мне по фигуре, как это, а я почему-то должен отдавать его за тридцать восемь сольдо, хотя оно стоит сорок с чем-нибудь! Ведь это же прямой убыток!»

Анджольери, до глубины души возмущенный тем, что Фортарриго обобрал его, а теперь еще вдобавок задерживает своей болтовней, молча поворотил коня и поехал в Торренъери. У Фортарриго же был адский план; в одном белье он побежал за Анджольери, и бежал так мили две и все просил насчет полукафтаны; между тем Анджольери, чтобы Фортарриго отстал от него, нарочно припустил коня, но тут Фортарриго увидел впереди крестьян, работавших в поле, неподалеку от дороги, и заорал во всю глотку: «Держи его, держи!» Крестьяне, кто с лопатой, кто с мотыгой, бросились Анджольери наперерез и, в полной уверенности, что он ограбил того человека, который бежит за ним в одном белье и кричит, остановили его и схватили. И сколько Анджольери им ни втолковывал, кто он таков и как обстояло дело, — все было напрасно.

В это время подбежал Фортарриго и в бешенстве крикнул: «Ах ты злодей, ах ты мошенник! Ограбил меня и скорей бежать? Я тебя сейчас убью!» Тут Фортарриго обратился к крестьянам и сказал: «Вот он каков, добрые люди: спустил в карты все, что у него было, и удрал, а я в этаким виде остался в гостинице! По милости божией и благодаря вам, я, можно сказать, все уже у него отобрал, — век не забуду вам этой услуги».

Анджольери пытался оправдываться, но его не слушали. С помощью крестьян Фортарриго стащил его с коня, раздел, переоделся в его платье

и сел на его коня; Анджольери остался разутый-раздетый, а Фортарриго возвратился в Сиену и всем потом рассказывал, что коня и платье он выиграл у Анджольери. Анджольери был уверен, что явится в Марку, к кардиналу, богачом, а вместо этого возвратился в Буонконвенто бедняком, в одном белье, ехать же дальше, в Сиену, ему было стыдно; его снабдили одеждой, и тогда он сел на коня Фортарриго и поехал к родным в Корсиньяно, и прожил он там до тех пор, пока отец снова его не выручил. Так из-за коварства Фортарриго не осуществились благие намерения Анджольери, но придет время, когда Анджольери оплатит Фортарриго за все.





*Каландрино влюбляется в одну девицу;
Бруно вручает ему писаное заклинание;
стоило Каландрино прикоснуться к ней этим заклинанием, и она пошла за ним;
жена, застав Каландрино с девицей, осыпает его градом язвительных укоризн*



ак как небольшая повесть Нейфилы не вызвала ни смеха, ни толков, то королева тут же обратилась к Фьямметте и велела начать рассказывать ей, Фьямметта же с весьма игривым видом изъяснила полную готовность и начала так:

— Высокородные дамы! Надеюсь, вы со мной согласитесь, что если выбрать подходящее время и подходящее место, то, сколько бы мы о чем-либо ни рассуждали, нам все будет мало. И вот, приняв в соображение, для какой цели мы здесь собрались, — а собрались мы здесь единственно

для того, чтобы повеселиться и приятно провести в р е м я , — я утверждаю, во-первых, что здесь как раз место и сейчас как раз время для веселья и для всего, что способно позабавить, а во-вторых, что если о чем-либо рассказывали тысячу раз, то мы вольны о том же самом рассказать еще столько же — от этого предмет не станет менее занимательным. О подвигах Каландрино говорено у нас было немало, и все же, вспомнив давешние слова Филострато, что все они заняты, я осмеливаюсь добавить к уже рассказанным еще одну повесть, причем если б я когда-либо, прежде или теперь, намеревалась уклониться от истины, то я всегда сумела бы сочинить повесть или же вывести действующих лиц под вымышленными именами, но так как уклонение от истины в описании событий неизбежно расхолаживает слушателей, то я именно по этим соображениям буду рассказывать так, как оно было на самом деле.

У одного нашего состоятельного согражданина, Никколо Корнаккини, было много имений; в частности, было у него живописное имение в Камерате, и там он выстроил роскошный, великолепный дворец, а Бруно

и Буффальмакко подрядил расписывать его. Работы было много; по сему обстоятельству они пригласили в помощь себе Нелло и Каландрино и взялись за дело. Во всем доме была только одна комната, где стояла кровать и где было все, что нужно для спанья; сторожила дом старая служанка, но больше прислуги не было; сын помянутого Никколо, по имени Филиппо, человек молодой и неженатый, водил туда для своего удовольствия женщин: побудет с какой-нибудь из них день-другой, а потом выпроводит. И вот как-то раз случилось ему привести женщину по имени Никколоза, которую один мерзавец по имени Манджоне держал в Камальдоли и отдавал на подержание. Она была хороша собой, одевалась к лицу, отличалась приятностью в общении, — никто бы не подумал, что она из та к и х, — и умела поддержать разговор. Как-то в полдень она, в белом капоте, с закрученными волосами, мыла во дворе, у колодца, руки и лицо, и нужно же было случиться так, чтобы туда же пришел за водой Каландрино и, увидев ее, приветливо поздоровался с нею. Она ответила на его приветствие и внимательно на него посмотрела, но не потому, чтобы он ей понравился, а потому, что, на ее взгляд, было в нем что-то чудачковатое. Каландрино тоже на нее засмотрелся, и она ему приглянулась, по каковому случаю он начал изыскивать повод, чтобы здесь задержаться и подольше не возвращаться к товарищам, но так как он был с ней не знаком, то заговорить не решался. Она заметила, что он смотрит на нее во все глаза, и шутки ради время от времени поглядывала на него и чуть слышно при этом вздыхала. В конце концов Каландрино так в нее врезался, что ушел со двора не прежде, чем Филиппо ее позвал.

Принявшись за работу, Каландрино все время охал, а наблюдавший за ним Бруно, которому все в Каландрино казалось преуморительным, заметил это и сказал: «Черт побери! Да что с тобой, друг Каландрино? Ты все время охаешь».

«Эх, дружище, некому мне помочь!» — воскликнул Каландрино.

«А в чем?» — спросил Бруно.

«Только ты никому не говори! — молвил Каландрино. — Здесь есть одна девушка краше феи, и она так в меня влюбилась — просто чудо! Я сейчас в этом уверился, когда ходил за водой».

«Что ты говоришь! — воскликнул Бруно. — А не подружка ли она Филиппо?»

«Я сам так думаю, потому что он ее позвал, и она вошла в его дом, — отвечал Каландрино, — ну и что ж из этого? Я бы в таком деле не то что Филиппо, а и самому господу богу не дал спуска. Откровенно говоря, дружище, уж так она мне понравилась — прямо сказать не могу!»

«Я о ней порасспрошу, — сказал Бруно, — и если это и есть подружка Филиппо, то твое дело в шляпе: ведь мы с ней большие друзья. Но как это скрыть от Буффальмакко? Когда бы я с нею ни заговорил, он тут как тут».

«Буффальмакко мне не страшен, — возразил Каландрино. — Нелло — вот кого нужно опасаться, он в родстве с Тессой и может нам все дело испортить».

«Твоя правда», — заметил Бруно.

Ему нетрудно было догадаться, кого имеет в виду Каландрино: он видел, как эта девица сюда приехала, да и Филиппо ему об этом сообщил, и, воспользовавшись тем, что Каландрино пошел на нее поглядеть, он все рассказал Нелло и Буффальмакко, и они тайно уговорились между собою касательно того, какую можно устроить потеху из его влюбленности.

Когда Каландрино вернулся, Бруно спросил его шепотом: «Ну как, видел?»

«Видел! — отвечал Каландрино. — Присушила она меня!»

«Пойду посмотрю, она ли это, — сказал Бруно. — Если она, то ложись на меня».

Спустившись вниз, Бруно разыскал ее и Филиппо, подробно описал им Каландрино, сообщил, о чем тот только что с ним говорил, а затем условился с ними обоими касательно того, что каждому из них следует предпринять, дабы устроить из влюбленности Каландрино забаву и развлечение. Вернувшись, он сказал Каландрино: «Это она! Нужно действовать осторожно: коли Филиппо узнает, то всей воды Арно не хватит, чтобы обелить нас. Если мне удастся поговорить с ней, то что ей от тебя передать?»

«Ах, боже мой! — вскричал Каландрино. — Перво-наперво, я ей желаю тысячу мер тех добрых семян, от коих родятся люди, а еще скажи, что я ее верный раб, да спроси, не хочет ли она чего. Понял?»

«Понял, — отвечал Бруно, — ложись во всем на меня».

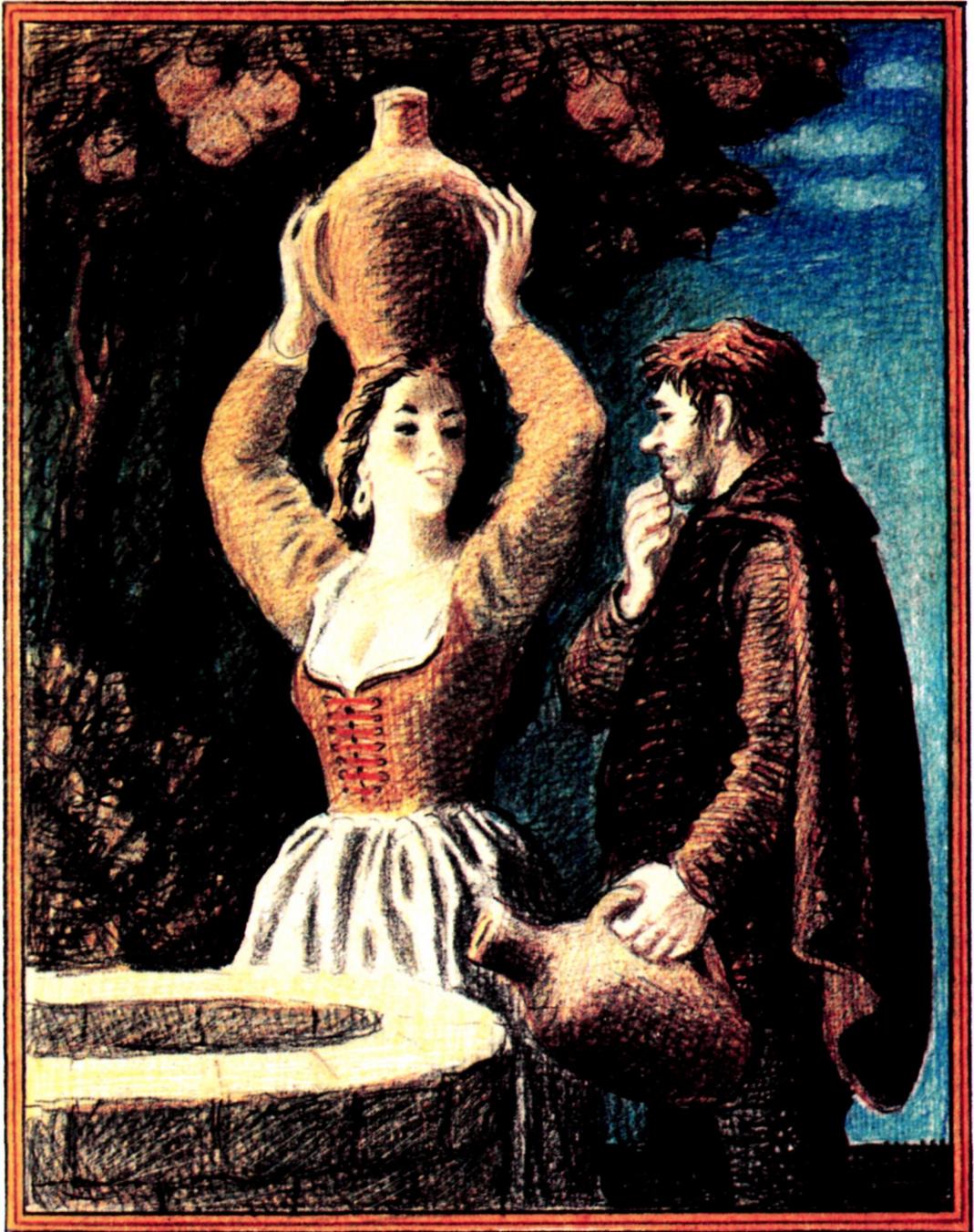
Перед ужином живописцы вошли во двор, где в это время находились Филиппо и Никколоза, и нарочно, ради Каландрино, здесь задержались. Каландрино тотчас на нее уставился, и до того чудными выходками и ужимками пытался он ее прельстить, что тут, кажется, догадался бы и слепой. Она же, со своей стороны, помня наставления Бруно, делала все, что, по ее мнению, могло его разжечь, и получала огромное удовольствие оттого, как он себя с нею держал, меж тем как Филиппо, Буффальмакко и другие делали вид, будто заняты разговором и не обращают на них ни малейшего внимания.

Со всем тем, к великому огорчению Каландрино, живописцам нужно было уходить. По дороге во Флоренцию Бруно сказал Каландрино: «Она тает от твоих взглядов, как лед на солнце, можешь мне поверить. Захвати-ка с собой гитару и спой любовные песенки — вот ей-богу, она выпрыгнет к тебе в окошко!»

«Ты правда так думаешь, дружище? — спросил Каландрино. — Взять мне с собой гитару?»

«Конечно, возьми!» — отвечал Бруно.

«Ты вот мне давеча не верил, дружище, — сказал Каландрино, — а я не зря говорил: уж если я чего захочу, то споровою лучше всякого другого. Ну кто бы так скоро влюбил в себя этакую красавицу? Пусть бы попробовали юные вертопрахи. Они только умеют лясы точить, а как до дела, так тпру! Ты погляди на меня, когда я буду с гитарой, — глаз от меня тогда не оторвешь! Ты вот думаешь, что я стар, а я, было бы тебе известно, совсем не стар, и она это прекрасно поняла, а еще лучше



поймет, когда я наложу на нее лапу. Истинный господь, я с ней такую игру затею, что она будет за мной бегать, как полоумная».

«Да уж, ты в нее коготок запустишь наверняка! — сказал Бруно. — Я так и вижу, как ты впиваешься своими острыми, что гвозди, зубами в ее алые губки, в ее щечки, похожие на розы, а потом и всю ее слопаешь».

Слушая Бруно, Каландрино живо себе это представлял. Всю дорогу он шел, напевая и пританцовывая, и ног под собой не чувал от радости. На другой день он принес с собой гитару и, к великому удовольствию всего общества, спел под ее звуки несколько песенок. И скоро он уже не мог жить без Никколозы — забросил работу, тысячу раз на день подбегал то к окну, то к двери, выбегал во двор, только бы поглядеть на нее, а она, подученная Бруно, действовала ловко и всякий раз изыскивала предлог для свидания. На его письма обыкновенно отвечал Бруно, а иногда он же доставлял ему письма и от нее. Когда ее в доме не оказывалось, — а это бывало чаще всего, — он приносил ему письма будто бы от ее имени, в которых подавал ему большие надежды, и пояснял, что теперь она у своих родителей, а там, дескать, видеться им нельзя. Так Бруно и Буффальмакко, всей этой затеей руководившие, устроили из сердечных дел Каландрино наивеселейшую забаву и время от времени заставляли его дарить себе, будто бы по просьбе его любезной, то слоновой кости гребень, то кошелек, то ножичек или же еще какие-нибудь мелочи, а ему приносили дешевые, поддельного золота, колечки, несказанно его радовавшие. Кроме того, он на славу их угощал и оказывал им всяческие любезности, дабы они продолжали принимать живое участие в сердечных его обстоятельствах.

Так прошло добрых два месяца, а дело с места не сдвинулось; между тем живописные работы подходили к концу, и Каландрино, подумав о том, что, если он до окончания работ не достигнет предела любовных своих желаний, и тогда пиши пропало, стал торопить и понукать Бруно. И вот, когда девица вернулась, Бруно, заранее войдя в заговор и с ней и с Филиппо, сказал Каландрино: «Понимаешь, дружище, эта женщина много раз обещала мне исполнить твою просьбу, а все не исполняет. По-моему, она водит тебя за нос. Так вот, раз она своего слова не держит, то мы, если ты ничего не имеешь против, заставим ее исполнить обещание, хочет она того или не хочет».

«Бога ради, заставьте, — вскричал Каландрино, — и как можно скорей!»

«А у тебя хватит смелости дотронуться до нее заклинанием?» — спросил Бруно.

«Конечно, х в а т и т », — сказал Каландрино.

«Когда т а к , — продолжал Бруно, — принеси мне пергаменту, выделанного из кожи недоношенного ягненка, живую летучую мышь, три крупинки ладана и благословенную свечу, а в остальном положишься на меня».

Весь вечер Каландрино простоял с западной, чтобы поймать летучую мышь, наконец изловил и вместе со всем прочим отнес к Бруно. Тот

удалился в другую комнату и нацарапал на пергаменте какую-то ахиною, затем вышел к Каландрино и сказал: «Послушай, Каландрино: коснись ее вот этими письменами, и она в ту же минуту пойдет за тобой и исполнит все, что тебе от нее надобно. Так вот, если Филиппо нынче куда-нибудь отлучится, приблизься к ней и коснись ее, а затем пойдй в сарай, где лежит с о л о м а , — это самое удобное место, туда никто не заглядывает. Она туда придет, вот увидишь, а когда придет — сам знаешь, что тебе тогда нужно делать».

Каландрино возрадовался духом. «Теперь, дружище, ты уж предоставь действовать м н е », — взяв пергамент с письменами, промолвил он.

Нелло, которого опасался Каландрино, потешался над ним не меньше Бруно и Буффальмакко и вместе с ними дурачил его, и когда понадобилось отрядить кого-нибудь во Флоренцию, к Тессе, то выбор Бруно пал на Нелло, и Нелло ей сказал так: «Помнишь, Тесса, как Каландрино в тот самый день, когда он притащил с берега Муньоне камней, без всякого повода тебя вздул? Вот я и хочу, чтобы ты ему отомстила; если же ты не отомстишь, то я тебе больше не родня и не друг. Он там влюбился в одну женщину, и она, подлая, часто с ним запирается. Как раз совсем недавно они уговорились в скором времени свидеться, так вот пойдй туда, подстереги его и хорошенько взгрей».

Жена Каландрино, решив, что это не шуточки, вскочила и давай кричать: «Ах, разбойник с большой дороги, ты что это, а? Крест истинный, не сойти мне с этого места, ежели я тебе не отплачу!»

Тут она схватила свою накидку и вместе со служанкой и с Нелло помчалась туда. Увидев ее еще издали, Бруно сказал Филиппо: «А вот и наша сообщница».

По сему обстоятельству Филиппо зашел в ту комнату, где работал Каландрино и другие живописцы, и сказал: «Ну, мастера, я еду во Флоренцию. Трудитесь усердно». Выйдя из комнаты, он спрятался в таком месте, откуда он, оставаясь невидимым, мог видеть все, что будет делать Каландрино.

А Каландрино, выждав, когда, по его расчету, Филиппо отъехал от дома на более или менее значительное расстояние, спустился во двор и, увидев, что Никколоза одна, заговорил с нею; она же, отлично зная, как ей должно себя вести, приблизилась к нему и приняла вид более неприличный, чем обычно, и вот тут-то Каландрино коснулся ее письменами. Как же скоро он ее коснулся, то направился к сараю, а она пошла за ним. Войдя в сарай, она заперла дверь, потом обняла Каландрино, повалила его на солому, села на него верхом и, крепко держа его за плечи, чтобы он не мог приблизить к ней свое лицо, и вперив в него взор, исполненный страсти, заговорила: «Милый ты мой Каландрино, сердце мое, душа моя, отрада моя, услада моя! Наконец-то ты мой, наконец-то я могу прижать тебя к своей груди! Ласковыми своими речами ты из меня веревку свил, игрою на гитаре ты меня приворожил. Неужто взаправду ты мой?»

А Каландрино едва мог пошевелиться. «Светик мой! Дай я тебя поцелую!» — говорил он.

«Уж больно ты скорый! — отвечала на это Никколоза. — Дай мне сперва наглядеться на тебя, дай моим очам насладиться лицезрением твоего пригожества!»

А Бруно и Буффальмакко, спрятавшись там же, где и Филиппо, видели и слышали, что происходит в сарае. Каландрино все пытался поцеловать Никколозу, но тут как раз нагрянули Нелло с монной Тессой, и Нелло сказал: «Вот как бог свят, они сейчас вдвоем». Монна Тесса в порыве ярости выломала дверь и, войдя в сарай, увидела, что Никколоза сидит верхом на Каландрино, а Никколоза, как увидела монну Тессу, вскочила — и скорей бежать к Филиппо.

Монна Тесса впилась ногтями в лицо не успевшего встать Каландрино, исцарапала его, а потом принялась таскать его за волосы и приговаривать: «Пес ты поганый, шелудивый, так ты вот что? И за что только я, окаянная, тебя, старого пса, любила? Ты что же это, на других заризишься? Ай тебе дома делать нечего? Хорош любовник! Разве ты себя не знаешь, мозгяк? Разве ты не знаешь, плюгавец, что если тебя начать выжимать, так и на подливку соку не наберется? Теперь уж ты не под Тессой лежал, а под другой, и пусть господь ее накажет, потому какой же нужно быть паскудой, чтобы польститься на этакое сокровище!»

Увидев жену, Каландрино помертвел, и у него не достало смелости обороняться; наконец, весь как есть исцарапанный, исщипанный, всклокоченный, он встал, поднял свой плащ и обратился к монне Тессе с покорною просьбою не кричать, а иначе, мол, его изрубят на мелкие куски, ибо та, что с ним бы л а , — подружка хозяина дома. «И н л а д н о , — сказала монна Т е с с а . — Не видать ей счастья, этой сквернавке!»

Бруно и Буффальмакко вместе с Филиппо и Никколозой смеялись над всем этим до упаду, а потом оба прибежали в сарай, как будто на крик, и после долгих уговоров им удалось утихомирить монну Тессу, Каландрино же они посоветовали вернуться во Флоренцию и больше носа сюда не показывать, а то как бы Филиппо не дознался и не учинил над ним расправы. И Каландрино, униженный, пристыженный, исцарапанный, встрепанный, поплелся во Флоренцию, и больше он уже здесь не дерзал появляться, — денно и ночью терзаемый и допекаемый попреками жены, он в конце концов вырвал из сердца пылкую свою любовь, а его приятели, Филиппо и Никколоза долго еще над ней потешались.





*Два молодых человека ночуют на постоялом дворе;
один из них укладывается в постель с хозяйской дочкой,
а жена хозяина по ошибке залезает в постель к другому;
тот, что развлекался с хозяйской дочерью, залезает в постель к хозяину и,
думая, что это его друг, все ему выбалтывает;
между ними вспыхивает ссора;
жена хозяина, поняв, что ошиблась кроватью, ложится рядом с дочерью,
а затем ей удается водворить мир*



аландрино уже неоднократно смешил общество, насмешил он его и на этот раз. Когда же, обсудив его поступки, дамы умолкли, королева велела рассказывать Панфило, и он начал так:

— Досточтимые дамы! Имя Никколозы, возлюбленной Каландрино, привело мне на память другую Никколозу, и вот о ней-то мне и хочется вам рассказать, ибо из моего рассказа будет видно, как находчивость некоей почтенной женщины предотвратила великую смуту.

Не так давно в долине реки Муньоне жил-был добрый человек, кормивший и поивший проезжающих за вознаграждение. Был он беден, домишко у него был маленький, и все же он пускал к себе ночевать, но не кого придется, а только своих знакомых, да и то, если они испытывали крайнюю нужду в ночлеге. У него была красивая жена и двое детей: дочь-невеста, славная, пригожая девушка лет пятнадцати — шестнадцати, и сынок, которому еще не исполнилось года и которого мать кормила сама. Девушка приглянулась прелестному, очаровательному, родовитому юноше из нашего города, и он, зачистив на постоялый двор, пламенно ее полюбил, а она тоже в него влюбилась; гордая тем, что ее горячо полюбил такой человек, каков был этот юноша, она старалась ласковым обхождением еще больше его к себе привязать, и так сильно было взаимное их влечение, что уже не раз могли бы они достигнуть конечной цели, когда бы Пинуччо (так звали юношу) не

боялся обесславить себя и девушку. Между тем любовный их пыл разгорался день ото дня все жарче и жарче, и наконец Пинуччо припала охота во что бы то ни стало сблизиться с девушкой, и он начал изыскивать предлог для того, чтобы заночевать у ее отца, а так как расположение комнат в доме было ему известно, то он понадеялся, что, если только ему удастся остаться с нею наедине, все будет шито-крыто, и как скоро этот замысел созрел у него в голове, он, даром времени не теряя, приступил к его осуществлению.

И вот однажды, поздним вечером, он и верный его друг Адриано, знавший о сердечных его делах, наняли двух верховых коней и, приторочив сумы, набитые отнюдь не соломой, выехали из Флоренции и, нарочно дав крюку, уже к ночи достигли долины Муньоне, засим поворотили коней, якобы они возвращаются из Романьи, и, подъехав к дому того почтенного человека, постучались, а так как он хорошо знал обоих, то без дальних размышлений им отворил. Пинуччо же ему сказал: «Послушай, пусти нас переночевать! Мы рассчитывали засветло приехать во Флоренцию, да припоздали, и по дороге нас, как видишь, застала ночь».

Хозяин же ему на это ответил так: «Ты, Пинуччо, знаешь, что помещение у меня не подходящее для таких важных господ, как вы, но час-то и впрямь поздний, искать другое пристанище теперь не в р е м я , — ладно, оставайтесь, в тесноте, да не в обиде!»

Молодые люди спешили и, первым делом поставив в стойло коней, вошли в дом и, вынув дорожные свои припасы, сами сытно поужинали и хозяина угостили. В доме была одна-единственная спальня, и там хозяин кое-как расставил три убогие кровати. Свободного места там уже почти не осталось: у одной стены стояли две кровати, напротив, у другой стены, — третья, а между ними был узкий-преузкий проход. Наименее убогую кровать хозяин предоставил в распоряжение друзьям и на ней их и уложил, немного погодя, когда два друга еще не спали, хотя и делали вид, что спят, на другую кровать велел лечь дочке, на третьей устроились он сам и его жена, а рядом с их кроватью хозяйка поставила колыбельку, где спал грудной младенец. Пинуччо, наблюдавший за тем, как хозяин, его жена и дочка располагались таким образом ко сну, подождал, пока все, как ему казалось, уснуло, тихохонько встал и присоседился к своей возлюбленной, она же приняла его радушно, хотя и не без опаски, и тут для них обоих наступил час долгожданного наслаждения. Они все еще были вместе, как вдруг кошка что-то свалила на пол и разбудила хозяйку — та, спросонья не разобрав, что это за стук, встала вполтама и пошла туда, откуда до нее донесся грохот. В это же самое время Адриано, не слышавший никакого стука, встал за нуждой и по дороге наткнулся на колыбельку, а так как колыбелька стояла на дороге, то он поставил ее рядом со своей кроватью, затем справил нужду и, забыв и думать о колыбельке, снова улегся.

Между тем хозяйка, удостоверившись, что она ошиблась и что упало нечто другое, порешила не доискиваться, что же именно упало, и не зажигать огня; она цыкнула на кошку и, вернувшись в спальню, ощупью

добралась до кровати, на которой спал ее муж. Но колыбельки хозяйка не нашла. «Экая же я дуруха, чуть-чуть не осрамилась! — подумала она. — Еще немножко — влезла бы прямехонько в постель к гостям». Сделав несколько шагов и нащупав колыбельку, она, воображая, что ложится под бочок к мужу, легла на ту кровать, которая стояла рядом с колыбелькой и на которой лежал Адриано. Еще не успевший уснуть Адриано, едва ощутив присутствие хозяйки, к великому ее удовольствию дал полный вперед.

Но тут получивший удовольствие Пинуччо, боясь, как бы не заснуть в объятиях своей любезной, замыслил перейти к себе в постель и отоспаться, но по дороге наткнулся на колыбельку и решил, что тут должна быть кровать хозяина; по сему обстоятельству он сделал еще несколько шагов и лег на ту кровать, где точно лежал хозяин, и когда он влез в постель, хозяин проснулся. Полагая, что рядом с ним лежит Адриано, Пинуччо сказал: «Нет ничего слаще Никколозы, уверяю тебя! Ни один мужчина так не блаженствовал с женщиной, как я с нею. Можешь себе представить? Я шесть раз вторгался в ее владения!»

Послушав такие речи, хозяин в восторг не пришел. «Здесь-то какого черта ему нужно?» — прежде всего подумал он, а затем, в порыве безрассудного гнева, обратился к Пинуччо и сказал: «Пинуччо! Ты поступил со мной подло. За что? Клянусь богом, я тебе отплачу!»

Пинуччо не принадлежал к числу умнейших юношей в мире, а потому, заметив свою оплошность, он, вместо того, чтобы по возможности загладить ее, сказал: «Как это ты мне отплатишь? Что ты можешь мне сделать?»

Жена хозяина, думая, что рядом с ней лежит муж, сказала Адриано: «Вот еще наказание! Слышишь? Гости из-за чего-то ссорятся».

«Бог с ними, пусть себе ссорятся, — смеясь, отвечал Адриано, — на ночь хватили лишнего, только и всего».

Жене хозяина, еще до того как она обратилась к Адриано, показалось, что ссорится ее муж, а теперь, услышав голос Адриано, она в тот же миг уразумела, где она и с кем. Будучи женщиною сообразительною, она молча вскочила, взяла колыбельку с младенцем и, ступая наугад, так как в каморке было темно, поставила колыбельку рядом с кроватью, на которой лежала ее дочь, затем влезла к дочке в постель и, притворившись, будто муж разбудил ее своим криком, спросила, что у него вышло с Пинуччо. «А разве ты не слыхала, как он рассказывал, чем он только что занимался с Никколозой?» — отозвался муж.

«Он нагло врет, — сказала жена. — Он и не думал спать с Никколозой. Это я перешла к ней спать и с тех пор глаз не сомкнула, а ты, дурак, ему поверил. По вечерам вы пьете, вот ночью-то вам и снится всякое, вот вы и бродите как неприкаянные и вам невесть что представляется. Как это еще вы шею себе не сломите? А почему Пинуччо забрался к тебе на кровать, почему он не на своей постели?» Тут, видя, как умно покрывает хозяйка свой и дочкин позор, вмешался Адриано. «Я сто раз говорил тебе, Пинуччо, — сказал он, — чтоб ты не бродил по ночам. У тебя скверная привычка: встанешь сонный, а потом выдаешь сонные грезы

за явь. Смотри, худо тебе когда-нибудь придется! Иди ко мне, нелегкая тебя побори!»

Послушав речи жены и речь Адриано, хозяин утвердился в мысли, что все это Пинуччо снится, а потому, схватив его за плечи, начал трясти его и будить. «Проснись, Пинуччо! — говорил он. — Иди на свою постель!»

Пинуччо, уразумев из всего этого, как должно себя вести, прикинулся спящим и понес чепуху, а хозяин залился хохотом. Но так как он продолжал трясти Пинуччо, тот в конце концов сделал вид, что проснулся, и обратился якобы к Адриано: «Что ты меня будишь? Разве уже светает?»

«Ну да! — отвечал Адриано. — Иди ко мне».

Пинуччо, разыгрывая и изображая из себя сонного, перешел с кровати хозяина на кровать Адриано. Когда же рассвело и все поднялись, хозяин начал посмеиваться и подтрунивать над ним самим и над его снами. Молодые люди, отшучиваясь, оседлали коней, приторочили сумы, потом выпили с хозяином, вскочили на коней и, не менее удовлетворенные самим приключением, нежели его успехом, поехали во Флоренцию. Впоследствии Пинуччо изыскал другую возможность видеться с Никколозой, Никколоза же сумела убедить мать, что все это ему приснилось, а хозяйка, хорошо помнившая, как ее ласкал Адриано, уверила себя, что только она одна в ту ночь и бодрствовала.







*Талано д'Имолезе, увидев во сне,
что волк искушал его жене горло и лицо, советует ей быть осторожнее;
она не слушается мужа, и все это с ней происходит наяву*



огда Панфило окончил свой рассказ, все одобрили изворотливость хозяйки, а затем королева велела рассказывать Пампинею, и Пампинея начала так:

— Досточтимые дамы! У нас уже был разговор о том, что сны не обманывают, однако многие относятся к этому с насмешкой, а потому я, хотя мы уже толковали о снах, не могу не рассказать вам вкратце о том, что не так давно случилось с одной моей соседкой, не поверившей сну, который приснился ее мужу.

Не знаю, слышали ли вы про Талано д'Имолезе, человека весьма почтенного. Жена его Маргарита, красавица писаная, но такая сумасбродка, каких еще не видывал свет, злонравная и упрямая, сама не сделала ни одного доброго дела, и ей никто не мог угодить. Талано приходилось с ней тяжело, но делать было нечего, и он все сносил. Но вот однажды ночью, когда Талано и Маргарита были за городом, у себя в имении, Талано увидел во сне, будто его жена идет по красивому лесу, который рос недалеко от их усадьбы, и вдруг, откуда ни возьмись, громадный сердитый волк: бросается прямо к ней на горло, она зовет на помощь, а он валит ее наземь и хочет утащить, однако ж ей удается от него вырваться, но горло и лицо у нее покусаны.

Наутро, встав с постели, Талано сказал жене: «Из-за твоего упрямства, жена, я ни одного дня спокойно с тобой не прожил, а все-таки, если бы с тобою стряслась беда, я бы горевал. Так вот, послушайся моего совета: не выходи сегодня из дому». Она спросила по ч е м у, — тогда он со всеми подробностями рассказал ей свой сон.

Жена покачала головой. «Зложелателю только злое и снится, — сказала она. — Так уж ты обо мне беспокоись! Тебе снится то самое, что ты бы хотел видеть наяву. Ну, а я, тебе назло, и нынче, и всю жизнь буду беречься».

«Иного ответа я от тебя и не ожидал, — молвил Таланов, — лекарю от больного всегда достается. Хочешь — верь, хочешь — не верь, а я тебе добра желаю и еще раз говорю: посиди денек дома или уж, по крайности, не ходи в наш лес».

«Ну ладно, не пойдешь», — отвечала жена, а сама подумала: «Уж больно он хитер: хочет меня запугать, чтоб я нынче в лес не ходила, а сам, поди, назначил там свидание какой-нибудь твари и боится, как бы я его не застала. Он из меня дурочку строит, ну уж это дудки, так я ему и поверила, ведь я же его насквозь вижу! Нет, ему меня вокруг пальца не обвести! Целый день в лесу проторчу, а уж высмотрю каким товаром будет он там торговать».

И вот муж вышел в одну дверь, а жена — в другую: подхватилась и — украдкой в лес, забралась в самую что ни на есть глушь и глядит по сторонам, нет ли кого. Ни о каком волке она и не помышляла, а волк тут как тут: выходит из чащи, страшный, громадный, и только успела она при виде его сказать: «Господи, помоги!» — как он бросился к ней на горло и, ухватив покрепче, понес с такой легкостью, как будто это был ягненок. Она не могла кричать, потому что горло у нее было сдавлено, не могла вырваться, и волк, уж верно, унес бы ее и загрыз, но его увидели пастухи, подняли крик, и волк бросил свою добычу. Пастухи узнали бедную, несчастную женщину и отнесли ее к ней домой, и потом ее долго лечили врачи, и в конце концов она поправилась, но горло и часть лица были у нее до того изуродованы, что из красавицы она превратилась в страшилище и уродину. С той поры она нигде не показывалась и горько себя упрекала: для чего она упрямилась, ну что бы ей поверить в вещей сон мужа!





*Бьонделло обманывает Чакко с обедом,
а Чакко в отместку ухитряется подстроить так,
что Бьонделло избивают до полусмерти*



еселое общество единодушно высказалось в том смысле, что это не снилось Талано, а что это было ему такое видение, ибо оно сбылось даже в мелочах. А когда все умолкли, королева велела рассказывать Лауретте, и Лауретта начала так:

— Мудрейшие дамы! Почти все, кто рассказывал до меня, вдохновлялись каким-либо случаем, о котором говорилось ранее, так же точно и у меня после вчерашней повести Пампинеи о жестокой мести школяра явилось желание рассказать вам о другой мести, хоть и весьма чувствительной

для ее жертвы, но все же не такой беспощадной.

Итак, жил-был во Флоренции некто по имени Чакко, обжора, каких свет не создавал, однако ж тратить много на жранье ему не позволяли средства, но так как он отлично умел держать себя в обществе и у него всегда был запас удачных и метких острот, то он избрал себе ремесло не то чтобы искусника, а скорей остряка и повадился к людям богатым и любившим вкусно поесть. Ходил он к ним и обедать и ужинать, даже когда не был зван. В то время жил во Флоренции некто Бьонделло, карапуз, чистюля и франт, никогда не снимавший шапочки; волосы у него были белокурые, длинные, до того гладко причесанные, что ни один волосок у него не торчал; промышлял он тем же, что и Чакко.

И вот однажды утром, в посту, пошел Бьонделло в рыбный ряд и купил для мессера Вьери де Черки две огромные миноги; тут его увидел Чакко. «Что это ты делаешь?» — приблизившись, спросил он.

«Вчера вечером мессеру Корсо Донати прислали три миноги куда лучше этих, а потом еще осетра, — отвечал Бьонделло, — но чтобы

угостить важных господ, которых он к себе назвал, этого не хватит, вот он и велел мне прикупить две миноги. Ты у него будешь?»

«Разумеется, буду», — отвечал Чакко.

В обеденный час он пошел к мессеру Корсо — там уже собрались его соседи, но обед еще не подавали. Мессер Корсо спросил Чакко, зачем он пожаловал. «Я, мессер, пришел отобедать вместе с вами и с вашими гостями», — отвечал Чакко.

«Милости просим», — сказал мессер Корсо. — Сейчас как раз пора обедать. Пойдемте».

Когда же они сели за стол, то сначала были поданы тунец и турецкий горох, потом жареная рыба из Арно и больше ничего. Чакко догадался, что Бьонделло его обманул; с этого дня он затаил в душе злобу и положил отплатить ему. Бьонделло многих уже успел позабавить своею шуткой, и вот несколько дней спустя Бьонделло и Чакко встретились. Бьонделло с ним поздоровался и, посмеиваясь, спросил, понравились ли ему миноги мессера Корсо, а Чакко на это сказал: «Через недельку ты сумеешь ответить на этот вопрос лучше меня».

Простившись с Бьонделло, он тот же час стоворился за определенную плату с одним прощельгой, дал ему в руки бутыл, подвел к галерее Кавиччоли и, указав на известного богача, мессера Филиппо Ардженти, верзилу, силача, здоровяка, горячку, злюку и сумасброда, каких мало, молвил: «Подойди к нему с бутылкой в руках и скажи: «Мессер! Я к вам от Бьонделло — он собирается кутнуть со своими друзьями-бражниками и покорнейше просит вас обогреть сей сосуд вашим добрым красным вином». Но только гляди, как бы он тебя не сгреб и не дал головомойки — ты мне тогда все дело испортишь».

«А еще что ему сказать?» — спросил прощельга.

«Больше ничего», — отвечал Чакко. — Ступай к нему и сей же час возвращайся — я с тобой расплачусь».

Прощельга не преминул передать мессеру Филиппо то, что ему наказывал Чакко. Мессер Филиппо, способный вспылить из-за всякого пустяка, решив, что Бьонделло, которого он знал, над ним издевается, весь налился кровью. «Что обогреть? Какие такие бражники, прах вас обоих возьми?» — гаркнул он и, вскочив, протянул было руку, чтобы схватить прощельгу, но прощельга был начеку: ловко увернувшись, он дал стрелка и другой дорогой прибежал к Чакко, который за всем этим наблюдал, а прибежав, сказал, что ему ответил мессер Филиппо.

Вполне удовлетворенный таким ответом, Чакко расплатился с прощельгой; не успокоился же Чакко до тех пор, пока не встретился с Бьонделло. «Ты давно не был в галерее Кавиччоли?» — спросил он.

«Давно», — отвечал Бьонделло. — А почему ты спрашиваешь?»

«Тебя ищет мессер Филиппо, а зачем — не знаю», — отвечал Чакко.

«Ну ладно», — сказал Бьонделло, — я иду как раз в ту сторону и с ним поговорю».

Бьонделло пошел дальше, а Чакко двинулся за ним следом — поглядеть, как обернется дело. Между тем мессер Филиппо, не настигнув прощельгу и уразумев из его слов только то, что Бьонделло, неизвестно

по чьему наущению, над ним издевается, бесился и из себя вон выходил. И он все еще выходил из себя, как вдруг видит: идет Бьонделло. Он к нему, да хватя его по лицу.

«Ай! — вскрикнул Бьонделло. — За что вы меня, мессер?»

А мессер Филиппо разорвал его шапку, сбросил с него капюшон, одной рукой вцепился ему в волосы, а другой принялся отпускать не менее увесистые зуботычины; бьет да приговаривает: «Сейчас ты, разбойник, узнаешь, за что! Что значит *обагрить*, и какие там еще *бражники*, о которых ты присылал мне сказать? Я тебе не мальчик, издеваться над собой не позволю!»

Коротко говоря, мессер Филиппо пудовыми своими кулачищами разбил ему в кровь лицо, не оставил на его голове ни одного нетронутого волоска, вывалял его в грязи, разорвал ему платье, и так он этим делом увлекся, что Бьонделло, однажды раскрыв рот, больше уже не мог произнести ни слова и не мог спросить, за что же все-таки мессер Филиппо так его обихаживает. Он слышал только: *обагрить* да *бражники*, но что это за притча — не понимал. В конце концов, когда мессер Филиппо уже как следует его отделал, сбежался народ и с превеликим трудом вырвал получившего изрядную трепку и таску Бьонделло из рук мессера Филиппо, а затем Бьонделло объяснили, почему с ним так поступил мессер Филиппо, да еще и отругали за то, что он посылал к мессеру Филиппо человека с таким поручением, — ведь он же, дескать, знает его нрав: с ним шутки плохи. Бьонделло со слезами на глазах оправдывался и уверял, что не думал никого посылать к мессеру Филиппо за вином. Немного оправившись, он, жалкий и несчастный, поплелся домой, будучи уверен, что все это козни Чакко.

Выходить из дому он начал очень нескоро — долго не проходили синяки на лице, а когда наконец вышел, то встретился с Чакко. «Ну как, Бьонделло, — спросил тот, с м е я с ь, — понравилось тебе вино мессера Филиппо?»

«Я бы хотел, чтобы тебе так же понравились миноги мессера Корсо!» — отвечал Бьонделло.

«Теперь все будет зависеть от т е б я, — сказал Ч а к к о. — Всякий раз, когда ты будешь меня так же сытно кормить, я тебя буду так же сладко поить».

Бьонделло познал на опыте, что с Чакко лучше не связываться, а потому поспешил пожелать ему всех благ и с тех пор уже не отваживался шутить с ним шутки.





*Два молодых человека спрашивают совета у Соломона:
одному хочется, чтобы кто-нибудь его полюбил,
другому хочется проучить упрямую жену;
первому Соломон отвечает:
«Полюби сам», — а другого посылает к Гусиному мосту*



ак как отнимать у Дионео его льготу никто не собирался, то очередь оставалась теперь только за королевой, и вот, после того как дамы посмеялись над злосчастливым Бьонделло, королева с веселым видом заговорила:

— Достолюбезные дамы! Если мы вникнем в порядок вещей, то легко придем к следующему заключению: женщины повсеместно подчиняются мужчинам — так устроила природа и так должно быть по всем человеческим обычаям и законам; мужчинам же дано право над ними властвовать

и повелевать ими по своему разумению, — вот почему всякой женщине, чающей обрести у того мужчины, которому она принадлежит, мир, счастье и покой, нужно быть смиренной, терпеливой, послушной, паче же всего — честной, ибо честность есть наивысшее, особенно драгоценное сокровище всякой благоразумной женщины. Если бы даже нас этому не учили законы, всегда направленные к общему благу, а также обычаи, или, если хотите, нравы, обладающие могучей и благотворной силой влияния, то на это нам достаточно ясно указывает сама природа, наделившая нас нежным и хрупким телом, робкой и боязливой душой, отзывчивым и жалостливым сердцем, слабыми телесными силами, ласковым голосом и мягкостью д в и ж е н и й, — все это наглядно доказывает, что мы нуждаемся в том, чтобы нами повелевали. А кто нуждается в помощи и руководстве, тому в силу многих причин следует быть послушным, покорным и почтительным к помощнику своему и повелителю. Кто же наши помощники и повелители, как не мужчины? Итак, мы должны подчиняться мужчинам и высоко чтить их; те же из нас, кто этого прави-

ла не придерживается, вполне заслуживают, по моему мнению, не просто строгого порицания, но и жестокого наказания. На эти мысли, — хотя они мне и прежде являлись, — навел меня давешний рассказ Пампинеи об упрямой жене, которую наказал не муж, а сам бог. Повторяю: на мой взгляд, женщины, которые не хотят быть благожелательными, сострадательными и очаровательными, как того требуют природа, обычаи и законы, заслуживают лютой и жестокой кары. И вот мне хочется рассказать вам о том, какой совет преподал однажды Соломон, какое спасительное средство измыслил он от подобного рода болезни; те же, кто в таковом средстве не нуждается, пусть на свой счет этого не принимают, хотя, впрочем, у мужчин существует поговорка: «Шпоры плачут о любом коне, палка плачет о любой жене». Если принять это изречение в шутку, то все без труда признали бы его за истину, но если допустить, что в нем заложен глубокий нравственный смысл, то я утверждаю, что и в сем случае нельзя не признать его справедливым. Все женщины по природе своей слабы и нестойки, и потому палка в качестве меры наказания нужна женщинам порочным, преступающим границы дозволенного, нужна для того, чтобы их исправить, но не только им: палка нужна и тем женщинам, которые не сходят со стези добротели, — нужна для того, чтобы укреплять в них стойкость и держать их в страхе. Оставим, однако ж, поучение и перейдем к предмету моего рассказа.

Ну так вот, когда громкая слава о чудодейственной премудрости Соломона и о безмерном его человеколюбии, в силу которого он делился ею со всяким, кто желал увериться в ней на опыте, облетела едва ли не всю вселенную, люди толпами начали стекаться к нему со всех концов света, дабы в их крайних и несчастных обстоятельствах он что-либо им присоветовал. С этой целью направился к нему и один благородный и весьма богатый юноша по имени Мелисс; родом он был из города Лаяццо и там и проживал. От Антиохии до Иерусалима он ехал вместе с другим юношей по имени Иосиф, — ему было с ним по пути, — и, по обычаю путешественников, они дорогой разговорились. Сначала Мелисс любопытствовал, кто таков Иосиф и откуда он родом, а потом спросил, куда он едет и с какою целью. Иосиф же ему на это ответил, что едет он к Соломону испросить совета, как ему быть с женой, — такой упрямой и злой жены еще не видывал свет, и он ни мольбами, ни ласками и ничем иным так и не сумел сломить ее упрямство. Ответив Мелиссе, Иосиф, в свою очередь, задал ему вопрос, откуда, куда и зачем он едет.

Мелисс же ему на это ответил так: «Я из Лаяццо. Ты по-своему несчастлив, а я по-своему. Я богат, я много трачу на угощение и чествование моих сограждан, но — странное и непонятное дело: никто меня не любит. Поэтому-то я и еду туда же, куда и ты: хочу испросить совета — что мне сделать для того, чтобы меня полюбили».

Наконец совместно путешествовавшие Мелисс и Иосиф добрались до Иерусалима, с помощью одного из приближенных Соломона были к нему допущены, и тут Мелисс вкратце изложил суть дела; Соломон же ему ответил: «Полюби сам».

Как скоро Соломон это изрек, Мелисса тотчас вывели, и тогда изъяснил цель своего приезда Иосиф; Соломон же не нашел ничего лучшего ответить, как: «Ступай к Гусиному мосту». Едва царь это вымолвил, Иосифа с такою же точно поспешностью выпроводили, и, встретившись с Мелиссом, который его поджидал, Иосиф сообщил ему ответ царя.

Долго они оба вдумывались в его речи, но так и не постигли, каков их смысл и как их можно применить к делу, и с таким чувством, словно над ними насмеялись, отправились восвояси. Проведя в пути уже несколько дней, они подъехали к реке, через которую был переброшен красивый мост, а так как в это время по мосту проходил длинный караван вьючных мулов и лошадей, то им пришлось ждать, пока весь караван не перейдет на тот берег. Почти все уже перебрались, и вдруг один мул, как это часто случается с мулами, заупрямился — и ни с места. Тогда погонщик начал слегка подгонять его палкой. Мул метнулся в одну сторону, потом в другую, затем стал пятиться назад, а вперед ни за что не хотел идти. Погонщик озверел — и ну колотить его изо всех сил по голове, по бокам, по крупу, но и это не возымело действия.

Мелисс и Иосиф видели, как погонщик бил мула. «Что ты делаешь, разбойник? — закричали о н и . — Ты что, совсем забить его хочешь? Чем колотить, ты бы с ним по-хорошему, л а с к о й , — так бы он скорее послушался».

Погонщик же им на это сказал: «Вы знаете норов своих коней, а я знаю норов своего мула. Я с ним управлюсь, а вы уж мне не мешайте». С этими словами он опять принялся колотить мула и так наломал ему бока, что в конце концов мул сдвинулся с места, погонщик же добился своего.

Перед тем как тронуться в путь, Иосиф спросил одного почтенного человека, сидевшего на краю моста, как этот мост называется: почтенный же человек ему ответил: «Это, господин, Гусиный мост».

Как скоро Иосиф это услышал, ему тотчас пришли на память слова Соломона. «Сдается мне, приятель, — сказал он Мелиссе, — что совет Соломонов — добрый, полезный совет: я вот не бил жену, а погонщик мне показал, как должно с ней обходиться».

Некоторое время спустя путники прибыли в Антиохию, и тут Иосиф предложил Мелиссе денек-другой у него отдохнуть. Жена встретила его неласково, он же велел ей приготовить на ужин то, что пожелает Мелисс, и по просьбе Иосифа Мелисс в коротких словах изъяснил, чего бы он хотел. Жена, по своему обыкновению, сделала не так, как просил Мелисс, а почти наоборот.

«Тебе было сказано, что приготовить на ужин?» — в сердцах спросил ее Иосиф.

«Это еще что за новости? — вскинулась на него жена . — Почему ты не ужинаешь? Мне было сказано так, а я захотела сделать по-своему. Нравится тебе — ешь, не нравится — сиди голодный».

Мелисс подивился такому ответу и стал отчитывать Иосифову жену, а Иосиф сказал: «Ты, жена, какая была, такая и осталась, но я тебя заставляю переменить нрав, можешь мне поверить». Тут он обратился к Мелис-

су и сказал: «Сейчас мы, приятель, испытаем на деле совет Соломонов. Но только я прошу тебя не принимать близко к сердцу моего обхождения с женой — отнесись к этому как к милой шутке. Если же ты захочешь вступить за мою жену, то вспомни, что нам сказал погонщик, когда мы пожалели его мула».

Мелисс же ему на это сказал: «Я — гость, мне не пристало прекословить хозяину».

Иосиф отломил от молодого дубка сук, прошел в ту комнату, куда, вскочив из-за стола, с ворчаньем проследовала жена, схватил ее за косы и, повалив на пол, начал лихо дубасить. Жена сперва кричала, потом грозила, — на Иосифа, однако ж, это не производило впечатления; тогда она, уже вся избитая, начала молить о пощаде, о том, чтобы он, ради бога, ее не убивал, и поклялась ничего больше не делать ему назло. Иосиф и тут не унялся; напротив того: свирепея с каждым ударом, он продолжал изо всей мочи колошматить ее по бокам, по ногам, по плечам и щупать ей ребра; прекратил же он расправу не прежде, чем выбился из сил. Словом сказать, у несчастной женщины не осталось ни одной целой косточки.

Учинив расправу, Иосиф пошел к Мелиссу и сказал: «Завтра мы увидим, насколько полезен совет: *«Ступай к Гусиному мосту»*. Немного отдохнув и вымыв руки, он поужинал с Мелиссом, а затем, когда пришло время, оба легли спать.

Между тем бедняжка жена, через силу поднявшись с пола, повалилась на кровать, а к утру немножко отошла, встала спозаранку и послала спросить Иосифа, чего бы он хотел покушать. Иосиф и Мелисс рассмеялись; затем Иосиф отдал распоряжения, и когда они в условленный час возвратились домой, то все уже было готово и все сделано, как он хотел. И тогда они оба оценили тот самый совет, который сначала показался им вздорным.

Несколько дней спустя Мелисс уехал от Иосифа и, возвратившись домой, сообщил одному мудрецу, что ему посоветовал Соломон. Мудрец же сказал Мелиссу: «Более доброго, более полезного совета он тебе дать не мог. Ведь ты же не станешь отрицать, что ты никого не любишь. Почести и услуги ты оказываешь вовсе не из любви к людям, а единственно из тщеславия. Полюби сам, как сказал тебе Соломон, и тогда тебя полюбят другие».

Так была наказана упряmica, а юноша, полюбив, снискал любовь.





Дон Джанни, исполняя настойчивую просьбу Пьетро, колдует над его женой, для того чтобы превратить ее в кобылу; когда же дело доходит до прилаживанья хвоста, Пьетро говорит, что хвост ему не нужен, и колдовство теряет свою силу



рассказ королевы вызвал слабый ропот у дам и смех у мужчин. Когда же все умолкли, Дионео начал так:

— Обольстительные дамы! Черный ворон виднее означает красоту белых голубей, нежели белый лебедь. Так же точно попавший в компанию мудрых людей человек менее мудрый не только усиливает блеск и красоту их ума, но и развлекает их и забавляет. Вот почему вы, люди умнейшие и скромные, должны особенно ценить меня, человека недалекого, за то, что мои недостатки оттеняют ваши совершенства; будь я наделен большими достоинствами, они затмили бы ваши. Следственно, мне должна быть предоставлена полная возможность показать, что я собой представляю, вам же следует слушать меня с большим терпением, чем если б я был умнее. Итак, я хочу предложить вашему вниманию не весьма длинный рассказ, из коего вам станет ясно, сколь неуклонно надлежит исполнять волю колдующего и что малейшая ошибка в таком деле может испортить все, чего добился колдовавший.

Несколько лет тому назад в Барлетте жил священник, дон Джанни ди Бароло; приход у него был бедный, и, чтобы свести концы с концами, дон Джанни разъезжал на своей кобыле по апулийским ярмаркам: на одной купит, на другой продаст. Во время своих странствий он подружился с неким Пьетро из Тресанти — тот с такими же точно целями разъезжал на осле. В знак любви и дружеского расположения священник звал его, по апулийскому обычаю, не иначе, как голубчиком, всякий раз, когда тот приезжал в Барлетту, водил его в свою церковь, Пьетро

всегда у него останавливался и пользовался самым широким его гостеприимством. Пьетро был бедняк, в его владениях хватало места только для него самого, для его молодой и пригожей жены и для его осла, и все же когда дон Джанни приезжал в Тресанти, то останавливался он у Пьетро, и тот в благодарность за почет, который оказывал ему дон Джанни, с честью его у себя принимал. Но так как у Пьетро была всего одна, да и то узкая, кровать, на которой он спал со своей красавицей женой, то он при всем желании не мог отвести для него удобный ночлег, и дону Джанни приходилось спать в стойлице, на охапке соломы, вместе с кобылой и с ослом. Зная, как священник ублажает Пьетро в Барлетте, жена Пьетро не раз выражала желание, пока священник у них, уступить ему свое место на кровати, а самой ночевать у соседки, Зиты Карапрезы, дочери Джудиче Лео, и говорила о том священнику, но священник и слушать не хотел.

Однажды он ей сказал: «Джеммата, голубушка, ты за меня не беспокойся, мне хорошо: когда мне вздумается, я превращаю мою кобылу в смазливую девчонку и с нею сплю, а потом, когда мне заблагорассудится, снова превращаю ее в кобылу, так что расставаться мне с ней неохота».

Молодая женщина подивилась, но поверила и рассказала мужу. «Если он и впрямь так уж тебя любит, то отчего ты его не попросишь научить тебя колдовать? — спросила она. — Ты бы превращал меня в кобылу и работал бы и на кобыле и на осле, и стали бы мы зарабатывать вдвое больше, а когда мы возвращались бы домой, ты снова превращал бы меня в женщину».

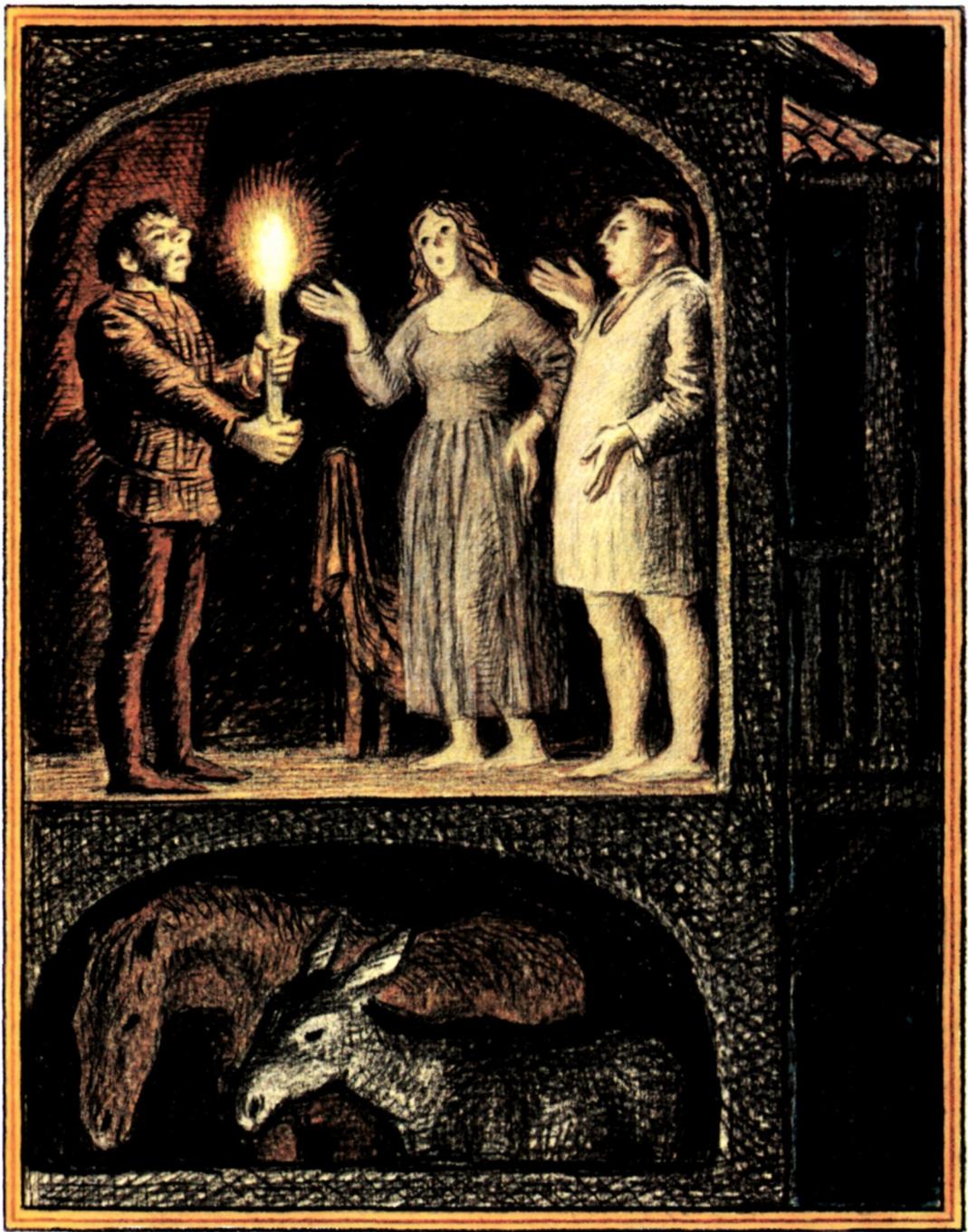
Пьетро был с придурью, а потому он в это поверил, согласился с женой и стал упрашивать дону Джанни научить его колдовать. Дон Джанни всячески старался доказать ему, что это чепуха, но так и не доказал. «Индано, — объявило он. — Если уж тебе так этого хочется, завтра мы с тобой встанем, как всегда, пораньше, еще до рассвета, и я тебе покажу, как нужно действовать. Признаться, наиболее трудное — приставить хвост, в этом ты сам убедишься».

Пьетро и Джеммата почти всю ночь глаз не смыкали — так им хотелось, чтобы священник поскорей начал колдовать; когда же забрезжил день, оба поднялись и позвали дону Джанни — тот, в одной сорочке, пришел к Пьетро и сказал: «Это я только для тебя; раз уж тебе так хочется, я это сделаю, но только, если желаешь полной удачи, исполняй прекословно все, что я тебе велю».

Супруги объявили, что исполнят все в точности. Тогда дон Джанни взял свечу, дал ее подержать Пьетро и сказал: «Следи за каждым моим движением и хорошенько запоминай все, что я буду говорить. Но только, что бы ты ни увидел и ни услышал, — молчи, как воды в рот набрал, а иначе все пропало. Да моли бога, чтобы приладился хвост».

Пьетро взял свечу и сказал дону Джанни, что соблюдет все его наставления.

Дон Джанни, приказав и Джеммате молчать, что бы с ней ни произошло, велел ей раздеться догола и стать на четвереньки, наподобие



лошади, а затем начал ощупывать ее лицо и голову и приговаривать: «Пусть это будет красивая лошадиная голова!» Потом провел рукой по ее волосам и сказал: «Пусть это будет красивая конская грива». Потом дотронулся до рук: «А это пусть будут красивые конские ноги и копыта». Стоило ему дотронуться до ее упругой и полной груди, как проснулся и вскочил некто незванный. «А это пусть будет красивая лошадиная грудь», — сказал дон Джанни. То же самое проделал он со спиной, животом, задом и бедрами. Оставалось только приставить хвост; тут дон Джанни приподнял свою сорочку, достал детородную свою тычину и, мигом воткнув ее в предназначенную для сего борозду, сказал: «А вот это пусть будет красивый конский хвост».

До сих пор Пьетро молча следил за всеми действиями дон Джанни; когда же он увидел это последнее его деяние, то оно ему не понравилось. «Эй, дон Джанни! — вскричал Пьетро. — Там мне хвост не нужен, там мне хвост не нужен!»

Влажный корень, с помощью коего растения укрепляются в почве, уже успел войти, и вдруг на тебе — вытаскивай! «Ах, Пьетро, голубчик, что ты наделал! — воскликнул дон Джанни. — Ведь я же тебе сказал: «Что бы ты ни увидел — молчи». Кобыла была почти готова, но ты заговорил и все дело испортил, а если начать сызнова, то ничего не получится».

«Да там мне хвост не нужен! — вскричал Пьетро. — Вы должны были мне сказать: «А хвост приставляй сам». Вы его низко приставили».

«Ты бы не сумел, — возразил дон Джанни. — Я хотел тебя научить».

При этих словах молодая женщина встала и так прямо и сказала мужу: «Дурак ты, дурак! И себе и мне напортил. Ну где ты видел бесхвостую кобылу? Вот наказание божеское! С таким, как ты, не разбогатеешь».

Итак, по вине нарушившего обет молчания Пьетро, превращение молодой женщины в кобылу не состоялось, и она, огорченная и раздосадованная, начала одеваться, а Пьетро вернулся к обычному своему занятию: сел на осла и поехал с доном Джанни в Битонто на ярмарку, но больше он с подобной просьбой к нему уже не обращался.

Пусть та, которой еще предстоит посмеяться над этим рассказом, вообразит, как смеялись над ним дамы, понявшие его лучше, чем мог предполагать Дионео. Рассказывать было уже некому, стало прохладнее, и тут королева, вспомнив о том, что царствованию ее пришел конец, встала, сняла с себя венки и, возложив его на голову Панфило, единственному из всех, кому эти почести еще не были возданы, сказала с улыбкой:

— Государь! На тебе, как на последнем, лежит труднейшая обязанность: исправить мои оплошности, равно как и оплошности других, занимавших тот самый престол, который ныне переходит к тебе. Да благословит же тебя господь, как благословил он меня возвести тебя на престол.

Сии почести доставили Панфило видимое удовольствие.

— Надеюсь, что и я, как и все, заслужу одобрение, — сказал он, — но этим я буду обязан вашим достоинствам, равно как и достоинствам других моих подданных.

Тут Панфило, по примеру предшественников своих, обо всем переговорил с дворецким, а затем, обратясь к ожидавшим его дамам, сказал:

— Возлюбленные дамы! Сегодняшняя наша королева, мудрая Эмилия, дозволила вам в виде отдыха рассуждать о чем угодно. Так как вы отдохнули, то, по-моему, нам следует восстановить наш прежний обычай, а именно: я бы хотел, чтобы завтра все мы были готовы рассказать *О людях, которые проявили щедрость и великодушие как в сердечных, так равно и в иных делах.* Сей предмет, вне всякого сомнения, усилит жажду подвига и у рассказчиков и у слушателей, коих помыслы к этому устремлены, и жизнь нашу, которая не может не быть быстротечной, коль скоро она в брэнном обретается теле, увековечит слава; подвига же всем, кто, в отличие от животных, заботится не только о своей утробе, надлежит не просто желать, но и всечасно искать и неустанно на сем поприще подвизаться.

Предложенный новым королем предмет пришелся жизнерадостному обществу по нраву; все с его дозволения встали и обычным предались развлечениям, причем каждый занялся тем, что ему больше всего нравилось. Так прошло время до ужина. Когда же юноши и дамы веселой гурьбою собрались ужинать, кушанья им были поданы быстро и в строгом порядке, а после ужина начали, как всегда, танцевать, спели множество песенок с незамысловатым напевом, но зато забавных по содержанию, а потом король приказал Нейфиле спеть о себе, и Нейфила, не теряя драгоценного времени, звонким и беспечальным голосом прелестно спела вот эту песню:

Как хорошо в погожий день весной
Мне, юной, петь о милом беззаботно
И радоваться жизни всей душой!
Я по лугам зеленым, где цветы
Ковром роскошным землю устелили,
Где столько алых роз и белых лилий,
Гуляю, погруженная в мечты,
И вспоминаю дивные черты
Того, кому покорствую охотно,
Затем что в мире он один такой.

Чуть попадется где-нибудь цветок,
С которым чем-то схож мой друг прекрасный,
Его срываю я, лобзаю страстно
И с ним шепчусь о том, что невдомек
На свете никому. Потом в венок,
Мне золото кудрей обвивший плотно,
Его вплетаю трепетной рукой.

Я на цветы гляжу, а вижу лик,
До боли мне знакомый и желанный,
И так меня пьянит их запах пряный,
Что не способен передать язык,
Как сладостен блаженный этот миг,
И только вздох, немой и мимолетный,
Мое волненье выдает порой.

Для прочих женщин вздох есть знак того,
Что их душа печальна и уныла,
А для меня — посланец быстрокрылый.
Летит он к дому друга моего,
И, чутким ухом уловив его,
Приходит друг на зов мой безотчетный:
«Явись, утешь меня, побудь со мной!»

И король и дамы весьма одобрили песенку Нейфилы; между тем было уже далеко за полночь, и король велел всем идти спать до утра.



Кончился девятый день
ДЕКАМЕРОНА,
начинается
десятый и последний



*В день правления Панфило
предлагаются вниманию рассказы о людях,
которые проявили щедрость
и великодушие как в сердечных,
так равно и в иных делах*









а западе еще атели облачка, а на востоке края облаков, пронизанные солнечными лучами, уже горели, как жар, когда Панфило встал и велел позвать дам и своих приятелей. Все собрались, и Панфило, обсудив с ними, куда бы сегодня пойти на увеселительную прогулку, медленным шагом вместе с Филоменою и Фьямметтою пошел вперед, а за ними все остальные. Гуляли долго и всё думали-гадали, что ожидает их в будущем, а когда солнце начало уже припекать, возвратились во дворец. Те, кому хотелось пить, велели сполоснуть стаканы и утолили жажду, а затем до самого обеда все развлекались в саду, под уютною сенью дерев. Потом поели, поспали, как это у них было заведено, и снова собрались в том месте, которое благоугодно было избрать королю, король же велел начинать Нейфиле, и та с веселым видом заговорила.





*Некий рыцарь, поступив на службу к испанскому королю,
приходит к заключению, что король не ценит его заслуг;
король неопровержимо доказывает ему на опыте, что виной тому не он,
а неволя рыцаря, после чего с неслыханною щедростью его награждает*



лубокоуважаемые дамы! Я за великую честь почитаю то, что король мне первой поручил рассказать о великодушии, ибо если солнце — краса и гордость неба, то великодушие — самая яркая и самая сверкающая из всех добродетелей. Я предложу вашему вниманию небольшой рассказ, на мой взгляд — премилый, в основе коего лежит один случай, который я нашла бесполезным припомнить.

Итак, надобно вам знать, что, пожалуй, наиславнейшим из всех доблестных рыцарей, коими город наш славился издавна, был мессер Руджери де Фиджованни. Человек богатый, смелый, он скоро убедился, что в Тоскане при ее нравах и обычаях трудно, а вернее сказать — невозможно выказать доблесть, и рассудил за благо поехать на время к испанскому королю Альфонсу, слава о доблести коего затмевала славу всех тогдашних властелинов. Обзаведясь дорогим оружием и знатными конями, в сопровождении блестящей свиты выехал он в Испанию, и король принял его милостиво. Ведя широкую жизнь и всех изумляя ратными подвигами, мессер Руджери очень скоро прославился своею доблестью. Так он жил долго и все присматривался к королю, а король на его глазах направо и налево раздавал замки, города, поместья, раздавал, как казалось мессеру Руджери, нерасчетливо, ибо он награждал недостойных. Мессер Руджери знал себе цену, и так как он ничего в награду не получил, то, полагая, что это роняет его в глазах общества, замыслил удалиться и попросил короля отпустить его. Король снизошел к его просьбе и подарил ему одного из лучших и самых красивых мулов, на каких



когда-либо ездили верхом, и для мессера Руджери это был ценный подарок, так как путь предстоял ему долгий. Затем король велел одному из своих приближенных, человеку толковому, под каким-нибудь предлогом в течение целого дня сопровождать в пути мессера Руджери, но так, чтобы мессер Руджери не подумал, что король приставил его к нему; пусть, мол, он запомнит, как мессер Руджери будет при нем отзываться о короле, — запомнит, дабы потом доложить государю, — а наутро объявит, что король велит ему ехать обратно. Приближенный, проследив, когда мессер Руджери выехал из города, ловким образом к нему пристрелял, объявив, что едет в Италию.

Итак, мессер Руджери ехал на муле, которого ему подарил король, и беседовал со своим спутником о том о сем, а в девятом часу сказал: «Надо бы дать животным отдохнуть». Животных отвели в стойло, лошади опорожнились, а мул нет. Поехали дальше, и королевский приближенный по-прежнему ловил каждое слово рыцаря. Вот подъехали они к реке, и, когда поили лошадей, мул опорожнился прямо в реку. Мессер Руджери поглядел на мула и сказал: «А, чтоб тебя! Вот скотина! Ты совсем как твой бывший хозяин».

Приближенный запомнил эти его слова; за целый день он запомнил и много других, но, кроме самых больших похвал королю, ничего не услышал. Наутро, только они сели верхами и мессер Руджери уже готов был тронуться в путь по направлению к Тоскане, как вдруг приближенный объявил ему наказ короля, и мессеру Руджери пришлось возвратиться. Когда король узнал, что мессер Руджери сказал про мула, то велел позвать его и, улыбаясь, спросил, почему он сравнил не то его с мулом, не то мула с ним.

Мессер Руджери ответил ему напрямик: «Потому я сравнил мула с вами, государь, что как вы награждаете кого не следует, а достойных не награждаете, так и он опорожнился, где не следовало, а где полагается, там не опорожнился».

Король же ему на это сказал: «Мессер Руджери! Если я многих наградил, а вас нет, хотя они не идут ни в какое сравнение с вами, то не потому, чтобы я не почитал вас за доблестнейшего рыцаря, достойного великих милостей, — у вас иной удел, а я тут ни при чем. Сейчас я вам это докажу».

Мессер Руджери возразил ему: «Государь! Я не на то ропщу, что не получил от вас награды, — я и так богат, — а на то, что вы ничем не отметили моей доблести. Впрочем, вы привели достаточно вескую и не обидную для меня причину. Я вам верю, но, если угодно, готов в том убедиться».

Король заранее распорядился внести в большую залу два запертых сундука, и теперь он привел туда мессера Руджери и в присутствии многих придворных сказал: «Мессер Руджери! В одном из этих сундуков находится моя корона, скипетр, держава, множество красивых поясов, ожерелий, перстней, — словом, все мои драгоценности, а в другом — земля. Выбирайте любой; какой выберете, тот и будет ваш, и тогда вы поймете, кто не ценил вашей доблести, — я или же ваша судьба».

Мессер Руджери, не смея ослушаться государя, выбрал сундук, и когда, по распоряжению короля, его отперли, то оказалось, что это сундук с землей. И тогда король засмеялся и сказал: «Теперь вы видите, мессер Руджери, что я был прав, когда говорил, что вам не судьба быть награжденным. Однако ж доблесть ваша такова, что я хочу потягаться с вашей судьбой. Мне известно, что вы не собираетесь стать испанцем; вот почему я не пожалую вас ни замком, ни городом, — я хочу, чтобы сундук, которого вас лишила судьба, наперекор ей перешел в вашу собственность: отвезите мой дар в родные края и покажите его вашим соотчикам, покажите им этот знак вашей доблести, коей вы имеете полное право гордиться».

Мессер Руджери принял дар и, изъявив за него королю величайшую признательность, в отличном расположении духа повез его на родину.





*Гино ди Такко, захватив в плен аббата из Ключи,
вылечивает его от желудочной болезни, а затем отпускает;
аббат возвращается к римскому двору, мирит Гино ди Такко с папой Бонифацием,
и Гино становится братом странноприимцем*



едрость, выказанная королем Альфонсом по отношению к флорентийскому рыцарю, вызвала всеобщее восхищение; когда же король, разделявший чувства своих подданных, велел рассказывать Элиссе, та, нимало не медля, начала следующим образом:

— Добросердечные дамы! Поступок щедрого короля, проявившего свою щедрость по отношению к человеку, состоявшему у него на службе, нельзя не признать похвальным и благородным. Но что скажем мы, когда узнаем, что некое духов-

ное лицо выказало поразительное великодушие к человеку, за недоброжелательное отношение к которому его никто бы не осудил? Поступок короля мы, само собой разумеется, назовем доблестным, поступок же духовного лица — из ряду вон выходящим, особенно если мы примем в соображение, что духовные лица во много раз скупее женщин и выказать щедрость — это для них нож острый. Всякий человек стремится отомстить за нанесенные ему оскорбления, — это чувство естественное, — однако ж духовные лица, как это мы видим воочию, хотя и проповедают терпение и призывают прощать обиды, однако ж их самих обуревают сильнейшая жажда мести. Это, то есть что и духовное лицо может быть великодушным, вам станет ясно из моего рассказа.

Известный своею свирепостью и своими грабежами Гино ди Такко был в свое время изгнан из Сиены, стал врагом графов ди Санта Фьоре и, поселившись в Радикофани, взбунтовал его против римской церкви и приказал своим душегубам грабить всех проезжающих. Римским папой был тогда Бонифаций Восьмой, и вот однажды к нему явился аббат из

Клюни, считавшийся одним из самых богатых прелатов во всем мире. У аббата расстроился желудок, и врачи посоветовали ему поехать на сиенские воды, которые, по крайнему их разумению, должны были оказать на него благотворнейшее действие. Папа его благословил, и аббат, не смущаясь молвою о Гино, взял с собою в дорогу пропасть вещей и с целым караваном вьючных и верховых животных, в сопровождении множества слуг тронулся в путь. Прослышав о том, Гино расставил сети так, чтобы ни один конюшонок не проскочил, и на узкой дорожке окружил аббата со всей его свитой и со всем его снаряжением. Затем он послал к нему под надежной охраной самого смышленного разбойника из всей его шайки и велел в наипучивейших выражениях предложить аббату: не соблаговолит ли он отдохнуть у Гино в замке? Аббат в запальчивости ответил решительным отказом — ему у Гино делать, мол, нечего, он намерен ехать дальше, и не родился еще на свет такой человек, который мог бы ему воспрепятствовать.

Посланец с самым смиренным видом ему на это сказал: «Ваше высокопреподобие! Мы никого, кроме всемогущего бога, не боимся, здесь все отлучения и запреты запрещены, а потому не лучше ли было бы вам оказать Гино эту любезность?»

Пока они вели этот разговор, разбойники заполонили всю округу, и аббат, уразумев, что он со своими людьми попал в плен, вне себя от возмущения двинулся вместе с посланцем к замку, а следом за ним тронулся и весь его обоз. Когда же аббат спешился, его, по распоряжению Гино, поместили в темной и неудобной комнатушке, всех же остальных, сообразно их положению, поместили со всеми удобствами, лошадей отвели в стойла, поклажу убрали, но ничего не тронули.

После этого к аббату пришел Гино и сказал: «Ваше высокопреподобие! Вы в гостях у Гино, и он послал меня узнать у вас, куда вы изволили путь держать и с какою целью».

Аббат был человек рассудительный, а потому, перестав хорохориться, объяснил, куда он держал путь и зачем. Выйдя от него, Гино подумал, что аббата можно будет вылечить без всяких вод. Он велел хорошенько топить каморку аббата и держать его под неослабным надзором, а на другое утро снова его посетил и принес ему на белоснежной салфетке два поджаренных хлебца и полный стакан корнильского белого вина — того самого, которое вез с собою аббат. «Ваше высокопреподобие! — сказал Гино. — Когда Гино был помоложе, он изучал медицину, и он утверждает, что от желудочной болезни нет лучшего средства, нежели то, которое он применяет к вам. Но это только начало лечения. Кушайте на здоровье».

Аббату было не до шуток: его мучил голод, и он, хотя его трясло от бешенства, съел хлеб и выпил вино, а потом заговорил с пришедшим свысока, о многом расспрашивал, читал ему длинные наставленья и все повторял, что ему необходимо видеть Гино. Гино мелочи пропустил мимо ушей, на некоторые вопросы ответил в высшей степени учтиво и уверил аббата, что Гино при первой возможности его посетит. Засим он удалился, а пришел только на другой день и принес такое же точно

количество хлеба и вина. Так продолжалось несколько дней, и вдруг Гино обнаружил, что аббат поел сушеных бобов, которые он ухитрился пронести в замок.

По сему обстоятельству он от имени Гино задал ему вопрос, как его желудок. Аббат же ему на это ответил так: «Я убежден, что если б мне удалось вырваться из лап Гино, я сразу почувствовал бы себя лучше, а кроме того, я умираю от голода — так хорошо мне помогли его лекарства».

Тогда Гино велел аббатовым челядинцам приготовить аббату прекрасную комнату и его же вещами ее обставить; еще он объявил, что завтра у него должен быть пир горой, и позвал не только тех, кто жил у него в замке, но и аббатову прислугу, а наутро пошел к аббату и сказал: «Ваше высокопреподобие! Раз вы поправились, вам можно выйти из больницы». Тут он взял аббата за руку и, отведа в приготовленную для него комнату, оставил его со слугами, а сам пошел отдавать последние распоряжения, — ему хотелось, чтобы пир был на славу. Отдохнув душой в обществе своих слуг, аббат рассказал им, как плохо ему здесь жилось, слуги же сообщили ему нечто противоположное, а именно — что Гино окружил их необыкновенным почетом. За пиршественным столом аббата и всех прочих угощали подававшимися в строгом порядке отменными яствами и отменными винами, однако Гино так себя и не назвал аббату. Прошло еще несколько дней, а затем Гино распорядился сложить все вещи аббата в одной комнате, лошадей же его, всех до последней клячи, вывести во двор, а сам пошел к аббату и спросил, как он себя чувствует и может ли ехать верхом. Аббат же ему ответил, что вполне может, что с желудком у него все хорошо, а как скоро он вырвется из лап Гино, то поправится окончательно.

Тогда Гино отвел аббата в комнату, где были сложены его вещи и где собралась его прислуга, и, велев подойти к окну, чтобы ему видны были его лошади, сказал: «Ваше высокопреподобие! Да будет вам известно, что я по душе не з л о й, — стать разбойником, стать врагом римского двора меня, Гино ди Такко, вынудило мое положение — положение изгнанного дворянина, у которого все отняли, вынудило множество сильных врагов и необходимость защищать свою жизнь и достоинство. Вы же представляетесь мне человеком порядочным, потому-то я и вылечил вас, и с вами я поступлю не так, как поступил бы со всяким другим, кто бы мне ни попался в руки: у всякого другого я взял бы столько, сколько бы мне заблагорассудилось, а вы уж сами, приняв в уважение мои нужды, уделите мне, сколько найдете возможным. Все ваше достояние у вас перед глазами, а лошадей вам видно из окна. Так вот, хотите — возьмите часть имущества, хотите — возьмите все и поезжайте, а не то оставайтесь у м е н я, — все это теперь в вашей воле».

Подивился аббат, услышав из уст разбойника столь благородные речи, и так приятно они его поразили, что гнев его и возмущение мгновенно утихли, уступив место благорасположению и дружеским чувствам, и под напльвом этих чувств он обнял Гино и сказал: «Чтобы найти себе такого друга, каким ты сейчас себя выказал, я бы и не такие унижения

стерпел, клянусь тебе богом, а ведь мне до сих пор казалось, что ты меня всячески унижаешь. Если б не злодейка судьба, разве ты избрал бы себе столь постыдный образ жизни?» Аббат взял с собою в дорогу лишь самые необходимые вещи, так же точно распорядился и насчет лошадей, остальное отдал Гино и поехал в Рим.

Папе стало известно, что аббат угодил в плен, и он был весьма этим обстоятельством опечален; когда же аббат к нему пришел, он спросил, помогли ли ему воды. Аббат ему на это с улыбкой ответил: «Я, святейший владыка, до вод и не доехал — я нашел себе поближе чудесного врача, и он меня вылечил». Рассказав папе, каким образом, и тем насмешив его, аббат в порыве великодушия объявил, что хочет просить его об одной милости.

Папа, будучи далек от мысли, что аббат станет просить за Гино, обещал сделать для него все. И тогда аббат сказал: «Я прошу вас об одном, святейший владыка: верните свое благоволение моему врачу, Гино ди Такко, — это один из самых достойных людей, каких я только знаю, и я не склонен строго судить его за то зло, которое он причиняет людям: такая уж у него судьба; если же вы дадите ему возможность жить, как приличествует его званию, то это произведет в его судьбе перелом, и тогда вы увидите, что я в нем не ошибся, — за это я вам ручаюсь».

Так как папа был человек великодушный и любил оказывать покровительство хорошим людям, то он сказал аббату, что с удовольствием исполнит его просьбу, если Гино и впрямь таков, как аббат его описывает, — пусть, мол, безбоязненно возвращается на родину. Уверенный в своей безопасности, Гино по настоянию аббата прибыл ко двору, а не в долгом времени папа признал его за человека достойного, помирился с ним и назначил его настоятелем большого монастыря братьев странноприимцев, предварительно посвятив в рыцари этого Ордена. И в сей должности Гино ди Такко, друг аббата из Ключи и служитель церкви, пребывал до самой своей смерти.





Митридан, позавидовав щедрости Натана, едет к нему для того, чтобы убить его; встретив Натана, но не узнав, он получает от него самого сведения, как это лучше сделать, а затем, по совету самого Натана, встречается с ним в рощице; когда же Митридан узнает наконец Натана, его мучает совесть; впоследствии он становится его другом



роявление великодушия со стороны духовного лица было всеми воспринято как нечто и впрямь из ряду вон выходящее. После того как дамы перестали о том толковать, король велел рассказывать Филострато, и тот, нимало не медля, начал следующим образом:

— Знатные дамы! Велика была щедрость короля испанского, но, пожалуй, еще удивительнее великодушие аббата из Ключни, и, быть может, вы также дадитесь диву, когда услышите о щедрости одного человека, который нарочно так все устроил, чтобы тот, кто против него злоумышлял, пролил его кровь, или, вернее, отнял у него жизнь, и так бы оно и случилось, если бы тот в самом деле посягнул на кровь его и жизнь, — вот об этом-то и пойдет речь в довольно коротком моем рассказе.

Если верить генуэзцам и всем, кто в тех краях побывал, то следует принять за непреложнейшую истину, что в Китае жил некогда благородного происхождения человек, неслыханный богач по имени Натан. Дом его стоял при дороге, которою следовал всякий направлявшийся с запада на восток или же с востока на запад, а так как Натан был человек великодушный и щедрый и эти качества души своей стремился проявлять

на деле, то и приказал он мастеровым, коих в услужении у него находилось великое множество, в кратчайший срок построить один из самых больших и роскошных дворцов, какие когда-либо видел свет, и снабдить его всем необходимым для приема и чествования славных людей. Многочисленной же и отличной прислуге своей он вменил в обязанность радушно и приветливо встречать и с честью принимать всех ехавших туда и обратно. И так строго придерживался он похвального сего обычая, что слава о нем облетела не только восток, но и почти весь запад. Он был уже стар годами, однако по-прежнему щедр, когда слава о нем донеслась наконец до слуха некоего юноши по имени Митридан, проживавшего в одном из соседних государств, и вот этот самый Митридан, такой же богатый человек, как и Натан, позавидовав его славе и доблести, замыслил так прославиться щедростью, чтобы его слава либо затмила, либо вовсе свела на нет славу Натана. Приказав воздвигнуть такой же точно дворец, как у Натана, он начал проявлять по отношению ко всем прохожим и проезжим щедрость чрезмерную, необыкновенную и за короткое время стяжал себе через то подлинно громкую славу.

Но вот однажды, когда юноша находился один у себя во дворе, какая-то старушонка, войдя в одни из дворцовых ворот, попросила подавания, и он ей подал. Потом она вошла в другие ворота и опять он ей подал, и так она подходила к нему двенадцать раз подряд. Когда же она подошла к Митридану в тринадцатый раз, то он ей сказал: «Нехорошо, голубушка, без конца клянчить», — однако ж милостыню ей подал.

А старушонка сказала: «Вот Натан так уж подлинно щедр! Я тридцать два раза входила к нему то в те, то в другие ворота, не хуже как к тебе, и просила милостыни, и он ни разу не показал виду, что признал меня, и подавал, и подавал, а к тебе я подошла всего-навсего тринадцать раз, и ты меня узнал и попрекнул». Сказавши это, она пошла прочь и больше уже не возвращалась.

Слова старухи пробудили в душе у Митридана, воспринимавшего всякое доброе слово о Натане как личное оскорбление, лютую злобу. «Вот несчастье! — заговорил он сам с собой. — Где уж мне превзойти Натана в щедрости, когда я даже в малом не могу с ним сравняться, а не то что в великом! Если я не сживу его со свету, то все усилия мои будут напрасны. Смерть его не берет, — стало быть, придется мне самому порешить его, и как можно скорее».

Тут он в порыве ярости вскочил и, никому не сказав, куда и зачем едет, и взяв с собой небольшую свиту, ускакал на коне, а на третий день прибыл в те края, где проживал Натан. Спутникам своим он велел делать вид, будто они ничего общего с ним не имеют и даже не знакомы и впредь до особого его распоряжения находиться в отдалении, а сам, уже без свиты, поехал дальше и, к вечеру достигнув Натановых владений, встретил самого Натана — тот, просто одетый, гулял один недалеко от прекрасного своего дворца; не подозревая, что перед ним Натан, Митридан спросил его, как пройти к Натану.

«Сын мой! — с приветливым видом отвечал Натан. — Во всей округе только я сумею указать к нему наивернейший путь, так что, если хочешь, я тебя к нему проведу».

Юноша сказал, что он очень рад, но ему бы не хотелось, чтобы его увидел и узнал Натан. «Если тебе так хочется, я и это устрою», — сказал Натан.

Митридан спешился, и Натан повел его к прекрасному своему дворцу, завязав с ним дорогой приятнейшую беседу. У дворца Натан велел слуге позаботиться о коне вновь прибывшего юноши и, подойдя к слуге вплотную, шепнул ему на ухо, чтобы он предупредил всех домочадцев: дескать, никто из них не должен говорить юноше, что он и есть Натан; и как он сказал, так и было исполнено. Когда же они вошли во дворец, Натан отвел Митридану отличную комнату (живя в ней, Митридан мог ни с кем не общаться, кроме предоставленных в его распоряжение слуг) и, приказав слугам как можно лучше за гостем ухаживать, остался побеседовать с ним.

Митридан хоть и испытывал к нему сыновнее почтение, а все же рассудил за благо узнать поточнее, кто он таков. Натан же ему на это ответил так: «Я последний из слуг Натана, здесь у него вырос, здесь и состарился, но он меня так и не повысил. Другие его восхваляют, а мне хвалить его не за что».

Слова эти поселили в душе Митридана надежду на то, что он сумеет наилучшим образом и вполне безнаказанно привести преступный свой замысел в исполнение. Натан же, со всевозможною учтивостью осведомившись, кто он таков и по какому делу, объявил, что охотно подаст ему совет и помощь. Митридан заколебался, но потом все же решился довериться ему; после долгих подходов он взял с Натана слово, что тот не выдаст его, а затем попросил у него совета и помощи и рассказал все как есть: кто он таков, зачем сюда прибыл и что его на такой поступок толкнуло.

Когда Натан узнал о злом умысле Митридана, вся душа его пришла в волнение, однако он тут же нашел в себе силы ответить недрогнувшим голосом и с непроницаемым видом: «Митридан! Отец твой был человек благородный, и, как видно, ты хочешь пойти по его стопам: ты принял на себя великий подвиг — ты хочешь быть щедрым по отношению ко всем. И мне очень нравится, что ты завидуешь достоинствам Натана, — побольше бы такой зависти, тогда и жить на несчастной нашей земле сразу стало бы легче. Замысел, который ты мне поведал, я, разумеется, скрою от всех, но помочь я тебе особенно ничем не сумею, а вот полезный совет преподать могу. Так вот каков мой совет: примерно в полумиле от дворца есть рощица, — она отсюда видна, — туда почти каждое утро ходит Натан и долго гуляет там в полном одиночестве: ты его там без труда разыщешь и совершишь задуманное. Когда же ты его убьешь, то, если хочешь благополучно добраться до дому, возвращайся не той дорогой, по которой ты ехал сюда, а той, которая вон там, налево, — видишь? — идет из леса: она хоть и не наезженная, да зато короче и безопасней».

Как скоро Натан удалился, получивший столь ценные сведения Митридан, соблюдая необходимую осторожность, уведомил своих спутников, которые к этому времени также расположились во дворце, где им надлежит ожидать его на следующий день. И вот на другой день Натан, действовавший в полном соответствии с советом, который он преподал Митридану, и ни в чем от него не отступавший, один пошел в рощу, где его должны были убить.

Митридан же, восстав от сна, взял лук и меч, — другого оружия у него не было, — сел на коня и, поехав по направлению к рощице, издали увидел гулявшего в совершеннейшем одиночестве Натана. Порешив, однако ж, сперва посмотреть на Натана и послушать, что он будет говорить, а потом уже умертвить его, Митридан наехал на Натана и, схватив его за турбан, крикнул: «Смерть тебе, старик!»

«Ну что ж, значит, заслужил», — вот все, что ему на это ответил Натан.

Услышав его голос и посмотрев ему в лицо, Митридан тотчас удостоверился, что это тот самый человек, который так приветливо с ним обошелся, так любезно проводил его до дворца и так верно ему все посоветовал, и тут ярость его мгновенно утихла, и чувство злобы сменилось чувством стыда; бросив меч, который он уже направил в грудь Натану, он соскочил с коня, припал к ногам Натана и, рыдая, заговорил: «Любознательный отец мой! Теперь я вижу ясно, сколь вы великодушны: вы предоставили мне возможность безнаказанно лишить вас жизни, на которую я посягал без всяких для того оснований, о чем я сам же вас и уведомил, однако господь, пекущийся о моем спасении больше, чем я сам, в решительную минуту отверз духовные мои очи, сомкнутые презренною завистью. Вы сделали все для того, чтобы желание мое исполнилось, а я теперь помышляю только о том, как бы скорей искупить мой грех. Воздайте же мне за мое злодеяние так, как я, по вашему разумению, того заслуживаю».

Натан поднял Митридана и, ласково обняв его и поцеловав, сказал:

«Сын мой! Не проси у меня прощения за твой замысел, как бы ты его ни назвал: преступным или же как-либо еще, да мне и не за что тебя прощать, — ведь ты действовал так не по злобе, а для того, чтобы стать лучше всех. Не бойся же меня! Знай, что нет человека на свете, который любил бы тебя больше, чем я, ибо я познал величие твоего духа, стремящегося не к накоплению богатств, о чем хлопочут скупцы, а к их расточению. Не стыдись того, что ты восхотел убить меня, дабы прославиться, и не думай, что ты этим меня удивил. Всевластные императоры и могущественнейшие короли почти исключительно ценою убийства, — да не одного человека, о чем помышлял ты, а великого множества людей, — ценою выжигания целых стран и разрушения городов добивались расширения владений своих, а следственно, и распространения своей славы. Таким образом, замыслив убить только меня, дабы вящую стяжать себе славу, ты вознамерился совершить не беспримерный и необычайный подвиг, а самый обыкновенный поступок».

Митридан и не думал оправдывать свое злоумышление — он лишь изъявил радость по поводу того, что Натан в столь необидной для него форме вынес ему оправдательный приговор, но воспоминание о решимости Натана, дававшего советы и наставления, как легче убить его, приводило Митридана в крайнее изумление. Натан же ему сказал: «Напрасно ты, Митридан, удивляешься совету моему и намерению: с тех пор как я стал человеком самостоятельным и замыслил то же, что и ты, не было ни одного человека, который переступил бы порог моего дома и коего желаний я бы по возможности не исполнил. Ты прибыл сюда ради того, чтобы взять у меня мою жизнь, и вот, как скоро я об этом узнал, я в ту же минуту порешил отдать тебе ее, а то ведь иначе оказалось бы, что все же был такой человек, который ушел от меня, не получив желаемого, и вот, ради того чтобы удовлетворить тебя, я и подал тебе благой, как мне казалось, совет, ибо, послушавшись моего совета, ты взял бы мою жизнь, а своей не лишился. И я еще раз повторяю и прошу тебя: если хочешь, исполни свое желание и возьми мою жизнь — лучшего употребления я ей не найду. Я уже восемьдесят лет провожу ее в утехах и приятствах, а между тем мне доподлинно известно, что жизнь моя, так же как жизнь всех людей и так же как вся жизнь на земле, следует естественному течению вещей, — значит, жить мне осталось недолго, а тогда не лучше ли поступить с нею так, как я всегда поступал с моими сокровищами, которые я раздавал и тратил, то есть отдать ее, а не беречь, — все равно у меня ее отнимет природа. Отдать сто лет — дар не велик, отдать же шесть или восемь, какие мне еще осталось прожить, — и того меньше. Вот я и прошу тебя: если хочешь, возьми мою жизнь, — с тех пор как я существую на свете, она никому не была нужна, и если ты ее не возьмешь, то вряд ли еще найдутся желающие. Но даже если и найдется кто-либо, то ведь чем дальше, тем меньшую будет она представлять собой ценность, — так исполни же мою просьбу: возьми ее, пока она вовсе не обесценится».

Нестерпимый стыд терзал душу Митридана. «Ваша жизнь — великая драгоценность, — сказал он, — сохрани меня бог, чтобы я не то что похитил и отнял ее, а чтобы я хоть в мыслях еще раз на нее посягнул! Не то что укорачивать вашу жизнь — я бы с радостью, если бы только это было в моих силах, отнял бы от своей жизни несколько лет и прибавил бы вам».

«В самом деле, прибавил бы? — живо спросил Натан. — Ты бы хотел, чтобы я поступил с тобой так, как я никогда и ни с кем не поступал? Иными словами — чтобы я взял то, что принадлежит тебе, хотя я никогда чужого не брал?»

«Да», — не задумываясь отвечал Митридан.

«Тогда вот что, — продолжал Натан. — Хотя ты еще и молод, оставайся у меня в доме и зовись Натаном, а я перееду к тебе и стану называться Митриданом».

Митридан же ему на это возразил: «Если бы так же искусно творил добро, как творили его и творите вы, я без дальних размышлений изъявил бы свое согласие, но так как поступки мои, уж верно, унижат славу Ната-

на, — а в мои намерения не входит портить другому то, что я сам себе стяжать не сумел, — то я отказываюсь меняться именами».

Продолжая вести такие и тому подобные приятные разговоры, Натан и Митридан по желанию Натана возвратились во дворец, и там Натан в течение нескольких дней ублажал Митридана и, призвав на помощь свои познания, вескими доводами укреплял своего гостя в его благом и великом начинании. Когда же Митридан изъявил желание отбыть вместе со всеми своими спутниками восвояси, Натан отпустил его, и Митридан уехал в полном убеждении, что Натана в щедрости не превзойти.





*Мессер Джентиле де Каризенди, оставив Могену,
извлекает из склепа свою любимую, которую сочли умершей и похоронили;
женщина поправляется, у нее рождается сын,
и мессер Джентиле возвращает ее вместе с ребенком мужу,
Никколуччо Каччанимико*



се не могли не подивиться тому, что жил на свете человек, которому не жаль было умереть. Общее мнение было таково, что Натан превзошел в великодушии и короля испанского, и аббата из Клуни. После того как поступок Натана всестороннему подвергся обсуждению, король, обратясь к Лауретте, изъявил желание, чтобы теперь рассказывала она, и Лауретта, нимало не медля, начала так:
— Юные дамы! Мы с вами слышали немало повестей о великих и славных деяниях, и я склоняюсь к мысли, что тем, кому еще предстоит рассказывать, нечего предложить вашему вниманию, — ибо о величии подвигов все уже сказано, — за исключением повестей о делах сердечных, представляющих собой неисчерпаемый источник тем для разговора. Вот по этой-то причине, а главным образом приняв в рассуждение наш возраст, я хочу рассказать вам о благородном поступке некоего влюбленного, каковой поступок, когда вы все взвесите, быть может, покажется вам не хуже тех, о коих нам уже рассказывали, если, конечно, вы верите в то, что человек способен сокровища свои отдать, враждебные чувства свои обуздать, более того: многожды поставить на карту жизнь свою, честь и доброе имя, лишь бы обладать любимым существом.

Итак, жил-был в Болонье, одном из знаменитейших городов Ломбардии, славившийся своими достоинствами и своею родовитостью молодой дворянин, мессер Джентиле Каризенди, и вот этот самый Джентиле Каризенди влюбился в донну Каталину, жену Никколуччо Каччанимико.

В любви ему не повезло, и он со стесненным сердцем уехал в Модену, где ему предлагал место градоправитель. Никколуччо на ту пору в Болонье не было, а его беременная жена уехала к себе в имение, мила за три от города, и там ей вдруг стало худо, да так, что вскоре она перестала подавать признаки жизни, из чего врач заключил, что она умерла, а так как ближайšie ее родственники уверяли, будто они слышали от нее самой, что забеременела она недавно, и на основании этого утверждали, что ребенок не мог быть доношен, то ее, всеми горько оплаканную, тут же и похоронили в склепе приходского храма.

Приятель мессера Джентиле сейчас же дал ему об этом знать, и мессер Джентиле, хоть и был ею отвергнут, закручинился и мысленно к ней обратился с такими словами: «Итак, донна Каталина, ты умерла. Пока ты была жива, ты не удостаивала меня даже взглядом, зато теперь, когда ты уже не в силах оказать мне сопротивление, я во что бы то ни стало сорву с твоих мертвых губ поцелуй».

В ту же ночь он, сказав дома, что для посторонних отъезд его должен оставаться тайной, взял с собой слугу, сел на коня и, нигде по дороге не останавливаясь, прибыл наконец туда, где та женщина была похоронена. Тихонько проникнув в склеп, он лег рядом с нею и, приблизив к ней лицо свое, покрыл ее поцелуями и омочил слезами. Но так как, сколько нам известно, пределов для человеческих стремлений не существует и люди в своих желаниях идут все дальше и дальше, в особенности — влюбленные, то и мессер Джентиле этим не удовольствовался. «Раз уж я здесь, то почему бы мне не коснуться ее груди? — сказал он с ебе. — Больше я ни до чего не должен дотрагиваться — и не дотронусь». Желание это было в нем так сильно, что он положил руку ей на грудь и спустя некоторое время ощутил слабое биение ее сердца. Преоборов страх, он прислушался чутче и уверился, что она не умерла, хотя жизнь в ней едва-едва теплилась. Того ради с великим бережением извлек он ее с помощью слуги из склепа и, положив перед собой на коня, тайно привез в Болонью, прямо к себе в дом.

Здесь жила его мать, женщина достойная и рассудительная, и она, выслушав обстоятельный рассказ сына и исполнившись сострадания, при помощи ванн и тепла привела донну Каталину в чувство. Очнувшись, донна Каталина с глубоким вздохом вымолвила: «Ах! Где я?»

А почтенная женщина ей на это: «Не бойся! Ты у добрых людей».

Когда же донна Каталина окончательно пришла в себя, то, окинув недоуменным взглядом комнату и с изумлением увидев перед собой мессера Джентиле, попросила его мать объяснить ей, как она здесь очутилась, и на этот ее вопрос подробно ответил ей мессер Джентиле. Донна Каталина опечалась, затем, сердечно поблагодарив мессера Джентиле, воззвала к его рыцарственности и обратилась к нему с просьбой — во имя его былой любви к ней не подвергать ее у него в доме ничему такому, что могло бы запятнать как ее честь, так равно и честь ее мужа, и поутру отпустить ее домой.

На это ей мессер Джентиле ответил так: «Донна Каталина! Какие бы чувства я прежде к вам ни питал, я намерен и теперь и впредь (я говорю: впредь, ибо господь сподобил меня вернуть вас к жизни, на каковой поступок меня подвигнула бывшая моя любовь) обходиться с вами здесь и в любом другом месте не иначе, как с любимой сестрой. Однако ж то доброе дело, которое я сделал вам этою ночью, заслуживает вознаграждения, — явите же мне некую милость».

Донна Каталина отнеслась к его словам благосклонно и выразила готовность сделать для него все, что только в ее силах и что не бросит тени на ее доброе имя. Тогда мессер Джентиле сказал: «Донна Каталина! Все родственники ваши и все жители Болоньи уверены и убеждены, что вы умерли, дома вас никто не ждет, вот я и прошу вас об одном одолжении: будьте добры, поживите до моего возвращения из Модены, — а вернуться я скоро, — у моей матери, но так, чтобы никто об этом не знал. Обращаюсь же я к вам с подобной просьбой потому, что мне бы хотелось в присутствии достойнейших наших сограждан торжественно вручить вашему супругу драгоценный подарок».

Донна Каталина сознавала, чем она обязана мессеру Джентиле, притом, на ее взгляд, ничего зазорного его просьба в себе не содержала, а потому она, хоть ей и страх как хотелось обрадовать своих родных, порешила ее исполнить и поклялась в том своею честью. И только успела она ответить мессеру Джентиле, как почувствовала, что пришло ей время родить, и немного погодя благодаря заботливому уходу матери мессера Джентиле благополучно родила прехорошенького мальчика, и теперь уже радости ее и мессера Джентиле не было границ. Мессер Джентиле, распорядившись, чтобы все было к ее услугам и чтобы за ней ухаживали так, как если бы она была его женой, тайно отбыл в Модену.

Отслужив в Модене положенный ему срок, мессер Джентиле перед отъездом в Болонью дал знать своим домашним, когда именно он приедет, и распорядился устроить в тот день богатый и роскошный пир и пригласить многочисленную болонскую знать, в частности — Никколуччо Каччанимико. Как же скоро мессер Джентиле возвратился домой и спешился, то, поздоровавшись со всеми, проследовал к донне Каталине и нашел, что она поздоровела и похорошела и что у мальчика тоже прекрасный вид; несказанно обрадовавшись, он пошел сажать приглашенных за стол и велел угостить их на славу. Заранее посвятив донну Каталину в свой замысел и условившись с нею, как ей надлежит действовать, мессер Джентиле, когда обед подходил уже к концу, обратился к приглашенным с такою речью: «Синьоры! Помнится, где-то я слышал, что в Персии существует прекрасный, по-моему, обычай: когда кто-либо хочет особенно почтить своего друга, то зовет его к себе и, показав то, что ему, хозяину, дороже всего: жену, подругу, дочку или же еще кого-либо, объявляет, что гораздо охотнее показал бы гостю, если б только мог, свое сердце, и вот этот обычай я намерен установить и в Болонье. Вы были так любезны, что почтили своим присутствием устроенный мною званый обед, я же хочу почтить вас по-персидски и показать вам то, что



у меня есть сейчас, а может статься, и будет в дальнейшем самого дорогого. Прежде, однако ж, мне бы хотелось знать, что думаете вы об одном невероятном происшествии, о котором я вам сейчас расскажу. Итак, у одного человека опасно заболел добрый и верный слуга. Не желая ждать, когда занемогший слуга умрет, этот человек велел вынести его на улицу и забыл и думать о нем. Шел по улице чужой человек; ему стало жаль больного, он приютил его у себя и в конце концов, не пожалев денег на его лечение и выказав необычайную заботливость, выходил его. Так вот, мне бы хотелось знать: буде он пожелает оставить выздоровевшего у себя в качестве слуги, то имеет ли право первый хозяин сетовать и роптать, если второй хозяин не удовлетворит его требования и не отпустит к нему слугу?»

Знатные гости, после длительного обсуждения сойдясь во мнении, поручили ответить на вопрос, предложенный мессером Джентиле, Никколуччо Каччанимико, ибо он говорил лучше и красивее всех. Одобрив персидский обычай, Никколуччо Каччанимико объявил, что, по общему мнению, первый хозяин не имеет никаких прав на слугу, ибо он не только бросил его в беде, но и выгнал из дому, и что справедливость требует, чтобы за благодеяния, оказанные вторым хозяином, выздоровевший поступил к нему в услужение, — таким образом, оставив слугу у себя, второй хозяин не чинит первому ни ущерба, ни обиды и никакого насилия не совершает. Все, кто сидел за столом, — а тут было много достойных людей, — объявили, что всецело присоединяются к мнению Никколуччо.

Удовлетворенный таковым ответом, в особенности же тем, что услышал его из уст Никколуччо, мессер Джентиле, заметив, что и он думает так же, сказал: «А теперь пора мне исполнить мое обещание и почтить вас». Затем он послал к донне Каталине двух своих слуг с наказом прилично случаю нарядить ее и убрать и передать ей, что он просит ее прийти сюда и порадовать дорогих гостей.

Донна Каталина, взяв на руки своего красавчика сына, явилась на пир в сопровождении двух слуг, мессер Джентиле указал ей ее место, и она села рядом с одним достойным человеком. И тут мессер Джентиле сказал: «Синьоры! Вот то, что у меня есть и будет самого дорогого. Поглядите на нее и скажите, прав я или нет».

Именитые гости приветствовали донну Каталину, восхищались ею, соглашались с мессером Джентиле, что она не может не быть ему дорога, разглядывали ее, и если б не было известно, что донна Каталина умерла, то многие узнали бы ее. Всех пристальнее вглядывался в нее, однако ж, Никколуччо, и когда хозяин дома на время оставил залу, он, горя желанием узнать, кто она, не утерпел и спросил ее, из Болоньи ли она или приезжая. Хотела было донна Каталина ответить мужу, но, помня уговор, промолчала. Иные спрашивали, ее ли это сынок, жена ли она мессера Джентиле или же какая-нибудь его родственница, но она все отмалчивалась. Наконец один из гостей сказал вошедшему мессеру Джентиле: «Мессер! Эта женщина в самом деле прекрасна, но она, как видно, немая, правда?»

«Ее молчание, синьоры, свидетельствует о том, сколь она добродетельна», — отвечал мессер Джентиле.

«Скажите нам, кто она», — молвил все тот же гость.

«С удовольствием», — сказал мессер Джентиле, — если только вы мне обещаете, что бы я ни говорил, не двигаться с места, пока я не кончу».

Все обещали, и как скоро убрали со стола, мессер Джентиле сел рядом с донной Каталиной и повел такую речь:

«Синьоры! Эта женщина и есть тот преданный и верный слуга, о котором я вас только что спрашивал. Ее близкие, которым она была не дорога, выбросили ее на улицу, как выбрасывают негодную, уже ненужную вещь, а я ее подобрал, мне стоило немалых трудов и усилий вырвать ее из лап смерти, и господь, видя мое усердие, превратил безобразный труп в прекраснейшую женщину. А чтобы вам все стало ясно, я расскажу в кратких словах, как было дело». Начав с того, что он ее полюбил, мессер Джентиле, к вящему изумлению присутствовавших, подробно изложил весь ход событий. «Так вот, — заключил он, — если никто из вас, а главное — Никколуччо, не отменил приговора, эта женщина принадлежит мне, — я это заслужил, — и никто не вправе ее у меня вытребовать».

Ни один из гостей ему не ответил — все ждали, не скажет ли он еще чего-нибудь. Никколуччо, другие гости и сама донна Каталина плакали от умиления. Вдруг мессер Джентиле встал и, взяв на руки младенца, а мать — за руку, приблизился к Никколуччо и сказал: «Итак, кум, я возвращаю тебе не жену, которую и твои и ее родственники вышвырнули, — я хочу тебе отдать эту женщину, мою куму, вместе с ее сыном, которого, без сомнения, зачал ты и которого я держал у купели и назвал Джентиле. Надеюсь, ты не разлюбишь ее только потому, что она около трех месяцев прожила у меня в доме: клянусь тебе богом, — а ведь это, наверное, сам бог вложил мне в сердце любовь к этой женщине, дабы моя любовь ее спасла, как оно потом и случилось, — клянусь тебе, что ни с отцом, ни с матерью, ни с тобой не жила она так непорочно, как жила у меня в доме, под присмотром моей матери». Тут он обратился к донне Каталине и сказал: «Донна Каталина! Теперь вы свободны от каких бы то ни было обязательств передо мною и вольны уйти от меня к Никколуччо». С последним словом мессер Джентиле передал донну Каталину с ребенком Никколуччо и сел на прежнее место.

Никколуччо был чрезвычайно рад видеть жену и ребенка, и восторг его был тем сильнее, что он уже утратил надежду когда-либо свидеться с ней; он от всего сердца и от всей души поблагодарил мессера Джентиле, а другие в это время плакали от умиления и восхваляли мессера Джентиле; и впоследствии, кто бы о том ни услышал, все воздавали ему хвалу. Донну Каталину встретили в ее доме необычайно торжественно, и долго еще потом болонцы взирали на нее с изумлением как на воскресшую, а мессер Джентиле после того жил в дружбе с Никколуччо, с его родными и с родными донны Каталины.

Что же вы на это скажете, благосклонные дамы? Вы думаете, что король, отдавший скипетр свой и корону, аббат, которому ничего не стоило помирить папу с разбойником, или же старик, подставивший свое горло под нож врага, могут идти в сравнение с мессером Джентиле? Юный и пылкий, он считал себя вправе обладать тем, чем пренебрегла нерадивость другого и что ему посчастливилось подобрать, и вот он оказался настолько добродетельным, что сумел укротить свой пламень; этого мало: уже владея тем, к чему прежде были прикованы все его помыслы и что он когда-то мечтал похитить, он это свое сокровище возвратил добровольно. Нет, с его подвигом те, о которых мы слышали раньше, сравнить невозможно.





*Донна Дианора просит мессера Ансальдо разбить ей в январе сад,
такой же красивый, как в мае;
сад вырастает благодаря искусству некроманта, которого нанял мессер Ансальдо;
муж позволяет донне Дианоре убогатворить мессера Ансальдо,
однако ж тот, узнав об его великодушии, разрешает ей не исполнять обещания,
а некромант, в свою очередь, не берет с мессера Ансальдо гонег*



еселое общество превознесло мессера Джентиле чуть ли не до небес, а затем король велел рассказывать Эмилии, и она, с таким видом, словно ей не терпится начать, светски непринужденно повела свой рассказ:

— Мягкосердечные дамы! Ни у кого не повернется язык сказать, что мессер Джентиле поступил не великодушно, однако ж если бы кто-нибудь высказал мнение, что лучше поступить нельзя, то его, пожалуй, не трудно было бы разубедить. Вот об этом-то и пойдет речь в коротком моем рассказе.

Во Фриули, краю студеном, однако ж увеселяющем взор красивыми горами, множеством рек и прозрачными родниками, есть город У д и н е , — там некогда жила прекрасная и благородная дама, донна Дианора, жена некоего Джильберто, изрядного богача, человека приятного и незлобивого. Достоинствами донны Дианоры пленился знатный и могущественный сановник, мессер Ансальдо Граденсе, занимавший высокое положение, славившийся ратными своими подвигами, а также своею обходительностью. Он страстно любил донну Дианору и делал все для того, чтобы добиться взаимности, писал ей письмо за письмом, однако ж старания его успехом не увенчались. В конце концов домогательства мессера Ансальдо прискусили донне Дианоре; видя, что, сколько ни отказывала она ему в его просьбах, чувство его к ней не охладевает и он от нее не отстает, она задумала обратиться к нему с необыкновенной и, как ей казалось, невыполнимой просьбой и таким образом от него избавиться.

И вот однажды донна Дианора сказала той женщине, которую он часто к ней посылал: «Голубушка! Вот ты мне все твердишь, что мессер Ансальдо любит меня больше всего на свете, и приносишь мне от него великолепные подарки. Неси их обратно — за подарки я его не полюблю и ничего для него не сделаю. Но если б мессер Ансальдо мне доказал, что он точно любит меня так, как ты меня в том уверяешь, вот тогда бы я его, конечно, полюбила и согласилась исполнить его желание. Пусть только он исполнит мою просьбу — и я буду принадлежать ему».

«А чего вы хотите, сударыня?» — спросила почтенная женщина.

«Вот ч е г о , — отвечала донна Дианора. — Хочу, чтобы за нашим городом в январе вырос сад с зеленою травой, с цветами и с тенистыми деревьями. Не будет сада — тогда пусть мессер Ансальдо ни тебя, ни кого-либо еще ко мне не подсылает; я пока ни мужу, ни родным ничего не говорила, а уж тут непременно пожалуюсь — и он от меня поневоле отстанет».

Когда мессер Ансальдо узнал, о чем просит и что предлагает донна Дианора, то, хотя задача показалась ему трудной, едва ли даже разрешимой, и хотя он отдавал себе отчет, что донна Дианора нарочно обратилась к нему с подобной просьбой, чтобы отнять у него всякую надежду, все же он решился попытать счастья и стал искать во всех частях света, не найдется ли где-нибудь такого человека, к которому он мог бы обратиться за советом и помощью, и такой человек сыскался и взялся с помощью некромантии за большое вознаграждение выручить мессера Ансальдо. Пообещав заплатить ему кучу денег, мессер Ансальдо, заранее торжествуя, стал ждать, когда придет срок. Наконец срок пришел, и хотя стояли лютые холода, хотя все было покрыто снегом и льдом, тот искусник в ночь на первое января достигнул своей цели, и утром, по свидетельству очевидцев, среди живописнейшей долины, начинавшейся сразу же за городом, вырос невиданной красоты сад с травой, с деревьями и со всевозможными плодами. Как скоро мессер Ансальдо, к великой своей радости, увидел сад, то приказал набрать самых лучших плодов, нарвать самых красивых цветов, тайно преподнести их донне Дианоре и пригласить ее полюбоваться возникшим по ее желанию садом, с тем чтобы она, уверившись в его чувстве к ней, вспомнила о клятвенном своем обещании и, как подобает честной женщине, постаралась его исполнить.

Увидев цветы и плоды и от многих наслышавшись о дивном саде, донна Дианора уже начала раскаиваться, что дала такое обещание, но со всем тем ее тянуло поглядеть на диковину; вместе с многими другими дамами донна Дианора пошла посмотреть сад и невольно залюбовалась им, но домой вернулась убитая, терзаемая мыслью, к чему это ее обязывает. Отчаяние донны Дианоры было так велико, что у нее не хватило сил затаить его, и так как оно у нее прорывалось, то муж не мог не обратиться на это внимания и пристал к ней с расспросами. Донна Дианора долго не решалась признаться, но муж настаивал, и она вынуждена была сказать ему все.

Сначала Джильберто вспылил, однако ж, приняв в уважение, что донна Дианора поступила так из добрых побуждений, переменял мысли

и, совладав с собою, сказал: «Дианора! Женщине умной и честной не подобает выслушивать посланцев и не подобает заключать с кем-либо какие бы то ни было условия, в коих так или иначе затрагивается ее благонаравие. Сердце любящего воспринимает каждое проникающее к нему через уши слово чутче, нежели нам это кажется, — вот почему для любящего нет почти ничего невозможного. Итак, ты поступила дурно, во-первых, потому, что выслушивала, а во-вторых, потому, что заключила условие. Но так как я знаю твою чистую душу, то, чтобы облегчить твоё положение, я позволю тебе то, чего другой бы на моем месте, пожалуй что, и не позволил, а еще меня вынуждает на это страх перед некромантом: если б ты обманула мессера Ансальдо, то он подговорил бы некроманта нам отомстить. Пойди к мессеру Ансальдо и постарайся добиться того, чтобы и честь твоя не пострадала, и обещание тебе не нужно было исполнять. Ну, а если иначе нельзя, то отдайся ему телом, но не душой».

Жена плакала и уверяла мужа, что она не примет от него этой жертвы. Но как донна Дианора ни упиралась, Джильберто настоял на своем, и с рассветом, одевшись кое-как, она отправилась к мессеру Ансальдо; впереди шли двое ее слуг, позади — горничная девушка.

Услышав, что к нему пришла владычица его души, мессер Ансальдо дался диву и, встав с постели, позвал некроманта. «Я хочу, — сказал он, — чтобы ты своими глазами увидел, какое счастье досталось мне благодаря твоему искусству». Затем он вышел к ней и, не испытывая никаких нечистых желаний, принял ее с честью и оказал ей все знаки уважения, а затем провел в прекрасную комнату, где жарко пылал огонь, и, усадив, заговорил: «Донна Дианора! Если давняя моя любовь к вам заслуживает какой-либо награды, то не сочтите за труд открыть мне истинную причину того, что вы в столь ранний час и в таком сопровождении решились прийти ко мне».

Донна Дианора, чуть не плача от стыда, ответила ему так: «Если б я вас любила, мессер, я бы все равно к вам не пришла и ни за что не стала бы исполнять свое обещание, а явилась я по приказу мужа моего, который послал меня к вам во вред и своей и моей чести, единственно из уважения к тем трудам, которые заставила вас понести безрассудная ваша страсть, — так вот, только по его приказу и только сегодня я исполню любое ваше желание».

Мессера Ансальдо удивил приход донны Дианоры; когда же он ее выслушал, то удивление его возросло, и, потрясенный великодушием Джильберто, чувствуя, что жалость берет в нем верх над пламенной страстью, он обратился к ней с такими словами: «Донна Дианора! Если дело обстоит именно так, как вы говорите, то господь не попустит, чтобы я опорочил честь человека, тронутого моею любовью. Так вот, если вам угодно, останьтесь на некоторое время у меня и будьте мне сестрою, а не угодно — вы в любую минуту вольны уйти от меня, с условием, однако ж, что вы в тех выражениях, какие вам покажутся наиболее подходящими, поблагодарите от меня вашего супруга за беспримерное его великодушие, а мне дозволейте считать себя вашим слугою и братом».

При этих словах донна Дианора возликовала. «Ваш нрав был мне известен, — сказала она, — и я была совершенно уверена, что мой приход к вам может иметь только такое последствие, и я буду вам за это благодарна до самой моей смерти». Тут она простилась с мессером Ансальдо, мессер Ансальдо с почетом ее проводил, она же, придя домой, все рассказала Джильберто, и с тех пор Джильберто и мессер Ансальдо стали ближайшими и закадычными друзьями.

Когда же мессер Ансальдо вознамерился уплатить некроманту обещанную сумму, некромант, пораженный великодушием, которое сначала выказал Джильберто по отношению к Ансальдо, а затем Ансальдо по отношению к донне Дианоре, сказал: «Господь не попустит, чтобы я, видя, как Джильберто пожертвовал своею честью, а вы — своею любовью, не пожертвовал полагающимся мне вознаграждением. Вам эти деньги пригодятся — пусть же они у вас и останутся».

Мессеру Ансальдо стало неловко, и он начал уговаривать некроманта взять если не все, то хотя бы часть денег, но тот отказался наотрез, а так как на третий день сад под действием его чар исчез и теперь он собирался отбыть, то мессеру Ансальдо ничего иного не оставалось, как пожелать ему счастливого пути. Изгнав из сердца сладострастные вожеления, мессер Ансальдо продолжал любить донну Дианору, но уже безгреховной любовью.

Так что же мы с вами на это скажем, добрейшие дамы? Что выше: почти угасшая в силу своей безнадежности любовь к полумертвой женщине или же великодушие мессера Ансальдо, любящего стократ сильнее, чем прежде, видящего, что надежда его вот-вот сбудется, и уже держащего в руках вожделенную добычу? Разумеется, то великодушие перед этим бледнеет — двух мнений тут быть, по-моему, не может.





*Непобедимый король Карл Старший полюбил одну девушку;
устыдившись своего безрассудства,
он прискивает для нее и для ее сестры отличную партию*



сли попытаться подробно изложить содержание длительных словопрений между дамами о том, кто проявил к донне Дианоре больше великодушия: Джильберто, мессер Ансальдо или же некромант, то это займет слишком много времени. Король позволил им немного поспорить, а затем обратился к Фьямметте и повелел ей рассказывать и тем положить конец препирательствам, она же без малейшего промедления начала так:

— Восхитительные дамы! Я всегда держалась того мнения, что в таких обществах, как наше, должно изъясняться пространно, а то излишняя сжатость способна вызвать кривотолки. Сжатости нужно требовать в школе, от учеников, а не от нас: и так уж наши рассказы короче воробьиного носа. Я собиралась предложить вашему вниманию повесть, которая также могла бы вызвать споры, однако, приняв в соображение, какую распрю вызвала у вас предыдущая повесть, я рассудила за благо переменить предмет и рассказать не о простого звания человеке, но о доблестном короле и о рыцарском поступке, который он совершил, не запятнав своей чести.

Нам с вами не раз приходилось слышать о короле Карле Старшем, или Карле Первом, коего славному походу и блестящей победе над королем Манфредом мы обязаны изгнанием из Флоренции гибеллинов и возвращением гвельфов. По сему обстоятельству некий дворянин, мессер Нери дельи Уберти, уехал оттуда со всей семьей, захватив с собою крупную сумму денег, и вознамерился обосноваться под крылышком у короля Карла. Он жаждал уединения, ему хотелось дожить

свою жизнь спокойно, и он отправился в Кастелламаре ди Стабиа. Здесь он купил себе красивый, удобный дом, отстоявший от других жилищ примерно на расстоянии выстрела из лука и утопавший в зелени олив, орешника и каштанов, коими сей край обилен, а при доме чудный сад, и, воспользовавшись тем, что в саду было много ручьев, выкопал, как это у нас водится, прелестный прозрачный пруд и напустил туда уйму рыбы.

Единственным предметом его забот все еще оставался сад, где он продолжал вводить всевозможные улучшения, когда в Кастелламаре приехал отдохнуть от жары король Карл. Сведав о том, какой у мессера Нери красивый сад, король пожелал его осмотреть. Когда же он узнал, кто таков хозяин сада, то, приняв в рассуждение его принадлежность к враждебной партии, порешил обойтись с ним как можно дружелюбнее и послал ему сказать, что завтра вечером он вместе с четырьмя своими приближенными намерен запросто у него в саду отужинать. Мессеру Нери это было весьма лестно; велев начать пышные приготовления и отдав надлежащие распоряжения слугам, он принял короля в высшей степени радушно. Король осмотрел дом и сад мессера Нери, и все ему здесь очень понравилось; тем временем возле пруда были уже накрыты столы, и король, вымыв руки, сел за стол и велел одному из спутников своих, графу Ги де Монфору, сесть по одну сторону, мессеру Нери — по другую, а еще трем своим спутникам велел подавать блюда в том порядке, который мессер Нери установил. Кушанья были тонкие, вина отменные и дорогие, блюда подавались в безукоризненно строгом порядке, без суеты и без задержки, и король отозвался обо всем с похвалой. Он все еще весело ужинал и наслаждался приятным этим уголком, когда в сад вошли две девушки лет пятнадцати, с вьющимися золотистыми волосами; на голове у обеих красовались веночки из барвинка; их лица своею нежностью и красотой больше всего напоминали ангельские лики; их одежды, тончайшего белоснежного полотна, обтягивали стан до пояса, у пояса же расширились и, широкие, как полог, доходили до ступней. Та, что шла впереди, несла на плече два бредня и поддерживала их левой рукой, а в правой у нее был длинный шест. Та же, что шла за ней следом, несла на левом плече сковороду, под мышкой держала вязанку хвороста, в одной руке — таган, а в другой — кувшин с оливковым маслом и зажженный факел. Король пришел в изумление и устремил на приближавшихся девушек недоуменный взор.

Девушки, скромные и застенчивые, поклонились королю и пошли к пруду, затем одна из них поставила наземь сковороду и все прочее, взяла у подружки шест, и обе вошли в пруд, — воды им тут было по грудь. Один из челядинцев мессера Нери живо развел на берегу огонь, поставил сковороду на таган и, налив масла, стал ждать, когда девушки начнут бросать ему рыбу. Одна из них шарила шестом в заведомо рыбных местах, а другая держала наготове бредень, и так они, к великой радости короля, не сводившего с них пристального взора, за короткое время наловили много рыбы и побросали ее слуге — тот клал ее, почти живую, на сковородку, а потом девушки, как им велел отец,



самых красивых рыбок стали бросать на стол королю, графу и своему отцу. Рыбы трепыхались на столе, что очень забавляло короля; по примеру девушек он ловким движением стал бросать им рыбу обратно, и эта игра продолжалась до тех пор, пока слуга не изжарил всю рыбу, которую он получил от девушек, и тогда мессер Нери распорядился предложить ее королю не как дорогое и редкостное кушанье, а скорее в виде закуски. Удостоверившись, что рыбы наловлено много и что вся она изжарена, девушки вышли из воды; их тонкая белая одежда прилипла к телу и уже почти не скрывала нежных его очертаний. Обе девушки захватили всю свою снасть и, потупившись, прошли мимо короля к дому. Король, граф и те, кто им прислуживал, загляделись на них; каждый отметил про себя их красоту, изящество, приветливость и благовоспитанность, но особенно понравились они королю, — когда они вышли из воды, он впился в них глазами, так что если б его в ту минуту кто-нибудь ушибнул, он бы этого не почувствовал. Он еще ничего про них не знал, но уже только о них и думал, и ему страх как хотелось понравиться им, из чего он заключил, что если он себя не пересилит, то непременно влюбится, а между тем он не мог бы сказать, какая из них произвела на него более сильное впечатление — так они были похожи.

Наконец, выйдя из задумчивости, король, обратясь к мессеру Нери, спросил, кто эти две девушки. «Это, государь, мои две дочки, близнецы, — отвечал мессер Нери, — одну из них зовут Джиневра Красотка, а другую — Белокурая Изольда». Король весьма одобрительно о них отозвался и сказал, что им пора замуж, но мессер Нери ответил, что он не собирается их отдавать.

Когда нечего уже было подать на ужин, кроме фруктов, снова появились обе девушки в платьях из великолепной тафты и поставили перед королем два огромных серебряных блюда с плодами, какие только в то время года можно было найти в саду. Затем отошли от стола и запели песню, которая начиналась так:

Куда, Амур, явилась я —
Поведать у меня нет силы.

Королю, с наслаждением на них смотревшему и слушавшему их приятное и стройное пение, казалось, будто все ангельские силы слетели с небес и запели. Затем девушки опустились на колени и обратились к королю с покорною просьбою отпустить их, и король, хоть и нелегко это ему было, с напускною веселостью дозволил им удалиться. После ужина король и его спутники сели на коней, простились с мессером Нери и, беседуя о разных вещах, возвратились во дворец.

Король тайл от всех сердечное свое влечение, но и занимаясь важными делами, он всякий раз вызывал в своем воображении восхитительную и обворожительную красоту Джиневры, любовь к которой он перенес и на схожую с нею сестру, и в конце концов так запутался в любовных сетях, что ни о чем другом и думать не мог; подружившись с мессером Нери, он под разными предлогами, а на самом деле — чтобы повидать

Джиневру, часто посещал его прекрасный сад. Когда же он почувствовал, что не в силах терпеть долее эту муку, то, не видя иного средства, надумал похитить у отца даже не одну, а двух дочерей, и рассказал о сердечной своей привязанности и о своем замысле графу, граф же, будучи человеком благородным, сказал ему на это следующее: «Ваше величество! Никого другого вы бы так не поразили своим признанием, как меня, — ведь я знал вас еще ребенком и, как никто, изучил ваш нрав. Если не ошибаюсь, вы и в юности, — а когда мы молоды, любви легче запустить в нас когти, — не были охвачены столь бурной страстью, и вдруг теперь, на склоне лет, вас полонила любовь — это так странно, так на вас не похоже, что я не верю своим ушам. Когда б я имел право упрекать вас, я бы нашелся, что сказать: ведь вы же еще не сняли бранных доспехов, вы находитесь во вновь завоеванном королевстве, среди незнакомого народа, здесь полно заговорщиков и вероломцев, у вас выше головы великих забот и важных дел, вы еще не успели укрепить свою власть, вам столько еще предстоит совершить, а вы поддаетесь любовному соблазну! Это простиительно не сильному духом королю, а слабому юнцу. Мало того: вы намереваетесь похитить обеих дочерей у несчастного человека, который принял вас роскошнее, чем позволяли ему средства, и который дозволил своим дочерям предстать перед вами, как перед особо почетным гостем, полугагими, — этим он хотел показать, как он вам доверяет и что он не сомневается, что вы король, а не злой волк. Неужто вы успели забыть, что доступ в это королевство вам открыли насилием, которые Манфред чинил над женщинами? Отнять у человека, который вас чувствует, и надежду, и честь, и отраду — за такое неслыханное вероломство вечных мучений не избежать. Что станут про вас говорить? Вы, может быть, думаете, что если вы скажете: «Я поступил с ним так потому, что он гибеллин», — то это послужит вам оправданием. Но разве справедливый король так обходится с тем, кто сдается на милость победителя, что бы он собою ни представлял? Позвольте вам напомнить, государь, что победить Манфреда и разгромить Коррадино — это величайшая доблесть, однако ж стократ доблестнее победить самого себя; так вот, коль скоро ваш долг управлять людьми, вам надлежит прежде всего победить себя и укротить свою страсть. Вы чистыми руками добыли себе славу — бойтесь же загрязнить ее!»

Слова эти больно отозвались в душе короля; они тем более его огорчили, что в глубине души он не мог не признать правоту своего собеседника. «Граф! — тяжело вздохнув, заговорил король. — Я так же держусь того мнения, что многоопытному воину любой, самый сильный враг покажется слабым и легко одолимым в сравнении с собственным вождением. Горе мое велико, и усилия от меня потребуются неимоверные, и все же ваши слова так на меня подействовали, что немного спустя я докажу вам на деле, что если я умел побеждать других, то сумею одолеть и себя самого».

Несколько дней спустя после этого разговора король возвратился в Неаполь, во-первых, для того, чтобы не впасть в искушение, а во-вторых, для того, чтобы вознаградить мессера Нери за гостеприимство,

и, хоть и горько ему было уступить другому то, о чем он страстно мечтал, со всем тем положил он выдать обеих девушек замуж так, как если бы они были родными его дочерьми. Того ради король, с дозволения мессера Нери, поспешил дать им богатое приданое и выдал за доблестных вельмож: Джиневру Красотку — за мессера Маффео да Палицци, а Белокуру Изольду — за мессера Гвильельмо дела Манья. Устроив их судьбу, король, отягченный печалью, отбыл в Апулию, и там неустанными трудами ему удалось заглушить голос дикой его страсти; сбив и сломав любовные оковы, он потом уже до конца дней пребывал свободным от вожделений.

Иные, быть может, заметят, что выдать двух девушек замуж — это для короля совсем не такое трудное дело. С этим я согласна. Но что так поступил влюбленный король, что он выдал замуж ту, которую он любил, и при этом не сорвал со своей любви ни единого листика, ни единого цветка, не снял с нее ни единого плода, — это, на мой взгляд, поступок в высшей степени благородный, даже сверхблагородный. Щедро вознаградить достойного человека, великодушно облагодетельствовать любимую девушку и победоносно завершить борьбу с самим собой — так мог поступить лишь наделенный возвышенною душою король.





Король Педро узнает о том, что больная девушка Лиза пламенно его любит; он успокаивает ее, а немного погодя выдает замуж за благородного юношу, целует ее в лоб и с того дня именуется ее рыцарем



огда Фьямметта окончила свой рассказ, то все наперебой принялись восхвалять короля Карла за великодушное его мужество, — все, за исключением одной дамы: она была гибеллинка, и ей хвалить короля не хотелось; засим последовало повеление короля, и Пампинья начала так:

— Высокочтимые дамы! Всякий разумный человек сказал бы о добром короле Карле то же, что и в ы , — исключение составляет та, у которой есть особые причины к нему не благоволить.

Мне, однако ж, пришел на память поступок, быть может, не менее похвальный, чем поступок короля: я имею в виду то, как обошелся его враг с одной девушкой-флорентийкой, — об этом-то я и хочу вам рассказать.

После того как французы были изгнаны из Сицилии, в Палермо проживал наш флорентиец, аптекарь, по имени Бернардо Пуччини, страшный богач, и была у него одна-единственная дочь, красавица писаная, уже на выданье. Когда король Педро Арагонский стал правителем острова, то он со своими сподвижниками устроил в Палермо пышные празднества, и вот, в то время как он, соблюдая свои каталонские обычаи, принимал участие в турнире, его увидела дочка Бернардо Лиза, вместе с другими дамами стоявшая у окна, и он так ей понравился, что она, взглянув на него раз-другой, влюбилась без памяти. Празднества давно кончились, а Лиза, жившая в родительском доме, была охвачена возвышенной и чистою своею любовью. Особенно угнетало ее то обстоятельство, что она рождена в низкой д о л е , — сия мысль отнимала у нее всякую надежду

на благоприятный исход; впрочем, любовь ее к королю от этого не становилась слабее — Лиза только боялась как-нибудь ее обнаружить. Король ничего не видел и не замечал, и это причиняло Лизе нестерпимую, непередаваемую боль. Итак, чувство ее день ото дня все росло и росло, скорби ее множились беспрестанно; кончилось дело тем, что красавица с горя слегла — она таяла на глазах, как снег на солнце. Несчастные родители чего только для нее ни делали: старались ее ободрить, призывали к ней лекарей, давали разные снадобья — ничто на нее не действовало: она сознавала, что любовь ее безнадежна, и жить ей не хотелось.

Как-то раз отец сказал ей, что готов исполнить любое ее желание; тогда у нее явилась мысль: перед смертью, если представится к тому возможность, поведать королю свою любовь и свои мечты; и вот однажды она обратилась к отцу с просьбой позвать к ней Минуччо д'Ареццо. В то время он славился и как певец, и как музыкант, его охотно принимал у себя король Педро, и Бернардо, решив, что Лиза хочет его послушать, попросил его прийти, — Минуччо был так любезен, что сейчас же явился. Сказав Лизе в утешение несколько ласковых слов, он усладил ее слух, сыграв на виоле песнь о любви, потом спел и, вместо того чтобы ее успокоить, подлил масла в огонь.

Девушка объявила, что хочет поговорить с Минуччо наедине, и вот, когда все, кроме Минуччо, ушли, она обратилась к нему с такими словами: «Минуччо! Мне нужен верный хранитель тайны, и выбор мой пал на тебя: я надеюсь, что ты никому ее не откроешь, за исключением того человека, которого я тебе назову, и рассчитываю на твою помощь. Сделай милость, помоги мне! Надобно тебе знать, милый Минуччо, что в день великого торжества по случаю восшествия на престол его величества короля Педро я увидела его, когда он принимал участие в состязании, и миг тот был для меня роковым, ибо в душе моей вспыхнула любовь к нему, и она-то и довела меня до такой крайности. Я знаю, что король не может ответить на мою любовь, сама я не в силах не то что вырвать ее из сердца, а хотя бы умерить, бремя же это для меня непосильно, и вот я решилась выбрать наименьшее зло, то есть умереть, и так я и сделаю. Но если б я перед смертью не поведала королю свою любовь, мне было бы тяжело умирать, а так как я не знаю лучшего посредника, чем ты, то тебе я это и поручаю и прошу тебя не отказать мне в этой моей просьбе. Когда же ты ее исполнишь, сообщи о том мне, и тогда тяжесть с души моей спадет, и я умру спокойно». И тут она залилась слезами.

Подивился Минуччо как величию ее духа, так равно и ее жестокости по отношению к самой себе, и проникся к ней глубокою жалостью. Тут же сообразив, как лучше всего помочь Лизе, он ответил ей так: «Даю слово, Лиза, что тайны твоей не выдам, а слово мое верно. Дерзновенная твоя любовь к великому человеку восхищает меня, и я предлагаю тебе свои услуги и уверяю тебя, что, если только ты дашь мне слово не расстраиваться, не пройдет и трех дней, как я вернусь к тебе с радостною вестью. А чтобы не терять драгоценного времени, я сей же час примусь

за дело». Лиза снова обратилась к Минуччо с жаркой мольбой и, обещав держать себя в руках, пожелала ему успеха.

А Минуччо пошел от нее к Мико да Сиена, изрядному для того времени стихотворцу, и тот по просьбе Минуччо сочинил следующее стихотворение:

Любовь! Молю тебя, спеши к тому,
Из-за кого жестоко я страдаю
И смерти ожидаю,
Скрывая боязливо страсть к нему.
Помилосердствуй и лети проворно
Туда, где моего владыки дом,
Дабы ему поведать непритворно,
Как день и ночь мечтаю я о нем,
Хотя меня всечасно и упорно
Томит и угнетает мысль о том,
Что я сгорю, любовь, в огне твоём.
Пусть бессердечный помнит: если ныне
Я так близка к кончине,
То он, лишь он один виной всему.

Я столь робка с тех пор, как полюбила,
Что не решаюсь даже бросить взгляд
На лик того, к кому с безумной силой
Мои мечты заветные летят
И без кого разверстая могила
Милее жизни кажется стократ.
А ведь он сам, пожалуй, был бы рад,
Когда б я ложный стыд преодолела
И волю дать посмела
Подавленному чувству своему.

Но если я, любя, открыть робею
То, что таю в душевной глубине,
Любовь, в долгу ты пред рабой своею
И ей помочь обязана вдвойне.
Так сжался, госпожа, и дай скорее
Знать юноше прекрасному, что мне
Со дня, когда в доспехах, на коне
Увидела его я на турнире,
Он всех дороже в мире
И что в разлуке с ним я смерть приму.

На эти слова Минуччо не умедлил сочинить нежную и жалостливую музыку, какой и требовало содержание песни, и на третий день явился во дворец, когда король Педро сидел за столом, король же обратился к Минуччо с просьбой сыграть на виоле и спеть. И вот Минуччо так сладко запел, что все, здесь находившиеся, замерли и слушали его молча и со вниманием, однако ж самым внимательным его слушателем был король. Когда же Минуччо умолк, король спросил его, что это за п е с н я, — он, король, в первый раз ее слышит.

«И слова и музыка были сочинены назад тому три дня, государь», — отвечал Минуччо. Король спросил, для кого. «Это я могу сказать только вам», — отвечал Минуччо.

Как скоро убрали со стола, король, горевший желанием все узнать, позвал Минуччо в свои покои, и тот подробно ему рассказал то, что слышал от Лизы. Королю это было очень приятно слышать, он с большой похвалой отозвался о Лизе и, заметив, что такой прекрасной девушке нельзя не выказать участие, попросил Минуччо сходить к ней, успокоить ее и передать от его имени, что он нынче же вечером непременно ее навестит.

Минуччо, в восторге от того, что может сообщить Лизе столь радостную весть, с виолой под мышкой, никуда не заходя, полетел к ней и, оставшись с девушкою наедине, все ей рассказал, а потом под звуки виолы спел песню. Девушка была так рада и счастлива, что тут же заметно начала поправляться; никто из ее близких ничего не знал и не подозревал, а она с нетерпением ждала вечера, когда должен был ее посетить государь. Король долго потом думал над тем, что ему сказал Минуччо, а так как он был государь великодушный и отзывчивый, то, отлично зная Лизу, зная, как она прекрасна, он испытывал к ней теперь еще более сильную жалость. И вот вечером он сел на коня, как будто собирался на прогулку, и, подъехав к дому аптекаря, попросил хозяина показать дивный его сад, затем спешился и немного погодя спросил Бернардо, как поживает его дочь и не выдал ли он ее замуж.

«Нет, государь, она не замужем, — отвечал Бернардо, — она ведь у меня долго болела, да и сейчас еще больна; впрочем, сегодня, после обеда, дело каким-то чудом пошло на поправку».

Король, сейчас догадавшись, что за причина столь внезапного улучшения, молвил: «По чести скажу, жаль было бы лишиться такого прелестного создания. Мы хотим навестить ее».

Вместе с Бернардо и двумя своими спутниками он прошел в ее покой и, приблизившись к кровати, на которой, слегка приподнявшись, лежала ожидавшая его с трепетом девушка, взял ее за руку и сказал: «Что с вами, донна Лиза? Вы еще так молоды, вы должны вливать бодрость в других, а вы хвораете! Докажите нам свою любовь — поправляйтесь немедленно!»

Ощувив прикосновение руки любимого человека, девушка застыдилась, однако ж душа ее ощутила в эту минуту неземное блаженство. И ответила она королю, как ей подсказывало сердце: «Государь! Причина недуга моего — душевная тягота, во много раз превышавшая слабые мои силы, но теперь, благодаря вашей доброте, я скоро поправлюсь».

Сокровенный смысл этих речей был понятен одному королю, и он проникался все большим уважением к девушке и мысленно проклинал судьбу, по воле которой она произошла от человека низкого состояния. Побыв с ней еще некоторое время и, сколько мог, ободрив ее, король удалился. Все очень хвалили короля за его доброе дело и говорили, что это великая честь для аптекаря и для его дочери, дочка же была счастлива так, как только может быть счастлива влюбленная девушка. Надежда

на будущее укрепила ее силы, и спустя несколько дней она поправилась и стала еще краше, чем прежде.

Когда же она выздоровела, король, обсудив с королевой, чем наградить ее за такую любовь, сел как-то раз на коня, поехал вместе со своими вельможами к аптекарю и, войдя в его сад, послал за ним и за его дочь. Тем временем приехала королева со знатными дамами, они приняли Лизу в свою компанию, и началось веселье. Немного спустя король и королева позвали Лизу, и король сказал ей: «Славная девушка! Великая ваша любовь к нам великой заслуживает награды, и мы желаем, чтобы вы из любви к нам эту наградою удовольствовались, награда же будет заключаться в следующем: так как вы — девушка на выданье, то мы хотим, чтобы вы вышли замуж за человека, которого мы вам прочим в мужья, что не помешает мне всегда именоваться вашим рыцарем, и за это я ничего от вашей великой любви не потребую, кроме одного-единственного поцелуя».

Краска стыда залила все лицо девушки, но желание короля было для нее священо, и она тихо сказала: «Государь! Я нимало не сомневаюсь, что если бы люди узнали о моей любви к вам, то большинство решило бы, что я — помешанная и что, сойдя с ума, я перестала отдавать себе отчет, какая пропасть разделяет нас с вами, однако ж господь знает, — ибо ему единому открыты сердца смертных, — что в тот миг, когда я вас полюбила, я сознавала, что вы — король, а я — дочь аптекаря Бернардо и что мне не подобает устремлять пламень чувств моих в такую высь. Но ведь вы же знаете еще лучше меня, что рассудок над сердцем не властен, что сердце слушается вождения и страсти, и хотя я всеми силами сопротивлялась этому закону, а все же я вас любила, люблю и буду любить вечно. Но, полюбив вас, я тут же себе сказала, что всякое ваше желание всегда будет и моим желанием, — вот почему я охотно пойду за человека, за которого вам угодно будет меня отдать и благодаря которому я устрою свою судьбу, да что там: прикажите мне броситься в огонь, чтоб доставить вам удовольствие, и я с радостью брошусь! Вы сами понимаете, что иметь короля своим рыцарем — это слишком большая честь для меня, и потому я обойду ваши слова молчанием; что же касается единственного поцелуя, которого вы требуете от моей любви, то без дозволения государыни вы его не получите. А за великую милость, какую вы с государыней мне оказали, да воздаст вам и да вознаградит вас господь, мне же воздать вам нечем». И тут она умолкла.

Ответ девушки произвел на королеву самое выгодное впечатление, и она не могла не согласиться с королем, который еще раньше говорил ей, какая умница эта девушка. Король, позвав родителей девушки и узнав, что они одобряют его намерение, послал за одним бедным, но благородным юношей, дал ему кольца и велел обручиться с Лизой, и юноша не противился.

Король и королева тут же наделили девушке дорогих вещей, а затем король объявил, что жалует ей Чэффалу и Калатабеллотту — два прекрасных, богатейших имения. «Это мы даем в приданое за невестой, —

сказал жениху король. — А чем мы намерены пожаловать тебя — это ты узнаешь потом». Тут он обратился к девушке и сказал: «А теперь мы сорвем плод с вашей любви». Сказавши это, он обхватил ей руками голову и поцеловал в лоб.

Жених, родители и сама Лиза на радостях задали пир горой и сыграли веселую свадьбу. Как уверяют многие, король в точности исполнил обещание, которое он дал Лизе: он до самой своей смерти именовал себя ее рыцарем и всегда отправлялся в поход с памяткой, которую она ему послала.

Такими поступками венценосцы уловляют сердца подданных, показывают благой пример и покрывают себя вечною славой, однако же ныне мало кто, а вернее сказать — никто не направляет на такие дела стрел своего разума, оттого что почти все нынешние государи — жестокие тираны.





*Софрония думает, что она замужем за Гисиппом,
а на самом деле она — супруга Тита Квинция Фульва,
и с Титом Квинцием Фульвом она уезжает в Рим,
и туда же некоторое время спустя в нищенском обличье прибегает Гисипп;
будучи уверен, что Тит пренебрег им,
жаждущий смерти Гисипп показывает на суде, что он убил человека;
Тит, узнав Гисиппа, показывает с целью выгородить его, что убил он, а не Гисипп;
тогда настоящий убийца сознается в совершенном преступлении,
после чего Октавиан всех отпускает на свободу;
Тит выдает замуж за Гисиппа свою сестру и делит с ним все свое состояние*



огда Пампинья окончила свой рассказ и все одобрили короля Педро, в особенности же — гибеллика, Филомена по повелению короля начала так:

— Великодушные дамы! Кому из нас не известно, что если короли захотят, то они великие могут делать дела и что от них больше, чем от кого-либо еще, должно ожидать великодушия? Так вот, кто из власть имущих делает то, что ему надлежит делать, тот поступает хорошо, однако ж не следует удивляться ему и превозносить его так, как за то же самое надлежало бы превознести простого смертного, ибо с маленького человека и спрос не велик. Коль же скоро вы в таком восторге от короля и коль скоро вы славите его деяния, то я не сомневаюсь, что вам еще больше понравятся и вызовут у вас еще большее одобрение поступки обыкновенных людей, не менее, а то и более доблестные, нежели поступки властелинов. Вот почему я собираюсь рассказать вам о том, как благородно и великодушно обошлись друг с другом двое простых смертных, между собою приятельствовавших.

Итак, в то время, когда Римской империей правил как триумвир Октавиан Цезарь, еще не получивший названия Августа, в Риме жил знатный человек Публий Квинций Фульв, и у него был необыкновенных способностей сын, Тит Квинций Фульв, и вот этого своего сына Публий Квинций Фульв послал в Афины изучать философию, всецело поручив

его заботам старого своего друга, знатного афинянина по имени Кремет. Кремет поселил его у себя, вместе с сыном своим Гисиппом, и отдал их обоим, и Тита и Гисиппа, в учение философу Аристиппу. Совместная жизнь показала, до чего сходны их нравы, и вскоре между ними возникла теснейшая братская дружба, прервавшаяся лишь вместе с их смертью, — оба наслаждались безоблачным счастьем, только когда были вместе. Учиться они начали в один год, и оба, блестящими отличаясь способностями, всходили на сияющую вершину философии ровным шагом и удостаиваясь великих похвал. Так жили они на радость Кремету, любившему их почти одинаково, три года. А в конце третьего года случилось нечто неизбежное: престарелый Кремет отошел, и юноши горевали о нем одинаково, словно это был их общий отец, так что родственники и друзья Кремета не знали, кто из них двоих более нуждается в утешении. Спустя несколько месяцев к Гисиппу пришли его родственники и друзья и вместе с Титом начали уговаривать его жениться на красавице девушке лет пятнадцати, дочери благородных родителей, афинянке, по имени Софрония. Незадолго до свадьбы Гисипп предложил Титу пойти посмотреть невесту — он ее еще не видал. Когда они к ней вошли и она села между ними, Тит на правах судьи невесты своего друга принялся внимательнейшим образом ее рассматривать, и все в ней показалось ему необычайно привлекательным, он не мог ею налюбоваться и, незаметно для постороннего глаза, влюбился в нее так страстно, как никто еще на свете не влюблялся. Побыв у нее некоторое время, друзья возвратились домой.

Уединившись у себя в комнате, Тит стал думать о любимой девушке, и чем дольше мысль его на ней останавливалась, тем сильнее пылал он к ней страстью. Заметив это за собой, он тяжело вздохнул и сказал: «О, как жалок твой жребий, Тит! Где сейчас витает твоя душа, кого ты любил, с кем связал надежды? Разве за доброе к тебе расположение Кремета и всей его родни, разве за истинно дружеские чувства, которые питает к тебе жених этой девушки, ты не должен чтить в ней сестру? А ты ее полюбил! Куда завлекла тебя коварная любовь, куда завлекла тебя обманчивая надежда? Отверзни духовные свои очи и погляди на себя, несчастный! Прислушайся к голосу разума, укроти сладострастные вожделения, умерь нечистые желанья и направь свои помыслы на другое. Истреби свою похоть в зародыше и, пока еще не поздно, превозмоги себя. Ты не вправе к этому стремиться, ибо это нечестно. Если бы даже ты был уверен, что достигнешь цели, все равно, покорный велениям истинной дружбы и долга, ты был бы обязан подавить свое чувство. Итак, что же тебе делать, Тит? Если желаешь поступить, как нужно, ты вырвешь из сердца преступную любовь». Но тут он вспомнил Софронию и, переменяя мысли, пришел к заключению, что он не прав. «Законы любви сильнее всех остальных, — рассуждал он, — они отменяют не только законы дружбы, но и законы божеские. Разве так не бывало, что отец любил дочь, брат — сестру, мачеха — пасынка? А ведь это страшнее, чем любовь к жене друга, — таких случаев сколько угодно. Притом я молод, а молодость подчиняется законам любви беспрекословно: что нравится Амуру, то должно нравиться и мне. Пусть люди зрелого возраста ведут доброде-

тельный образ жизни, а я не могу не желать того же, чего желает Амур. Эта девушка так прекрасна, что ее нельзя не любить. И если я, человек молодой, полюбил ее, то никто не имеет права меня осуждать. Я люблю ее не потому, что она принадлежит Гисиппу, — я люблю ее и любил бы, кому бы она ни принадлежала. В том, что она достанется другу моему Гисиппу, повинна судьба. Если же она должна быть любима (а ее нельзя не любить — до того она хороша), то Гисипп должен быть рад, что его жену любил я, а не кто-нибудь еще». Однако этот ход рассуждений ему же самому показался смешным, и он опять вернулся к прежним мыслям; и так он думал и передумывал весь день, всю ночь и потом еще несколько дней и ночей, утратил аппетит и сон и в конце концов от слабости слег.

Гисипп, видя, что сперва его друг впал в задумчивость, а потом заболел, очень этим огорчился; он проводил все время у его ложа, неуспынными заботами и уходом старался поднять его на ноги, часто и настойчиво — во допытывался, что за причина его задумчивости и его болезни. Тит плел небылицы, Гисипп это понимал и продолжал добиваться истины; Тит долго вздыхал, долго плакал, наконец, видя, что ему от Гисиппа не отделаться, ответил так: «Гисипп! Будь на то воля богов, я бы с радостью умер: судьба властно от меня требует, чтобы я выказал мужество, а я, к величайшему моему стыду, чувствую, что не способен на это. Возмездие, то есть — смерть, неизбежно, да я и сам предпочитаю умереть, нежели жить с сознанием того, сколь низко я пал, а так как я не могу и не должен что-либо от тебя скрывать, то, сгорая от стыда, я тебе сейчас в своей низости исповедуюсь». И тут, начав с самого начала, он рассказал ему, отчего он впал в задумчивость, рассказал о душевном своем разладе, о том, что в нем пересилило, и о том, как он из-за Софронии гибнет, а затем объявил, что сознает свою вину, что наказанием ему должна быть смерть и что он скоро умрет.

Когда Гисипп это услышал и увидел его слезы, то погрузился в раздумье, ибо он тоже был пленен красотой девушки, хотя и не так сильно, однако ж он очень скоро пришел к убеждению, что жизнь друга должна быть ему дороже Софронии; глядя на него, он и сам заплакал и, обливаясь слезами, ответил ему так: «Тит! Если б ты не нуждался прежде всего в утешении, я бы тебе попенял за то, что ты поступил не по-дружески, — за то, что ты так долго таил от меня безумную свою страсть. Ты намерения свои почитал нечестными, но ведь от друга нельзя скрывать не только честные намерения, но и нечестные, ибо истинный друг порадуется вместе с другом честным его намерениям, а что касается нечестных, то постарается повлиять на друга, чтобы он выбросил их из головы. Но пока я этим и ограничусь и перейду к более существенному. Что ты пламенно полюбил невесту мою Софронию — это меня не удивляет, я скорей удивился бы, если б ты ее не полюбил, ибо я знаю ее красоту и знаю благородную твою способность увлекаться всем истинно прекрасным. У тебя есть все основания любить Софронию, и ты не прав, сетуя на судьбу (хотя прямо ты об этом и не говоришь) за то, что она отдала ее мне, — ты бы считал, что поступаешь честно, если б она принадлежала кому-нибудь еще. Но будь же последователен: если б судьба отдала ее кому-

нибудь другому, а не мне, — что же, ты возблагодарил бы судьбу? Как бы ни была чиста твоя любовь и кто бы Софронией ни обладал, вряд ли бы он пожелал уступить ее тебе, а я — другое дело: я — твой друг, и я не помню, чтобы, с тех пор как мы подружились, мы чего-нибудь не поделили. Если бы даже другого выхода не было, все равно я поступил бы так же, как поступал с тобой во всех случаях жизни, однако ж выход еще есть, и она еще может быть только твоей, и я это устрою. Что же это за дружба, если друг, когда все еще можно устроить без ущерба для чьей бы то ни было чести, не пошел бы другу навстречу? Софрония — моя невеста, я очень ее любил и с радостным нетерпением ожидал свадьбы, все это так, но ты любишь ее сильнее, чем я, она — венец твоих мечтаний, и ты можешь быть уверен, что она войдет в мой покой не моей, а твоею женой. Так отгони же от себя черные думы, рассея тоску, восстанови утраченные силы, будь по-прежнему бодр и весел и спокойно ожидай награды за свою любовь, которая заслуживает ее гораздо больше, чем моя».

Тит слушал Гисиппа, и лучезарная надежда боролась в нем с угрызениями совести, и чем великодушнее выказывал себя Гисипп, тем неблагороднее рисовался он сам себе в том случае, если б он этим великодушием воспользовался. Он сделал над собой усилие и заговорил сквозь слезы: «Гисипп! Твои истинные и великодушные дружеские чувства ясно показывают, как надлежит поступить мне. Господь не попустит, чтобы ту, которую он предназначил тебе как наиболее достойному, я у тебя отнял. Если бы господь увидел, что она больше подходит мне, то можно не сомневаться, что он никогда бы не отдал ее тебе. Итак, радуйся тому, что ты — избранник, радуйся мудрому промыслу божию и дару свыше, а мне предоставь исходить в слезах, — так судил мне бог, ибо счастья я не достоин, — я же, тебе на радость, постараюсь подавить мой душевный недуг; если ж он меня сломит, тогда я, по крайней мере, перестану терзаться».

Гисипп ему на это сказал: «Тит! Наша дружба дает мне право вырвать у тебя обещание и принудить исполнить его, — так я намерен испытать дружеские твои чувства ко мне. Буде же ты по доброй воле не исполнишь мою просьбу, я применю насильственные меры, — ради спасения друга это не грех, — и Софрония все равно будет твоей. Мне введома сила любви; я знаю, что любовь многих свела в могилу, и ты так к ней близок, что самому повернуть обратно и справиться со своим душевным недугом у тебя уже недостало бы сил, а следом за тобой сошел бы в могилу и я. Итак, если бы даже я тебя не любил, твоя жизнь была бы мне дорога по одному тому, что от нее зависит и моя жизнь. Итак, Софрония будет твоей, ибо другую ты уже так не полюбишь, я же с легкостью устремлю любовные мои думы на иной предмет, и все устроится к нашему с тобой общему благополучию. По всей вероятности, я не был бы столь великодушен, если бы хорошая жена была бы такою же редкостью, как друг, и ее так же трудно было бы найти, но в том-то все и дело, что жена — не друг, найти себе жену ничего не стоит; вот почему я не стремлюсь утратить ее, — уступив ее тебе, я ее не утрачу, а лишь помогу ей сменить хоро-

шее на лучшее, — я предпочитаю изменить ее участь, чем потерять тебя. Так вот, если мои мольбы что-то для тебя значат, перестань терзаться, успокойся сам и успокой меня и, в надежде на лучшее, предвкушай счастье, которого жаждет страстная твоя любовь».

Совестно было Титу давать согласие на то, чтобы Софрония стала его женой, и он все еще упорствовал, но, с одной стороны, любовь, а с другой — уговоры Гисиппа подбивали его согласиться, и в конце концов он сказал: «Послушай, Гисипп: я не могу определить, твое или мое желание побуждает меня сделать то, что якобы будет тебе столь приятно. Необычайное твое великодушие заставляет меня побороть естественное чувство стыда, и я исполню твою просьбу, но знай: я отдаю себе полный отчет, что ты не только отдал мне любимую женщину, но и возвратил мне жизнь. Да помогут мне боги чем-либо почтить тебя и порадовать и тем доказать свою признательность за то, что ты пожалел меня больше, нежели сам я себя жалел».

Гисипп же ему на это сказал: «Чтобы вернее прийти к намеченной цели, наш образ действий должен быть следующий. Сколько тебе известно, после долгих переговоров моих родных с родными Софронии она стала моею невестой. Так вот, если бы я от нее сейчас отказался, то вышла бы крупная неприятность, и я навлек бы на себя гнев ее и моей родни. Если бы благодаря этому она стала твоей, я бы на это не посмотрел, но я вот чего опасаюсь: я с нею порву, и ее родители тотчас отдадут ее за другого, но не за тебя, и не достанется она ни тебе, ни мне. Не знаю, как ты, а я полагаю, что мне необходимо довести дело до конца: она войдет в мой дом как жена, а после свадьбы мы сумеем устроить так, что ты будешь с ней жить как с женой. Впоследствии мы найдем время и место и объявим о случившемся. Не вознегодуют родственники — отлично, а вознегодуют — им волей-неволей придется смириться: дело сделано, назад не воротишь».

Тит одобрил этот план. И вот, когда он выздоровел и окреп, Гисипп ввел Софронию в свой дом как жену. Ночью, после славного пира, женщины оставили новобрачную на супружеском ложе и удалились. Комната Тита была рядом с комнатой Гисиппа, и комнаты эти сообщались. Гисипп потушил у себя свет, крадучись пробрался к Титу и сказал, чтобы он лег с его женой. Титу стало так стыдно, что он уже раскаивался, но, как он ни упирался, Гисипп, всей душой стремившийся не на словах, а на деле осчастливить друга, после долгих пререканий настоял на своем. Тит лег к девушке в постель, обнял ее и, как бы шутя, шепотом спросил, хочет ли она быть его женой. Девушка, уверенная, что это Гисипп, ответила, что хочет, тогда он надел ей на палец красивое, дорогое кольцо и сказал: «А я хочу быть твоим мужем». Тут он скрепил брачный союз и потом долго еще пребывал с ней в сладостном упоении, и никто так и не узнал, как не узнала сама Софрония, что то был не Гисипп.

После этого Тит и Софрония продолжали жить как муж и жена, но тут пришло известие, что отец Тита, Публий, скончался, Титу же написали, чтобы он немедленно выезжал в Рим на предмет устройства своих дел. Тит и Гисипп решили, что он возьмет с собой Софронию, однако ж

оба понимали, что приличия требуют раскрыть ей глаза, а иначе везти ее в Рим невыносимо. И вот однажды они с нею уединились и поговорили начистоту, причем в доказательство Тит привел множество подробностей их супружеской жизни. Софрония окинула обоих негодующим взглядом и, зарыдав, принялась осыпать Гисиппа упреками в том, что он ее обманул. Не разгласив пока этого обстоятельства у него в доме, она пошла к своим родителям и рассказала, как Гисипп обманул их и ее и как она сверх ожидания стала женой не Гисиппа, а Тита. Отец Софронии разгневался; и он, и его родные в течение долгого времени горько жаловались родным Гисиппа, — словом, пошли нелады и раздоры, длительные и ожесточенные. Гисипп стал ненавистен и своим родным, и родным Софронии, — все сходилось на том, что он заслуживает не просто порицания, но и строгого наказания. Он же утверждал, что поступил честно и что родные Софронии должны быть ему благодарны, ибо он выдал ее замуж за человека более достойного.

Тит все это слышал, и слушать это было ему невыносимо тяжело. С другой стороны, ему хорошо был известен нрав греков: они шумят и грозят до тех пор, пока не сыщется человек, который бы на них цыкнул, и тогда они сразу становятся смиренными и даже подобострастными, и в конце концов он пришел к заключению, что больше молчать нельзя. У него была душа римлянина, а разум афинянина, и вот он, исхитрившись собрать родных Гисиппа и Софронии в храме, вошел туда вдвоем с Гисиппом и обратился к ним с такою речью: «Многие философы думают, что смертные действуют не иначе, как по предначертанию и произволению бессмертных богов, и отсюда некоторые делают вывод, что все, совершающееся на свете или же имеющее совершиться, происходит в силу необходимости, меж тем как другие распространяют это положение только на то, что уже совершилось. Если мы эти мнения рассмотрим с должным вниманием, то нам станет ясно, что осуждать нечто такое, что поправить уже нельзя, значит полагать о себе, будто мы мудрее самих богов, в то время как нам надлежит верить, что боги извечно и непогрешимо располагают и управляют нами и всеми нашими поступками, и тут сам собой напрашивается вывод, что порицать волю богов может только человек, отличающийся безрассудным, глупым сомнением, и что тот, кто дошел до такой дерзости, заслуживает быть вверженным в оковы тяжкие и нерасторжимые. По мне, все вы именно таковы, если только вы точно утверждали и продолжаете утверждать, что Софрония стала моею женою вопреки вашему желанию, ибо вы отдали ее за Гисиппа; но ведь вы отдали ее, не приняв в рассуждение, что ей *ab aeterno*¹ суждено было стать женой не Гисиппа, а моей, как оно и произошло на самом деле. Впрочем, рассуждения о таинственном промысле и преуказаниях богов многим кажутся чересчур мудреными и неудобопонятными; итак, предположив, что боги в наши дела не вмешиваются, перейдем к рассмотрению человеческих установлений, и вот тут я вынужден буду дважды пойти наперекор натуре: себя самого похвалить, а других осудить и пред-

¹ От века (лат.).

ставить в невыгодном свете. Но истина мне дороже всего, да и само дело этого требует. В жалобах ваших отсутствует здравый смысл — в них дышит слепое бешенство, вам все хочется излиться, попросту говоря, вы не перестаете злиться, вы обличаете, клеймите и клянете Гисиппа за то, что он своею властью отдал за меня ту, которую вы своею властью отдали за него, — мне же представляется, что этот его поступок заслуживает самых высоких похвал, и вот почему: во-первых, он поступил как истинный друг, а во-вторых, он поступил разумнее, чем вы. Я не намерен пускаться в пространные рассуждения о том, какие обязательства накладывают дружба, — я только позволю себе напомнить вам, что узы дружбы неизмеримо крепче уз родства и свойства, ибо друзей мы выбираем сами, а родных нам посылает судьба. Вот почему нет ничего удивительного, что Гисиппу моя жизнь была дороже вашего благорасположения, ибо он с полным основанием считал меня своим другом. А теперь пойдем дальше, и тут мне придется развернуть длинную цепь доказательств в пользу того, что Гисипп оказался мудрее вас всех, не понимающих, что такое промысл божий, и совсем ничего не смыслящих в дружбе. Итак, вы вознамерились, надумали и порешили выдать Софронию за юношу-философа Гисиппа, а Гисипп порешил выдать ее тоже за философа; вы хотели выдать ее за афинянина, а Гисипп — за римлянина; вы хотели выдать ее за человека знатного, а Гисипп — за еще более знатного; вы хотели выдать ее за богатого, а Гисипп — за богатейшего; вы хотели выдать ее за юношу, который не только не успел полюбить ее, но и знаком-то с ней не был, а Гисипп — за юношу, любившего ее больше счастья и больше жизни. А что я говорю правду и что намерение Гисиппово похвальнее вашего — это мы сейчас разберем до тонкости. Что я так же молод, как Гисипп, и тоже философ — об этом красноречиво говорят моя наружность и мои занятия, других доказательств здесь не требуется. Мы с ним однолетки, учились всегда одинаково. Правда, он — афинянин, а я — римлянин. Однако ж, если б зашел спор о том, какой город славнее, я бы сказал, что я — уроженец свободного города, а он — уроженец городаданника; я бы сказал, что я — уроженец города, владычествующего над всем миром, а он — уроженец города, подвластного моему; я бы сказал, что я — уроженец города, где власть сильна и где процветают военное искусство и ученость, тогда как его родной город может похвалиться одною лишь ученостью. Еще я мог бы сказать, что хотя сейчас перед вами стоит скромный ученик, но происхожу я не из римской черни — в моих домах и всюду в Риме висят древние изображения моих предков, а римские летописи полны упоминаний о триумфальных встречах Квинциев в Капитолии. Слава нашего рода не ветшает, а все растет и растет. Я стесняюсь говорить о моей состоятельности, ибо держусь того мнения, что истинная бедность — это древнее и богатейшее наследие благородных граждан Рима, хотя простонародье презирает бедность и обожает сокровища; у меня же их много не оттого, что я любостяжатель, но единственно оттого, что я баловень судьбы. Я знаю, что вам было и должно было быть лестно породниться с местным жителем Гисиппом, однако ж вам должно быть не менее лестно родство со мною, особенно если

вы подумаете о том, что теперь есть кому оказать вам в Риме гостеприимство, что у вас будет теперь полезный, заботливый и мощный покровитель как в делах общественных, так равно и в частных. Кто же из людей, которые умеют пересиливать безрассудный гнев и слушаются лишь голоса разума, станет на вашу сторону, а не на сторону Гисиппа? Разумеется, что никто. Значит, Софрония обрела достойного супруга в лице Тита Квинция Фульва, принадлежащего к знатному и древнему роду, богатого римского гражданина и друга Гисиппа; те же, кто ее оплакивает и кто на это сетует, поступают безрассудно — они сами не знают, чего хотят. Иные, быть может, скажут, что они ропщут не на то, что Софрония стала женою Т и т а , — что их-де возмущает то, каким образом вышла она за него, то, что ее отдали за него тайно, обманом, без ведома родных и друзей. Но ведь это не в диковину, это не впервые. Не будем говорить о тех, что вышли замуж против воли родителей, о тех, что заводили себе любовников, бежали с ними, а потом уже выходили за них замуж, и о тех, что скрывали свою связь до поры, когда их беременность или роды делали эту связь явной и брак становился необходимостью. С Софронией ничего подобного не произошло — напротив того: тут все было безукоризненно. Другие скажут, что Гисипп не имел права выдавать ее замуж, но это глупая бабья болтовня, в коей нет и капли здравого смысла. Испокон веков судьба приводит к цели разными путями и с помощью необычных орудий. Какое мне дело, башмачник или же философ устроил мои дела по своему благоусмотрению, и какое мне дело, тайно или же явно он этим занимался, если все окончилось благополучно? Вот если башмачник действовал неосмотрительно, тогда нужно поблагодарить его за хлопоты, но больше ничего ему не поручать. Если Гисипп выдал Софронию замуж удачно, то жаловаться на него и на его образ действий глупее глупого. Если вы находите, что он действовал опрометчиво, то поблагодарите его за усердие и примите меры к тому, чтобы он никого больше замуж не выдавал. Со всем тем да будет вам известно, что у меня не было коварного умысла — хитростью овладев Софронией, запятнать честь знатного вашего рода, и хотя я женился на ней тайно, все же я — не похититель ее девства и не враг, задумавший бесчестно соблазнить ее и не намеревавшийся породниться с в а м и , — я действовал как пламенно влюбленный в несказанную ее красоту и чтущий ее целомудрие, как человек, сознающий, что если б он добивался ее руки так, как вам, по всей вероятности, это было бы угодно, то получил бы отказ, потому что вы души в ней не чаете и вам было бы тяжело отпускать ее со мною в Рим. Словом, я применил уловку, в которой теперь могу уже признаться: я подговорил Гисиппа изъясниться Софронии за меня в любви, которую он к ней не питал, я же любил ее горячо, но я добивался близости с нею не как любовник, а как супруг, и прикоснулся я к н е й , — это она сама может нелицеприятно вам засвидетельствовать, — лишь после того, как обручился, принес клятву верности и спросил, хочет ли она быть моей женой, на что она ответила утвердительно. Если же она теперь уверяет, что она обманута, то пусть пеняет на себя: почему не спросила, кто я? Так вот то великое злодейство, великий грех и великое преступление, которое совер-

шили Гисипп из дружеских чувств ко мне и я из любви к Софронии, — за это вы на него нападаете, за это вы ему угрожаете и отмщаете. Можно себе представить, как бы вы с ним обошлись, если б он отдал ее за селянина, за бродягу или же за раба! Что бы его ожидало? Оковы, темница, пытки? Но — к делу. Мой отец скоропостижно скончался, мне нужно ехать в Рим, и так как я намерен взять Софронию с собой, то и поспешил открыть мою тайну, а если б не это, я бы, пожалуй, еще некоторое время подержал вас в неведении. Если вы люди неглупые, то будете этому рады: ведь если б я хотел обмануть вас или же оскорбить, я бы насмеялся над Софронией и бросил ее, но боже меня упаси от такой низости — у римлянина мыслей таких быть не должно. Итак, по произволению богов, по всем законам человеческим, благодаря редкостной находчивости друга моего Гисиппа, а также благодаря моей хитрости — хитрости влюбленного, Софрония принадлежит мне, вы же, очевидно считающие себя мудрее богов и прочих смертных, безрассудно действуете мне назло: во-первых, вы не отпускаете со мной Софронию, а между тем у мужа побольше прав на нее, чем у вас; во-вторых, вы смотрите на Гисиппа как на врага, а между тем вы должны быть ему благодарны. Я признаю за излишнее продолжать доказывать вам, как глупо вы себя ведете, но вот вам дружеский мой совет: перестаньте яриться, укротите гнев свой и отдайте мне Софронию, — тогда я уеду спокойно, с сознанием, что я — ваш родственник, и с этим сознанием я буду жить в Риме. Можете быть, однако ж, уверены: одобряете вы или не одобряете наши действия, но, если вы будете и впредь чинить мне препоны, я отыму у вас Гисиппа, и как скоро прибуду в Рим, то наперекор вам отберу Софронию, ибо она принадлежит мне по праву. А на что способен разгневанный римлянин, это я докажу вам на деле, находясь с вами в неприимой вражде».

Сказавши это, Тит в порыве негодования встал, взял Гисиппа за руку и, гордо подняв голову, с вызывающим видом вышел из храма. Иных из тех, кто оставался в храме, подкупили слова Тита о родственных чувствах и о дружбе, других напугали его угрозы; так или иначе, все сошлись на том, что раз Гисипп не пожелал с ними породниться, так лучше пусть будет их родственником Тит, а то они и Гисиппа потеряли, и в лице Тита наживут врага. В сих мыслях разыскали они Тита и дали свое согласие на то, чтобы Софрония была его женой, он сам — дорогим их родственником, а Гисипп — добрым их другом. Попиравов уже как родственники и друзья, они удалились, Софронию же отпустили к нему, а Софрония, как женщина умная, возвела необходимость в добродетель и, не замедлив перенести любовь свою к Гисиппу на Тита, отбыла с супругом в Рим, и там ее с отменными приняла почестями.

Гисипп остался в Афинах, и почти все от него отвернулись, а малое время спустя он рассорился со всеми своими сродниками, и его, несчастного и горемычного, выслали из Афин навсегда. Обедневший, обнищавший, с мыслью о том, помнит ли его Тит, Гисипп кое-как добрался до Рима. Узнав, что Тит жив и пользуется в Риме всеобщим уважением, распробив, где он живет, Гисипп, в ожидании, когда Тит выйдет, стал на-

против его дома; он порешил не заговаривать с Титом, ибо стыдился своего рубища, но постараться попасться ему на глаза, чтобы Тит узнал его и позвал. Тит, однако же, прошел мимо, а Гисипп подумал, что Тит видел его, но погнушался им, и, вспомнив, что он когда-то сделал для Тита, в гневе и в отчаянии удалился. Уже стемнело, а Гисипп еще ничего не ел, денег у него не было, он не знал, где ему приклонить голову, и, пойдя наугад, думая о том, как бы скорей умереть, забрел он на пустынную окраину, увидел большую пещеру и, порешив здесь переночевать, как был, в лохмотьях, изнемогший от мук, заснул на голой земле. Под утро сюда после ночного грабежа пришли с добычей какие-то двое; чего-то они не поделили, один из них оказался сильнее, убил своего товарища, а затем скрылся. Все это видевший и слышавший Гисипп пришел к мысли, что ему незачем накладывать на себя руки, что путь к желанной смерти и так перед ним открыт, и он дождался в пещере стражников, те, сведав, что здесь произошло, нагрянули в пещеру и схватили Гисиппа. На допросе Гисипп показал, что убил он, а скрыться не успел, и на этом основании претор Марк Варрон повелел, по тогдашнему обычаю, распать его.

Случилось, однако ж, так, что в преторию в это время вошел Тит. Узнав, за что собираются казнить несчастного узника, он посмотрел на него и, тотчас узнав Гисиппа, удивился злой его доле и тому, какими судьбами очутился он здесь. Всей душой желая ему помочь и не видя иного пути к его спасению, как обвинить себя и обелить его, он пробился вперед и крикнул: «Марк Варрон! Верни осужденного тобою несчастного человека — он невинен. Я и так уже прогневал богов, подняв руку на человека, которого твои стражники нынче утром нашли мертвым, и я не хочу еще больше гневить их смертью другого, ни в чем не повинного человека».

Изумленный Варрон был недоволен тем, что вся претория это слышала, однако нарушить закон значило запятнать самого себя, и он приказал вернуть Гисиппа и в присутствии Тита ему сказал: «Как видно, ты не в своем уме. Тебя не пытали, а ты сознаешься в том, чего не совершал, хотя прекрасно знаешь, что за это ты заплатишься жизнью. Ты показал, что ночью совершил убийство, а вот этот человек приходит и говорит, что убил не ты, а он».

Гисипп, взглянув на Тита и узнав его, отлично понял, что Тит взял вину на себя ради его спасения, в благодарность за то, что он, Гисипп, когда-то для него сделал. Заплакав от умиления, он сказал: «Варрон! Убийца — я. Сострадание Тита запоздало».

Но Тит стоял на своем. «Ты же видишь, претор, — сказал он, — что это чужеземец; он был схвачен подле мертвого тела, но оружия у него не было. Как видно, нищета довела его до того, что он жаждет умереть. Его ты освободи, а я заслужил наказание, меня ты и наказывай».

Дивясь настойчивости обоих и склоняясь к мысли, что и тот и другой невинны, Варрон подумывал, как бы их обелить, но тут вдруг перед ним предстал юноша по имени Публий Амбуст, человек отпетый, своими грабежами известный всему Р и м у, — это он и совершил убийство, и ему

было хорошо известно, что оба они на себя клепят, и так ему стало жаль этих ни в чем не повинных людей, что под влиянием глубокой жалости он приблизился к Варрону и сказал: «Претор! Волею судеб мне предстоит рассудить мучительный спор этих людей. Я не знаю, кто из богов не дает мне покою и принуждает меня сознаться. Как бы то ни было, доведу до твоего сведения, что эти два человека возводят на себя напраслину. Убийство совершил нынче на рассвете я, а когда я делил награбленное с моим сообщником, которого я потом и убил, этот несчастный там же, в пещере, спал. Ну, а Тит в моей защите не нуждается; его доброе имя порукой в том, что он никогда бы не пошел на такое дело. Освободи же и его, а меня суди по всей строгости закона».

Октавиан к этому времени обо всем уже был осведомлен; желая узнать, что заставило этих людей навлекать на себя кару, он повелел доставить к нему всех троих, и каждый все ему о себе рассказал. Октавиан двоих освободил как невиновных, а третьего — по их просьбе.

Тит бросился к другу своему Гисиппу и, пожурился за робость и недоверчивость, несказанно обрадованный, повел его к себе, и Софрония, растроганная до слез, приняла его как брата. Тит подбодрил его, приодел и нарядил, как приличествовало званию его и достоинству, потом разделил с ним богатства свои и владения, выдал за него замуж младшую сестру свою Фульвию, а затем объявил: «Теперь, Гисипп, ты волен остаться жить у меня или же взять с собою все, что ты от меня получил, и возвратиться в Ахайю». Гисипп, памятуя о том, что из родного города его изгнали, равно как и о том, к чему его обязывает благодарная любовь Тита, порешил стать римлянином. И долго еще потом он со своею Фульвией, а Тит с Софронией счастливо жили одною семьей, и дружба их, если только это возможно, с каждым днем становилась тесней.

Итак, дружба — чувство священнейшее, достойное не только особого благоговения, но и всечасных похвал, в такой же точно мере, как благогоразумная мать заслуживает уважения и почета, как сестра — благодарности и сердечного участия, как враг — ненависти и жестокосердия, ибо дружба, не дожидаясь просьб, всегда готова выказать по отношению к другим те доблестные чувства, какие она сама чаёт вызвать к себе у других. К стыду и по вине смертных с их гнусною алчностью, благотворное действие дружбы ныне сказывается редко, ибо алчность, думающая только о своей выгоде, навеки изгнала ее с лица земли. По чьему еще внушению, как не по внушению дружбы, а вовсе не по внушению любви, корысти или же родственных чувств, страстный пыл Тита, слезы его и вздохи так больно отозвались в душе Гисиппа, что он отказался ради него от красивой, знатной, любимой невесты? Что еще, как не дружба, а вовсе не законы, не угрозы и не страх, удержало молодые руки Гисиппа в местах уединенных, в местах укромных, на его собственном ложе, от того, чтобы заключить в объятия прелестную девушку, быть может, его на это иной раз и вызывавшую? Что еще, как не дружба, а вовсе не возвышение, не награды и не льготы, убедило Гисиппа не жалеть о разрыве со своими родными и с родными Софронии, не обращать внимания на бесславящий ропот черни, не обращать внимания на издева-

тельства и насмешки, убедило все претерпеть ради друга? А что подвигнуло Тита, который с успехом мог сделать вид, что знать не знает Гисиппа, идти, не рассуждая, навстречу собственной гибели, лишь бы избавить его от распятия, хотя он сам этого добивался? Что еще, как не дружба, заставило Тита безотлагательно принять великодушное решение разделить громадное свое состояние с Гисиппом, которого судьба обездолила? Что еще, как не дружба, заставило Тита отдать, не колеблясь, свою сестру за Гисиппа, хотя тот обеднел и впал в ужасающую нищету?

Пусть же люди стремятся к тому, чтобы у них была многочисленная родня, видимо-невидимо братьев, куча детей, пусть же они нанимают все больше и больше слуг и пусть не замечают, что каждый из них дрожит от страха при малейшей опасности и палец о палец не ударит, чтобы отвести от отца, от брата, от господина опасность подлинно грозную; истинный же друг поступает как раз наоборот.





*Путешествующий под видом купца Саладин
находит радушный прием у мессера Торелло;
предпринимается крестовый поход;
мессер Торелло, уезжая, назначает жене своей срок,
когда она может выйти замуж за другого;
мессер Торелло попадает в плен;
слух об его искусстве приручать птиц достигает ушей Саладино;
Саладин узнает его, называет себя и воздает ему необычайные почести;
мессер Торелло заболевает;
однажды ночью он силою волшебных чар переносится в Павию;
во время пиршества по случаю бракосочетания жены мессера
Торелло она узнает его, и он уводит ее к себе домой*



огда Филомена окончила свой рассказ и все в один голос одобрили великодушного и благодарного Тита, король, прежде чем предоставить последнее слово Дионео, повел такую речь:

— Пленительные дамы! Мысли Филомены о дружбе, вне всякого сомнения, справедливы, и в конце своего рассказа она с полным основанием пожаловалась на то, что в наше время смертные дружбу не ценят. Если бы мы собрались здесь для того, чтобы исправлять человеческие недостатки или же хотя бы для того, чтобы осудить их, я бы развил мысль Филомены в пространном рассуждении, но цель у нас с вами иная — вот почему я порешил описать в быт может длинноватой, однако ж занятой повести один из великодушных поступков Саладина: по грехам нашим нам не дано в полной мере насладиться радостями дружбы, но, выслушав мою повесть, мы, по крайней мере, почувствуем, как приятно оказывать услуги в надежде, что когда-нибудь мы получим за это награду.

Итак, рассказывают, что при императоре Фридрихе Первом христиане задумали всеобщий крестовый поход для освобождения Святой земли. Узнав об этом заранее, султан Вавилонский Саладин, доблестный прави-

тель, порешил своими глазами поглядеть на приготовления христиан к походу, чтобы, в свою очередь, как можно лучше изготавиться в обороне. Приведя в надлежащее устройство дела свои в Египте, он переоделся купцом, взял с собою двух самых главных и самых умных своих придворных и трех слуг и отправился будто бы в паломничество. Много христианских земель он уже осмотрел и теперь путешествовал по Ломбардии с намерением перевалить через горы, и вот однажды вечером повстречался ему между Миланом и Павией мессер Торелло ди Стра из Павии вместе со слугами, собаками и соколами ехавший пожить в свое прекрасное имение на берегу Тичино.

Увидев Саладина и его спутников, мессер Торелло сообразил, что это знатные иностранцы, и возымел желание оказать им почет. И вот, когда Саладин обратился с вопросом к его слуге, далеко ли до Павии и успеет ли он въехать в город до закрытия ворот, мессер Торелло не дал слуге ответить. «Нет, синьоры, вы опоздали», — сказал он.

«Мы — чужеземцы, — сказал Саладин, — не откажите в любезности указать нам, где бы мы могли заночевать».

«Судовольствием, — сказал мессер Торелло. — Я как раз собирался послать по одному делу моего человека в селение, которое находится неподалеку от Павии. Он проводит вас до места, где вы со всеми удобствами расположитесь на ночлег».

Тут мессер Торелло приблизился к самому толковому из своих слуг, отдал надлежащие распоряжения и отправил его с чужестранцами, а сам поехал своей дорогой; прибыв к себе в имение, он велел как можно скорее приготовить наилучший ужин и накрыть стол в саду; когда же все было готово, он вышел за ворота встречать гостей. Слуга, заняв знатных путешественников разговором, незаметно свернул с дороги и проводил их в имение своего господина.

Завидев их издали, мессер Торелло пошел пешком к ним навстречу и, улыбаясь, сказал: «Милости просим, синьоры!» Саладин, будучи человеком догадливым, сообразил, что этот дворянин, боясь, что если он их пригласит, то они не поедут, решился заманить их к себе хитростью, — тогда уж они, мол, волей-неволей проведут с ним вечерок. Отвечая на приветствие мессера Торелло, Саладин сказал: «Мессер! Если можно быть недовольными человеческой любезностью, то мы изъявили бы вам свое неудовольствие: мало того, что вы нас задержали, вы, — хотя мы ничем, кроме приветствия, не заслужили вашего расположения, — вынудили нас воспользоваться необычайною вашей любезностью».

Мессер Торелло, человек умный и красноречивый, ответил на это так: «Синьоры! Оказанная мною любезность ничтожна по сравнению с той, какая, если судить по вашему виду, вам подобает, но в окрестностях Павии вам, в самом деле, везде было бы неудобно, так что вы уж не посетуйте, что вам пришлось дать крюку ради сносного ночлега».

Тут к путникам приблизились слуги, путники спешились, и слуги поставили их коней в стойло; мессер же Торелло повел трех знатных путешественников в заранее приготовленные для них покои, приказал

слугам разуть их, предложил им выпить для бодрости холодного вина, а так как до ужина время еще оставалось, то он провел его в приятной беседе с гостями. Саладин, спутники его и слуги знали латинский язык, и потому сами они все отлично понимали, и другим было понятно все, что говорили они. Гости признали хозяина за самого приятного, благовоспитанного и велеречивого человека, какого только им приходилось видеть, а мессер Торелло пришел к мысли, что они — люди более знатные, чем он предполагал вначале, и ему было неловко, что сегодня он лишен возможности задать в их честь роскошный пир и блестящим окружить их обществом, но он утешал себя тем, что завтра ему удастся поправить дело; сообщив одному из слуг, что он намерен предпринять, мессер Торелло послал его в Павию, до которой отсюда было недалеко и где, кстати сказать, ни одни ворота на ночь не запирались, к своей супруге, женщине умнейшей и с возвышенною душою.

Затем он провел знатных гостей в сад и в учтивых выражениях спросил их, кто они такие и откуда и куда путь держат. Саладин же ему на это ответил так: «Мы — кипрские купцы, прибыли из Кипра, а едем по делам в Париж».

Мессер же Торелло ему на это сказал: «Дай бог, чтобы у нас в стране были такие же дворяне, каковы у вас, сколько я могу судить, купцы».

Разговор переходил с предмета на предмет, а там подоспел и ужин; хозяин попросил гостей пожаловать к столу, и хотя ужин был приготовлен на скорую руку, все было очень вкусно и блюда подавались в строгом порядке. А когда, по прошествии некоторого времени, убрали со стола, мессер Торелло, заметив, что гости устали, предложил им лечь в свежие постели, а потом и сам пошел спать.

Посланный в Павию слуга выполнил поручение, и супруга мессера Торелло позаботилась о том, чтобы по-царски принять гостей: мигом призвала на помощь друзей и слуг мессера Торелло, сделала все от нее зависящее, чтобы пир удался на славу, накануне вечером позвала именитых граждан, коим ее слуги освещали дорогу факелами, приготовила в подарок гостям шелковые, суконные и меховые одежды, — словом, исполнила все, что ей наказывал муж.

Поутру знатные гости встали; когда же они и мессер Торелло сели на коней, мессер Торелло велел взять соколов и, подъехав к ближайшему болоту, показал гостям, как его соколы летают. Саладин обратился к мессеру Торелло с просьбой: нельзя ли, чтобы кто-нибудь из слуг проводил путников до Павии и указал им лучшую гостиницу. Мессер Торелло ему предложил: «Я сам вас провожу, мне все равно нужно быть в городе». Чужеземцы поверили ему, обрадовались и вместе с ним продолжали свой путь. В Павию они приехали около девяти часов утра; полагая, что это лучшая гостиница во всем городе, чужеземцы на самом деле приехали к мессеру Торелло, и во дворе у него уже собрались для встречи дорогих гостей не менее пятидесяти знатнейших граждан; кто бросился взять за узду коня, кто — подержать стремя.

Саладин и его спутники отлично поняли, в чем дело. «Мессер Торелло! — сказали о н и . — Мы просили вас совсем о другом. Вы и так уже

много сделали для нас минувшей ночью, — мы о таком ночлеге и мечтать не могли, — а сейчас приличия требуют от нас, чтобы мы, с вашего дозволения, поехали дальше».

На это ему мессер Торелло ответил так: «Синьоры! За то, что вы у меня остановились вчера вечером, я должен быть благодарен не столько вам, сколько судьбе, — ведь это по ее милости вам пришлось за поздним временем посетить мою лачугу. Что касается нынешнего утра, то уж тут я должен быть признателен вам — я и все эти знатные люди, которые вас обступили; ну, а если вы находите приличным не соизволить откусать с ними, то это дело ваше».

Саладину и его спутникам ничего иного не оставалось, как спешиться, знатные люди радостно приветствовали их и провели в отведенные для них роскошные покои. Сняв с себя дорожное платье и немного отдохнув, чужеземцы проследовали в столовую, поражающую дивным своим убранством. Слуги принесли воды для мытья рук; затем все сели за стол, изящно и богато сервированный, и начался пир: одно отменное кушанье сменяло другое, — словом, если бы мессера Торелло посетил император, то и ему невозможно было бы оказать большего почета. И хотя Саладин и его спутники были важные господа и привыкли к сказочной роскоши, со всем тем и они много дивились; приняв в соображение, что их хозяин — не вельможа, но обыкновенный гражданин, они считали, что это верх гостеприимства. По окончании трапезы, когда уже убрали со стола, хозяин и гости поговорили о том о сем, а так как стояла сильная жара, то павийские дворяне с дозволения мессера Торелло пошли отдохнуть, мессер же Торелло проследовал с тремя приезжими в другую комнату и, желая им показать все, что было у него самого дорогого, послал за своей славной женой. Жена, пригожая, статная, нарядная, ввела за руки двух своих сыновей, двух ангелочков, и приветливо с гостями поздоровалась. При виде хозяйки гости встали, почтительно ответили на ее приветствие и, усадив ее, приласкали обоих красавчиков. Между хозяйкой и гостями завязалась приятная беседа, а когда мессер Торелло вышел, она в учтивейших выражениях осведомилась, откуда и куда они путь держат; знатные путешественники ответили ей то же, что и мессеру Торелло.

Хозяйка ласково взглянула на гостей и сказала: «Я вижу, что женская моя заботливость может вам пригодиться. Ну так вот, я прошу вас о большом одолжении: не откажитесь от скромного моего подарка, который сейчас сюда принесут, и не побрезгайте им. Примите в рассуждение, что коли у женщин разум невелик, то и невеликих даров от них ожидать должно; так вот и я дарю вам не бог весть что, да зато — от чистого сердца». И тут по ее приказанию каждому гостю принесли два платья: одно — суконное, одно — подбитое беличьим мехом (такие платья носят господа, а не мещане и не кушцы), шелковый камзол и шаровары. «Вот, возьмите, — сказала она. — У меня ведь и муж так же точно одевается. Что касается некоторых других вещей, то хотя ценность их не велика, однако они могут сослужить вам службу, особливо если принять в соображение, что жены ваши от вас далеко, что хоть и много вы уже проеха-

ли, но много еще осталось и что купцы — люди чистоплотные и изнеженные».

Знатные гости не могли надивиться тому, что мессер Торелло в своей заботе о них постарался не упустить ни единой мелочи; удостоверившись, что это одеяние — для бар, а не для купцов, они невольно подумали, что мессер Торелло узнал их. Со всем тем один из Саладиновых спутников обратился к хозяйке с такими словами: «Госпожа! Это дары богатейшие, мы бы их не приняли, если б не ваши просьбы, на которые мы не в состоянии ответить отказом».

В это время вернулся мессер Торелло; жена его, пожелав гостям счастливого пути, простилась с ними и пошла оделять их слуг тем, что им приличествовало. Мессер Торелло упросил путешественников еще погостить у него. Путешественники поспали, затем, нарядившись в дареное платье, вместе с мессером Торелло прокатились верхами по городу, а вечером отлично поужинали в обществе почетных гостей.

В положенное время путешественники легли спать, а поутру, когда они встали, вместо их заморенных кляч им подвели трех красивых, могучих коней; слугам также подарили свежих, выносливых лошадей. Тут Саладин обратился к своим спутникам и сказал: «Клянусь богом, свет еще не видел такого прекрасного, такого любезного, такого услужливого человека! Если христианские короли так же хороши, как наш хозяин, то султан Вавилонский не справится и с одним, а не то что со всеми королями, которые, как видно, собираются на него ударить!» Отказываться было неудобно; путешественники сердечно поблагодарили хозяина и сели на дареных коней.

Мессер Торелло с друзьями изъявили желание непременно провредить их, и уже когда они отъехали на значительное расстояние от города, Саладин, несмотря на то что ему не хотелось расставаться с мессером Торелло, ибо он успел полюбить его, сказал, что он торопится и что пора им распрощаться; мессер же Торелло крепя сердце сказал: «Коли вам так угодно, синьоры, я с вами прошусь, однако ж позвольте сказать вам: я не знаю, кто вы такие, да и не хочу знать больше того, что вы сами почли за нужное мне о себе сообщить, но только я никогда не поверю, что вы — купцы. Поезжайте с богом!»

На это Саладин, уже простившийся со спутниками мессера Торелло, ответил так: «У нас еще будет случай показать вам, мессер, наш товар, и тогда вы нам поверите. Поезжайте с богом домой!»

Уехал Саладин со страстным желанием, если только он уцелеет, если его не убьют на войне, воздать мессеру Торелло не меньшие почести, чем те, с какими мессер Торелло принял его. И много еще было разговоров у Саладина со спутниками о мессере Торелло, о его жене, о его деяниях и благодеяниях, и всё никак не могли они им нахвалиться. Объехав с великими трудностями весь Запад и получив нужные ему сведения, Саладин сел на корабль; когда же он возвратился со своими спутниками в Александрию, то стал готовиться к обороне. А мессер Торелло, возвратившись в Павию, долго думал, кто бы могли быть эти трое, но в предположениях своих был куда как далек от истины.

Когда же был объявлен крестовый поход и всюду начались деятельные к нему приготовления, мессер Торелло невзирая на мольбы и слезы жены также решил непременно принять в нем участие. Покончив со сборами, он, прежде чем сесть на коня, сказал своей горячо любимой супруге: «Ты знаешь, жена, что я отправляюсь в поход не только ради славы, но и для спасения души. Веди все дела и блюди честь нашего дома. В том, что я еду в поход, я совершенно уверен, а вот в том, что я ворочусь, у меня никакой уверенности нет, — мало ли что со мной может случиться! — и потому я хочу вот о чем тебя попросить: если ты не будешь получать обо мне достоверных сведений, то все-таки жди меня и не выходи вторично замуж в течение одного года, одного месяца и одного дня, считая со дня моего отъезда».

Жена, горько плача, сказала ему на это: «Не знаю, мессер Торелло, как я перенесу разлуку с вами, но если у меня все же хватит сил выдерживать, то, что бы с вами ни случилось, вы можете спокойно жить и спокойно умереть — в полной уверенности, что я и умру женою мессера Торелло, что я до конца моих дней пребуду верна его памяти».

На это ей мессер Торелло ответил так: «Я нимало не сомневаюсь, жена, что, если это будет зависеть только от тебя, ты свое слово выдержишь, но ведь ты молода, хороша собой, благородного происхождения, у тебя много достоинств, и все об этом знают; поэтому я могу ручаться, что если я пропаду без вести, то многие высокие особы, многие знатные люди станут просить твоей руки у твоих братьев и других родственников, а от назойливых женихов ты при всем желании не сможешь отбиться и волей-неволей уступишь. Вот почему я даю тебе столь короткий срок».

«Я всеми силами постараюсь выполнить свое обещание, — молвила жена. — Если же мне придется поступить иначе, то вашу волю я, во всяком случае, соблюду. Молю бога, однако ж, чтобы он и меня и вас избавил от бед».

Тут жена мессера Торелло, рыдая, обняла супруга и, сняв с пальца кольцо, отдала ему. «Если я умру раньше, — сказала она, — то, глядя на кольцо, вспоминайте обо мне».

Мессер Торелло взял кольцо, сел на коня и, попрощавшись со всеми, уехал. Прибыв со своими спутниками в Геную, он сел на галеру и, приехав немного погодя в Акру, стал в ряды христианского войска. Но тут как раз в войске начались повальные болезни, люди умирали один за другим; была ли то просто удача Саладина или же то были его козни, но только поветрие продолжалось долго, а почти всех, кто уцелел, взяли без боя в плен, распределили по разным городам и заточили в темницы. Мессера Торелло также захватили в плен и посадили в александрийскую тюрьму. Никто его здесь не знал, да он и не хотел, чтобы его узнали; в силу необходимости он занялся приручением птиц, на что он был великим искусником, и это стало известно Саладину, — Саладин приказал освободить его и взял к себе в качестве сокольничего. Саладин звал мессера Торелло не иначе, как «Христианин», и оба друг друга не узнавали; мессер Торелло все время был душой в Павии и делал несколько попыток к бегству,

но кончались эти попытки неудачей. И вот, когда некие генуэзцы, приезжавшие к Саладину для переговоров о выкупе своих сограждан, уже собиравшись в обратный путь, мессер Торелло решил написать жене, что он жив, что он постарается скоро вернуться и чтобы она его ждала. Так именно он и поступил и обратился к одному из послов, своему знакомому, с покорной просьбой передать письмо аббату из храма Сан Пьетро ин Челье д'Оро, который доводился ему дядей.

В остальном все у мессера Торелло шло по-старому до тех пор, пока однажды Саладин не разговорился с ним о птицах; тут мессер Торелло улыбнулся, а когда он улыбался, то губы у него складывались по-особенному, на что Саладин обратил внимание, еще когда гостил у него в Павии. И вот это движение губ напомнило Саладину мессера Торелло; он стал в него вглядываться и в конце концов уверился, что это мессер Торелло и есть. Оборвав разговор, он задал ему вопрос: «Скажи мне, Христианин: из какой ты страны Запада?»

«Я, государь, ломбардец, из города Павии, — отвечал мессер Торелло, — человек я бедный, низкого звания».

При этих словах сомнения Саладина почти рассеялись. «Господь предоставляет мне возможность доказать, как я благодарен этому человеку за гостеприимство», — с радостью подумал он и, не предупредив мессера Торелло, приказал разложить в другой комнате все свои одежды, а затем привел его в эту комнату и сказал: «Посмотри, Христианин: нет ли среди этих платьев хотя бы одного, тебе знакомого?»

Мессер Торелло принялся рассматривать одежды и обнаружил среди них те, что жена его подарила Саладину, но все-таки он был не совсем в этом уверен и потому ответил так: «Нет, государь, ни одного знакомого мне одеяния я тут не нахожу. Впрочем, два платья напоминают те, что были когда-то на мне и на трех купцах, которые у меня останавливались».

Тут Саладин не утерпел. «Вы — мессер Торелло ди Стрра, — ласково обняв его, сказал он, — а я — один из трех купцов, которым ваша супруга подарила эти одежды. Наконец-то мне представляется случай уверить вас и показать вам свой товар, о чем я вам говорил при прощании».

Мессер Торелло обрадовался, но и устыдился; радовался он тому, что принимал тогда у себя столь высокого гостя, устыдился же при мысли, что оказал ему слишком скромный прием. «Мессер Торелло! — снова заговорил Саладин. — Сам бог послал вас ко мне; знайте же, что отныне не я, а вы здесь хозяин».

Оба несказанно обрадовались; Саладин приказал одеть мессера Торелло в царские одежды, затем повел его к своим приближенным и, расхвалив его, потребовал, чтобы все, под страхом оказаться у султана в немилости, воздавали мессеру Торелло почести, подобающие самому султану, и с того дня так все и делали, но особенно внимательны были к нему два Саладиновых спутника, некогда у него гостившие. Великий почет, каким неожиданно стал пользоваться мессер Торелло, отвлек его думы от Ломбардии; притом, он был совершенно уверен, что письмо его дошло до дяди.

В тот день, когда христианское воинство попало в плен к Саладину, скончался и был похоронен некий ничем особенно не примечательный рыцарь из Прованса, по имени мессер Торелло де Динь; вот почему каждый, услышав, что мессер Торелло скончался, невольно думал, что это не Динь, а мессер Торелло ди Стра, — столь широко был он известен своим благородством, а так как мессер Торелло ди Стра попал в плен, то разубедить убежденных в том, что он умер, не было никакой возможности. Многие итальянцы принесли эту весть на родину; среди них нашлись наглецы, которые осмеливались утверждать, что видели его мертвым и присутствовали при погребении. Весть о том дошла до его супруги и до всей его родни, и то было великое и глубокое для них горе, да и не только для них: мессера Торелло жалели все, кто его знал. Долго было бы описывать, сколь сильны и люты были скорбь, кручина и душевные муки его супруги; со всем тем, после нескольких месяцев непрерывных страданий, она уже не так горько оплакивала утрату мужа, и тут к ней начали свататься ломбардские высокопоставленные лица, братья же и другие сродники уговаривали ее выйти замуж за другого. Домогательства эти вызывали у нее потоки слез, многим она отказала, но в конце концов ей пришлось уступить родне, с тем, однако, условием, что она будет ждать мессера Торелло столько, сколько она ему обещала.

Так обстояли дела в Павии; оставалась всего какая-нибудь неделя до окончания обета, данного супругой мессера Торелло, а в это время в Александрии мессер Торелло случайно встретил человека, который не так давно вместе с послами садился при нем на галеру, отходившую в Геную. Он окликнул его и спросил, благополучно ли они доехали и когда прибыли в Геную, а тот ему ответил так: «Ах, государь мой! Галера потерпела крушение. Я сошел с нее на острове Крите, и потом уже до меня дошли вести, что когда галера была в виду берегов Сицилии, бешено задула трамонтана, и галеру понесло прямо на берберийские отмели; никто не спасся; там погибли два моих брата».

Мессер Торелло не мог не поверить правдивому этому сообщению; вспомнив, что срок, который он дал жене, спустя несколько дней истекает, и приняв в рассуждение, что в Павии ничего о нем не известно, он основался в мысли, что жена его, уж верно, вышла замуж вторично. И так он после этой встречи загрустил, что потерял аппетит и в чаянии близкой смерти слег. Услышав об этом, душевно к нему расположенный Саладин посетил его; он долго допытывался, какова причина скорби его и болезни, а когда узнал, то осыпал его упреками, зачем он раньше ничего ему не сказал, постарался успокоить его, пообещал, что если мессер Торелло будет его слушаться, то еще до истечения срока попадет в Павию, и тут же объяснил, каким образом. Мессер Торелло поверил Саладину; ему часто приходилось слышать, что это возможно и что такие опыты делались уже не раз, а потому он воспрянул духом и попросил Саладина с этим не мешкать. Саладин повелел одному из своих некромантов, коего искусство он уже испытал, ночью перенести мессера Торелло на постели в Павию; некромант сказал, что все будет исполнено, но что мессера Торелло для его же блага придется усыпить.

После разговора с некромантом Саладин вернулся к мессеру Торелло и, удостоверившись, что тот проникнут непреклонною решимостью или быть к назначенному сроку в Павии, или же умереть, обратился к нему с такими словами: «Мессер Торелло! Раз вы столь пламенно любите вашу супругу и опасаетесь, как бы она не вышла замуж, то, — да будет мне свидетелем всевышний, — я не могу вас за это осуждать, так как из всех женщин, каких я когда-либо видел, она, по моему разумению, заслуживает наибольших славословий и восхвалений; не будем говорить о ее красоте, — красота — цветок недолговечный, — но ее нрав и обычай, ее обхождение и поведение безукоризненны. Раз уж судьба занесла вас сюда, то я был бы счастлив прожить вместе то время, какое нам с вами отпущено, и на равных правах управлять моею страной. Но раз нет на то воли божьей, ибо вы непреклонны в своем решении оканчаться к сроку в Павии или же умереть, я бы очень хотел заранее приготовиться к вашему отъезду, дабы вы возвратились к себе домой с теми почестями, с тем торжеством и с тою свитою, каких доблесть ваша заслуживает. Коль же скоро я лишен и этой возможности, коль скоро вы непременно хотите быть там к известному сроку, то я постараюсь доставить вас туда тем способом, о котором мы с вами уже говорили».

На это мессер Торелло ответил так: «Вы не на словах, а на деле доказали мне свое благоволение, — такого необычайного благоволения я не заслужил, и если бы даже вы мне сейчас ничего не сказали, все равно мое доверие к вам умерло бы только вместе со мною. Но раз уж я решился отбыть, сделайте милость — исполните обещанное возможно скорее, ибо завтра — последний день».

Саладин уверил его, что все готово и никакой задержки ожидать не должно. На другой день Саладин, рассчитывавший отправить мессера Торелло в следующую же ночь, приказал устроить для него в большой зале пышное и богатое ложе; того ради туда принесли матрацы, — по обычаю той страны, из бархата и золотой парчи, — одеяло, расшитое крупным жемчугом и самоцветными камнями, которые тут у нас были чрезвычайно высоко оценены, и две подушки, соответствовавшие роскошному виду этого ложа. Затем Саладин велел надеть на уже окрепшего мессера Торелло сарацинское платье, такое пышное и нарядное, какого еще не видывал свет, голову же ему повязали, как у них принято, тюрбаном. Час был уже поздний, когда Саладин с толпой приближенных вошел в комнату, где находился мессер Торелло, и, сев рядом с ним, дрожащим от сдерживаемых рыданий голосом заговорил: «Мессер Торелло! Близок час, когда мы с вами расстанемся, и так как у меня нет возможности ни сопровождать вас, ни дать вам кого-либо в сопровождение, ибо этого не допускает способ предстоящего вам путешествия, то я пришел с вами проститься. Прежде чем призвать на вас благословение божие, я хочу обратиться к вам с просьбой: ради нашей с вами любви и дружбы не забывайте меня. И еще: приведите в порядок свои дела в Ломбардии и, пока течение наших дней не окончилось, хоть раз выберите время со мной повидаться: то-то вы меня обрадуете, а потом, я хоть тогда смогу исправить мою вынужденную неучтивость,

вызванную тем, что вы очень спешите. Ну, а до тех пор не считите за труд подавать о себе весточку, и о чем бы вам ни благоугодно было попросить меня в письмах, я все для вас сделаю гораздо охотнее, чем для кого-либо еще».

Мессер Торелло не мог удержаться от слез; слезы мешали ему говорить, и он в самых коротких словах ответил Саладину, что никогда не забудет его благодеяний и доброты и что если век его, Торелло, продлится, то он непременно исполнит его просьбу. Саладин ласково обнял мессера Торелло, расцеловал, разрыдался и, вымолвив: «Поезжайте с богом», — вышел из комнаты; после Саладина с мессером Торелло простились придворные и, следом за Саладином, прошли в ту залу, где для мессера Торелло приготовили ложе. Было уже поздно; некромант с нетерпением ждал, когда кончится прощание, и как скоро Саладин и придворные удалились, в ту же минуту по знаку некроманта явился лекарь с напитком и, уверив мессера Торелло, что это укрепляющее средство, дал ему выпить, и мессер Торелло скоро уснул. Саладин, распорядившись, чтобы его, спящего, отнесли на роскошное ложе, положил на эту кровать большой, красивый, драгоценный венец, и по надписи на венце все догадались, что это его подарок жене мессера Торелло. Потом он надел мессеру Торелло на палец перстень, в который был вделан карбункул, до того ярко сверкавший, что казалось, будто в зале зажгли факел; стоимость же его с трудом поддавалась определению. Далее он приказал опоясать его мечом, коего украшения не так-то легко было бы оценить, спереди приколоть ему застежку, усыпанную невиданной красоты жемчужинами и множеством других драгоценных камней, справа и слева поставить два больших золотых сосуда, наполненных дублонами, а вокруг положить низки жемчуга, перстни, пояса и прочее тому подобное — всего не перечислишь. Когда все это было сделано, Саладин еще раз поцеловал мессера Торелло и сказал некроманту, что теперь пора. И тут ложе вместе с мессером Торелло исчезло, а Саладин и его приближенные, сидя в зале, долго еще беседовали о мессере Торелло.

А мессер Торелло со всеми драгоценностями и украшениями, сонный, очутился, согласно его просьбе, в павийском храме Сан Пьетро ин Чель д'Оро, как раз когда зазвонили к утрени и в храм вошел со свечою в руке пономарь. Увидев богато убранное ложе, пономарь мало сказать изумился — он перепугался насмерть и бросился вон из храма. Аббат и монахи дались диву и спросили пономаря, что с ним. Пономарь все им рассказал.

«Эх ты! — молвил аббат. — Ведь ты уже не мальчик и не новичок, а трусишь невесть чего. Ну, пойдем посмотрим, кто это тебя так напугал».

Аббат и монахи зажгли свечи и, войдя в храм, увидели дивное нарядное ложе, а на нем — спящего рыцаря. Не приближаясь к ложу, они, в нерешимости и страхе, все еще любовались дорогими вещами, но в это время снадобье перестало действовать, и мессер Торелло, пробудившись, глубоко вздохнул. Тут и монахи и аббат с воплями: «Господи, помилуй!» — в ужасе бросились бежать. Мессер Торелло открыл глаза и,

оглядевшись по сторонам и удостоверившись, что находится именно там, куда он и просил Саладина его доставить, возвеселился духом. Он приподнялся, сел и осмотрел свое ложе, и хотя щедрость Саладина была ему давно известна, со всем тем она оказалась еще выше, чем он думал, — перед ним было очевидное тому доказательство. Слыша, однако ж, что монахи бегут, и понимая, по какой причине, мессер Торелло, не вставая с постели, назвал аббата по имени и крикнул вдогонку, что бояться нечего, — его, мол, кличет племянник Торелло. Аббата это еще больше напугало, — ведь ему было известно, что Торелло умер назад тому несколько месяцев, однако ж голос был явно знакомый, и так как мессер Торелло продолжал его звать, аббат осенил себя крестным знаменем и вошел в храм.

«Отец мой, чего вы боитесь? — молвил мессер Торелло. — Я, слава тебе, господи, жив, только что возвратился из-за моря».

У мессера Торелло отросла длинная борода, одежда на нем была арабская, и все же аббат узнал его, хотя и не сразу; и вот, когда у него не осталось уже и тени сомнения, он взял мессера Торелло за руку и сказал: «Добро пожаловать, сын мой! Не удивляйся, что мы испугались: весь город совершенно уверен, что тебя нет в живых, более того: на твою жену, донну Адалиэту, в конце концов подействовали просьбы и угрозы родных, и она не по доброй воле второй раз выходит замуж. Нынче утром она должна быть у своего мужа — для свадебного торжества уже готово».

Мессер Торелло встал со своего богато убранного ложа и, радостно приветствовав аббата и монахов, попросил их до тех пор, пока он не сделает одного дела, никому не говорить, что он возвратился. Отдав драгоценности на хранение аббату, мессер Торелло поведал ему все свои приключения. Аббат порадовался, что все так благополучно кончилось, и вместе с мессером Торелло возблагодарил бога. Затем мессер Торелло спросил аббата, за кого Адалиэта выходит замуж. Аббат назвал имя жениха.

«Прежде чем мое возвращение станет известно, — сказал мессер Торелло, — я хочу посмотреть, как будет вести себя на свадьбе моя жена. Духовным особам не полагается ходить на пирушки, но уж вы ради меня похлопочите, чтобы нас с вами туда пригласили».

Аббат охотно за это взялся. Он послал сказать молодому, что он и его приятель хотят быть на свадьбе; тот отвечал, что они доставят ему этим большое удовольствие. В обеденный час мессер Торелло, не переменяв одеяния, пошел с аббатом к новобрачному, и все взирали на него с изумлением, но не узнавали, аббат же объяснял, что это сарацин, которого султан отправил с посольством к французскому королю. Усадили мессера Торелло как раз напротив его жены; он смотрел на нее с обожанием, и по выражению ее лица ему было ясно, что свадьба ей не по душе. Она также, привлеченная необычностью его одеяния, время от времени на него поглядывала, но не узнавала — так изменили его наружность длинная борода и диковинный наряд, а кроме того, у нее не оставалось никаких сомнений, что его нет в живых.

Наконец мессер Торелло решил, что пора удостовериться, помнит ли она его, и того ради снял с руки кольцо, которое она подарила ему перед разлукой, и, позвав прислуживавшего ей мальчика, сказал: «Передай от меня молодой, что на моей родине существует обычай: когда какой-нибудь чужестранец пирует у новобрачной, как вот я у нее, она в знак того, что его присутствие на брачном пиру доставляет ей удовольствие, посылает ему полный кубок вина — тот, из которого пьет сама; когда же чужестранец отоплет, сколько захочет, и прикроет кубок, то остатки выпивает молодая».

Мальчик выполнил его поручение; донна Адалиэта, женщина благовоспитанная и рассудительная, думая, что чужестранец — особа важная, и желая показать, что его присутствие на свадьбе ей приятно, велела налить вином доверху стоявший перед нею большой золоченый кубок и поднести почетному гостю, что и было исполнено. Мессер Торелло положил ее кольцо себе в рот, а когда пил вино, то незаметно опустил его в кубок, вина оставил на доннышке, кубок же прикрыл и послал молодой. Желая до конца соблюсти иноземный обычай, молодая открыла крышку и, поднеся кубок ко рту и обнаружив кольцо, молча принялась рассматривать его и вскоре убедилась, что это то самое кольцо, которое она подарила мессеру Торелло перед его отъездом; вынув кольцо, она устремила пристальный взор на человека, которого принимала доселе за чужеземца, и, наконец узнав его, как бы в припадке умоисступления опрокинула стол и с криком: «Вот мой господин! Это же мессер Торелло!» — бросилась к тому столу, за которым сидел он, и, не боясь помять или же испачкать платье, перегнулась через стол и обвила руками шею мессера Торелло так крепко, что уже ничьи уговоры и попытки оторвать ее от мессера Торелло не оказывали на нее ни малейшего действия, пока мессер Торелло не сказал ей, чтобы она не безумствовала — у нее, мол, еще будет время обнять его, — только после этого донна Адалиэта отпустила мужа. Все пришли в смятение, а иные были счастливы, что снова видят перед собой столь славного рыцаря, и тут мессер Торелло, попросив внимания, поведal все свои приключения, начиная со дня отъезда и кончая сегодняшним днем, присовокупив, что тому достойному человеку, который, полагая, что мессер Торелло умер, женился на его жене, не должно быть обидно, если он, мессер Торелло, уведет ее к себе, раз он остался жив. Новобрачному это не могло быть приятно, однако ж ответил он без обиняков и в дружественном тоне, что мессер Торелло волен поступить, как ему вздумается, ибо жена должна принадлежать мужу. Донна Адалиэта отдала ему его дары — кольцо и венец и вместо них надела кольцо, которое она вынула из кубка, и венец, который ей прислал султан. После этого она и мессер Торелло торжественно, как подобает новобрачным, пошли к себе домой, и долгий и веселый пир, который устроил мессер Торелло, утешил его родных, друзей и сограждан, — между тем все это время они были безутешны, да и сейчас еще смотрели на мессера Торелло как на воскресшего из мертвых. Мессер Торелло раздал часть своих драгоценностей жениху, потратившемуся на свадьбу, аббату и многим другим, через несколь-

ких гонцов уведомил Саладина о том, что он, друг его и слуга, благополучно прибыл на родину, и, выказывая еще большую щедрость, чем прежде, долго после этого жил-поживал с добродетельною своею супругой.

Таков был конец злоключений мессера Торелло и его славной подруги жизни, так они оба были вознаграждены за добрые дела, которые они столь весело и столь охотно делали. Многие тщатся творить добро, но даже имеющие для этого возможность поступают не всегда ладно: они еще ничего не сделали, а уже требуют благодарности; пусть же ни они сами, ни все прочие не удивляются, что добрые их дела остаются не вознагражденными.





*Подданные уговаривают маркиза Салуццкого жениться;
маркиз, объявив, что сыщет себе невесту сам, женится на дочери крестьянина;
она родила ему двух детей; маркиз заставляет ее думать, что он убил их;
потом он объявляет ей, что она ему надела и что он женится на другой,
и она в одной сорочке от него уходит;
маркиз посылает за своей дочерью и всем говорит, что это его невеста;
наконец он убеждается, что жена его все терпит;
она ему теперь еще дороже, чем прежде, он призывает ее к себе и,
показав выросших за это время детей,
сам воздает и другим повелевает воздавать ей почести, подобающие маркизе*



огда король окончил свой рассказ, по-видимому произведший на всех приятное впечатление, Дионео со смехом сказал:

— Как бы вы ни расхваливали мессера Торелло, а все-таки он в подметки не годится тому добродушному человеку, который в ночную пору сошел за привидение с поднятым хвостом.

Кроме Дионео, рассказывать больше было некому, и он начал так:

— Незлобивые дамы! Если не ошибаюсь, сегодня все рассказывали о королях, султанах и прочих высокопоставленных лицах. Я тоже не хочу ударить лицом в грязь и расскажу про одного маркиза, поступившего, однако ж, не великодушно, а донельзя глупо, хотя все кончилось благополучно. Но только подражать ему я не советую, ибо благополучный исход его сумасбродства — это величайшая несправедливость судьбы.

В давно прошедшие времена старшим в роде маркизов Салуццких оказался юный Гвальтьери, неженатый, бездетный, целыми днями охотившийся на птиц и зверей, жениться и обзаводиться детьми не собиравшийся, в чем сказывался его недюжинный ум. Однако ж подданным это не нравилось, и они уговаривали его жениться, дабы ему не остаться без наследника, а им без правителя, и вызывались сыскать ему такую хорошую невесту, из такой хорошей семьи, что ему нечего было бы опасаться за свое будущее.

А Гвальтьери им на это возражал: «Друзья мои! Вы принуждаете меня решиться на такой шаг, который по своей доброй воле я ни за что бы не сделал: я же знаю, как трудно сыскать жену сходного нрава, знаю, как много на свете женщин, которые мне совсем не пара, и как тяжело приходится мужчине, сделавшему неудачный выбор. Вы утверждаете, что по нраву родителей можно безошибочно судить о нраве дочери, и отсюда делаете вывод, что подыщете невесту, которая пришлась бы мне по душе, но это вздор: мне невдомек, как вам удастся узнать отца или же выведать тайны матери, но если бы даже все про отца и мать вам было известно, дочери часто бывают совсем не похожи на своих родителей. Впрочем, раз вы непременно хотите наложить на меня эти цепи, то я вам перечить не стану, с условием, однако ж, что невесту сыщу я сам, чтобы в случае, если дело примет скверный оборот, я пенял на себя, и еще я вас упреждаю, что кого бы я ни взял, вы обязаны почитать ее как свою госпожу, а иначе я вымещу на вас тяготу вынужденного моего брака». Добрые люди ответили, что пойдут на все условия, только бы он женился.

Гвальтьери уже давно пленился благонаравием одной бедной девушки из ближней деревни; притом она была хороша собой, и Гвальтьери рассудил, что с нею он будет счастлив. Приняв в соображение, что от добра добра не ищут, он порешил на ней жениться и, послав за ее отцом, бедняком из бедняков, обо всем с ним уговорился.

После этого Гвальтьери созвал со всей округи друзей и объявил им: «Друзья мои! Вы все время настаивали на том, чтобы я женился, — ну так вот, я женюсь, но не потому, чтобы мне этого уж так хотелось, а чтобы угодить вам. Помните, что вы мне обещали? Удовольствоваться тою, кого я возьму, и почитать ее как свою госпожу. Я свое слово сдержал, сдержите же и вы свое. Совсем близко отсюда я нашел девушку, которая пришлась мне по н р а в у, — я на ней женюсь и введу ее к себе в дом. Позаботьтесь же, чтобы свадьба была отпразднована как можно торжественнее и чтобы жене моей был оказан почетный п р и е м, — словом, чтобы и вы и я остались довольны».

Добрые люди обрадовались и все в один голос сказали, что они довольны и что, кто бы ни была его супруга, они примут ее как свою госпожу и как госпожу будут ее чтить и в дальнейшем. После этого все, в том числе сам Гвальтьери, занялись приготовлениями к роскошному, богатому и веселому пиру. Гвальтьери сказал, что свадьба должна быть богатейшей и роскошной, и велел созвать на нее великое множество родных, друзей, знатных и незнатных соседей. А еще он велел скроить и сшить много красивых и дорогих платьев по мерке, снятой с одной девушки, у которой была, по его мнению, такая же точная фигура, как у его невесты; помимо платьев, он велел приготовить пояса, кольца, дорогой и красивый в е н е ц, — словом, все, что нужно для новобрачной.

В день свадьбы, в семь часов утра, Гвальтьери и все его гости сели на коней. Отдав необходимые распоряжения, он сказал: «Синьоры! Пора ехать за невестой». Все тронули поводья и поехали в деревушку. Подъез-

жая к дому невесты, Гвальтьери ее встретил — она ходила за водой и теперь быстрым шагом возвращалась: ей хотелось вместе с другими поселянками посмотреть на невесту Гвальтьери, а Гвальтьери, назвав ее по имени, то есть Гризельдой, спросил, где ее отец, на что она, застыдившись, ответила: «Дома, господин».

Гвальтьери спешил и, сказав спутникам своим, чтобы они его подождали, вошел в убогую лачугу и обратился к хозяину, которого звали Джаннуколе, с такими словами: «Я приехал за Гризельдой; прежде, однако ж, мне нужно кое-что сказать ей в твоём присутствии». И тут Гвальтьери объявил ей свою волю: если, мол, он на ней женится, ей придется во всем угождать ему; что бы он ни сказал и как бы ни поступил — она не должна на него гневаться, она обязуется быть ему послушной, и все в этом роде, и спросил, согласна ли она; Гризельда же ответила ему полным согласием. Тогда Гвальтьери вывел ее за руку из дому, приказал в присутствии всех его спутников и при всем народе раздеть ее донага, потом — как можно скорее одеть и обуть во все новое, им заказанное, а на растрепанные ее волосы возложить венец. Когда же все выразили удивление, он сказал: «Синьоры! Если эта девушка ничего против меня не имеет, то я на ней женюсь». Тут Гвальтьери обратился к растерявшейся и смущенной Гризельде и спросил: «Гризельда! Хочешь быть моею женою?»

«Хочу, господин», — отвечала Гризельда.

«А я хочу быть твоим мужем», — молвил Гвальтьери. Повенчавшись с Гризельдой при большом стечении народа, он посадил ее на доброго коня и с честью доставил в замок. Начался роскошный и богатый пир; торжество было такое, как будто Гвальтьери взял за себя дочь французского короля.

Казалось, новобрачная вместе с одеждой сменила и душу и нрав свой. Я уже сказал, что она была красива и стройна, а теперь к ее красоте прибавились и другие качества: она стала до того обаятельна, очаровательна и учтива, что, глядя на нее, можно было подумать, будто она никогда раньше не пасла овец и была дочерью не Джаннуколе, а какого-нибудь важного господина, чем приводила в изумление всех, кто знал Гризельду до ее замужества. Помимо всего прочего, она была до того послушна и до того предупредительна к мужу, что он был счастлив и доволен; с подданными же его она была так ласкова и милосердна, что все ее боготворили, служили ей не за страх, а за совесть, молились о ее счастье, благополучии и процветании, и если прежде про Гвальтьери говорили, что он поступил неблагоразумно, женившись на ней, то теперь все признавали его за благоразумнейшего и проницательнейшего человека на свете, потому что никто, мол, на его месте не углядел бы под убогим рубищем, под крестьянской одеждой столь высокие добродетели. Словом сказать, не только в маркизате, но и всюду за его пределами все теперь восхищались ее достоинствами и ее поведением, и уже не корили, но одобряли Гвальтьери за то, что он вступил с нею в брак. Гризельда вскорости затяжелела и в срок родила девочку, по каковому случаю Гвальтьери устроил великое торжество.

Вскоре, однако ж, Гвальтьери пришла в голову странная мысль: испытать терпение Гризельды путем долговременной и мучительной для нее проверки; начал же он с попреков; притворившись недоброльным, он сказал ей, что его приближенные возмущены: у него, мол, жена простого звания, а тут еще пошли дети, и родила-то она не сына, а дочь: это-де очень их огорчило, и они ропщут. Гризельда не изменилась в лице и ни одним движением чувства не дала понять, что отказывается от своего первоначального благого намерения. «Поступай со мной, повелитель мой, т а к , — молвила о н а , — как, по твоему разумению, того требуют честь твоя и благополучие, я же всем буду довольна; я знаю, что я им не ровня и что я не заслуживаю той чести, которой ты по доброте своей меня удостоил». Ответ жены произвел на Гвальтьери благоприятнейшее впечатление, ибо он удостоверился, что та честь, которую воздавали Гризельде и он, и все прочие, не вскружила ей голову.

Со всем тем несколько дней спустя Гвальтьери намекнул ей, что его приближенные терпеть не могут ее дочку, а затем подослал к ней слугу, и тот, сам не свой, объявил ей: «Госпожа! Мне моя жизнь дорога, а потому я не могу не исполнить приказ моего господина. Он велел мне взять вашу дочку и...» Слуга не договорил.

Услышав эти слова, посмотрев слуге в лицо и вспомнив, что говорил ей муж, Гризельда догадалась, что слуге приказано умертвить девочку. Быстрым движением вынув дочку из колыбели, она ее поцеловала, благословила, и хотя душа у нее была растерзана, она, не дрогнув, передала дочку с рук на руки слуге. «Возьми е е , — сказала Гризельда, — и в точности исполни все, что тебе повелел твой и мой господин, но только не оставляй ее на съедение зверям и птицам, если, впрочем, ты не получишь от него особого распоряжения». Взяв девочку, слуга пошел к Гвальтьери и передал все, что говорила ему Гризельда, а Гвальтьери, подивившись твердости ее духа, отправил слугу с младенцем в Болонью к своей родственнице; родственницу эту он просил, никому не открывая, чья это дочь, не пожалеть трудов на то, чтобы вырастить ее и воспитать.

Вскоре после этого Гризельда опять затяжелела и в срок родила сына, чем Гвальтьери был безмерно счастлив. Но ему, как видно, было недостаточно первого испытания, и он нанес жене еще более глубокую рану. Однажды он с сердитым видом сказал ей: «Жена! После того как ты родила сына, с подданными моими нет никакого сладу: их убивает одна мысль, что после меня правителем у них будет внук Джаннуколе. Боюсь, как бы мне не пришлось сначала прибегнуть к тому же, к чему я однажды уже прибегнул, а потом бросить тебя и жениться на другой, иначе меня могут изгнать».

Жена выслушала его спокойно и ответила так: «Только бы тебе было хорошо, мой повелитель, поступай как знаешь, а обо мне не беспокойся: ведь я только тобой и живу».

Немного погодя Гвальтьери послал за сыном, как в свое время послал за дочерью, снова обставил дело так, как будто он умертвил ребенка, а между тем отдал его на воспитание туда же, куда и дочь, то есть в Болонью. А Гризельда отдала сына так же безропотно, как отдала дочь,

чему Гвальтьери немало дивился; он не мог себе представить, чтобы какая-нибудь другая женщина была на это способна. Если б он не знал, какая Гризельда любящая мать, — она проявляла эту свою любовь, пока он ей разрешал, — он, уж верно, подумал бы, что она равнодушна к детям, однако ж поведение Гризельды явилось для него свидетельством ее мудрости. Подданные, думая, что он умертвил детей, осуждали его и упрекали в жестокости, а Гризельду очень жалели; между тем Гризельда, когда другие женщины сокрушались из-за гибели ее детей, неизменно отвечала, что она на это согласилась, потому что так угодно было их отцу.

Несколько лет спустя после того, как у них родилась дочь, Гвальтьери надумал в последний раз испытать терпение жены и того ради стал говорить направо и налево, что Гризельда ему опостылела, что женился он на ней по молодости лет, необдуманно, а потому будет добиваться от римского папы разрешения на второй брак, Гризельду же он, мол, намерен бросить, за что все добрые люди порицали его, но он отвечал одно: мол, быть посему. До Гризельды эти разговоры дошли, и, представив себе, что ей, по всей вероятности, предстоит возвратиться в родительский дом и, по всей вероятности, опять пасти овец, а того, в ком полагала она все свое счастье, увидеть в объятиях другой женщины, она глубоко закручинилась, но решилась перенести и эту превратность судьбы с тою же твердостью, с какою переносила все, что ей выпадало на долю.

Некоторое время спустя Гвальтьери пришли из Рима подложные письма, и он всем и каждому их показывал, а в них говорилось, что папа разрешает ему расстаться с Гризельдой и жениться на другой. Наконец Гвальтьери за нею послал и при всех объявил: «Жена! Папа разрешил мне расстаться с тобою и жениться на другой. Предки мои были люди знатные, весь этот край был им подвластен, а твои предки — хлебопашцы, и больше я с тобою жить не хочу; забирай свое приданое и уходи к Джаннуколе, а я найду себе другую, более подходящую жену».

Гризельда, переборов женскую свою природу, с величайшим трудом удержалась от слез. «Я всегда помнила, мой повелитель, — заговорила она, — что я, низкого состояния женщина, не пара такому знатному человеку, как вы. За то, что я находилась при вас, в вашем замке, я должна благодарить бога и вас. То, что я получила в дар, я никогда не почитала и не признавала своим, — я говорила себе, что это дано мне на время. В любую минуту, когда бы вам ни пришла охота что-либо потребовать у меня обратно, я бы это с не меньшей охотой вам возвратила, и сейчас я вам все возвращу. Вот ваше кольцо — возьмите его. Вы велите мне забрать мое приданое. Для этой цели вам не придется посылать за своим казначеем, а мне не понадобятся ни кошельки, ни вьючная лошадь, — ведь я же прекрасно помню, что вы взяли меня в чем мать родила. Если вы почтете приличным, чтобы все увидели тело носившей зачатых от вас детей, я уйду от вас нагая, но все же я бы вот о чем вас попросила: дозвоьте мне, не в счет приданого, а в награду за мою непорочность, которую я принесла вам в дар и которой мне уже не вернуть, надеть на себя хотя бы сорочку».



К горлу Гвальтьери подступили рыдания, но он, напустив на себя суровость, сказал: «Можешь надеть».

Все, кто при сем присутствовал, стали просить Гвальтьери выдать ей платье: негоже, мол, той, которая на протяжении тринадцати с лишним лет была ему женою, у всех на глазах с таким позором, в одной сорочке, как нищая, уходить из его дома, однако ж Гвальтьери был неумолим, — жена его, в одной сорочке, босая и простоволосая, простилась со всеми и, выйдя из замка, пошла к отцу, а вслед ей неслись плач и рыдания. Джаннуколе, не веривший в прочность этого брачного союза и со дня на день ожидавший подобной развязки, сберег одежды, которые дочь его сняла с себя в то утро, когда Гвальтьери с ней обручился. Как скоро дочь к нему возвратилась, он ей эту одежду достал, Гризельда ее надела и, стойко перенося тяжкий удар злодейки судьбы, начала, как в былые времена, все делать по дому.

Меж тем Гвальтьери распустил слух, будто он женится на дочери графа Панаго, и, приказав готовиться к великому торжеству, послал за Гризельдою. Она явилась, и он ей сказал: «Я собираюсь ввести к себе в дом мою невесту и готовлю ей торжественную встречу. Ты знаешь, что у меня в замке нет таких женщин, которые прибрали бы в комнатах, как подобает перед великим семейным празднеством, и позаботились бы о многом другом. Ты — бесподобная хозяйка, так вот ты и наведи порядок в доме, пригласи, по своему усмотрению, дам, прими их как подобает, а после свадьбы можешь идти домой».

Каждое слово Гвальтьери было для Гризельды как острый нож, ибо со своей участью она примирилась, а вытравить из сердца любовь так и не сумела. «Я все сделаю и все исполню, мой повелитель», — сказала Гризельда. И вот она, в платье грубого сукна войдя в тот дом, откуда недавно вышла в одной сорочке, принялась подметать и убирать в комнатах, распорядилась повесить ковры и положить подстилки, занялась стряпней, не погнушалась самой черной работой, как будто она была последняя служанка в доме, и только тогда позволила себе отдохнуть, когда все было приведено в надлежащее устройство и в надлежащий порядок.

Затем Гризельда в ожидании торжества от имени Гвальтьери созвала со всей округи дам. Когда же настал день свадьбы, Гризельда, несмотря на то что одета она была бедно, нашла в себе мужество встретить их, сохраняя собственное достоинство и с самым приветливым видом. Дети Гвальтьери получили отличное воспитание у его родственницы, вышедшей замуж за графа Панаго; дочери его, красавице писаной, исполнилось к тому времени двенадцать лет, а сыну — шесть; и вот Гвальтьери попросил своего болонского родственника вместе с дочерью его и сыном, с блестящей и почетной свитой пожаловать к нему в Салуццо; и еще Гвальтьери его попросил всем говорить, что он-де везет Гвальтьери невесту, и никому не сообщать, кто она. Граф исполнил просьбу маркиза; пустившись в дорогу, он несколько дней спустя вместе с девушкой, ее братом и почетной свитой прибыл к обеду в Салуццо — здесь невесту ожидала толпа сельчан и соседи Гвальтьери по имению. Дамы проводили

ее в залу, где уже были накрыты столы, и тут ее радушно встретила скромно одетая Гризельда. «Добро пожаловать, государыня моя!» — сказала она. Дамы, неотступно, но тщетно просившие Гвальтьери дозволить Гризельде уйти в другую комнату либо дать ей на время какой-нибудь из бывших ее нарядов, а то, мол, неприлично ей в таком виде показаться гостям, сели за стол. Все разглядывали невесту и находили, что Гвальтьери сделал удачный обмен. Гризельде тоже очень понравилась девушка и ее младший брат.

Наконец-то Гвальтьери достигнул, чего хотел: он познал на опыте, что терпение Гризельды неистоимо; удостоверясь, что сломить ее не удастся, понимая, что эта ее стойкость проистекает не от скудоумия, ибо рассудительность Гризельды была ему хорошо известна, отдавая себе отчет, что на душе у нее, уж верно, лежит печаль и что она только искусно скрывает ее под личиною хладнокровия, он решился сию же минуту снять с ее души это бремя. Того ради он подозвал ее и, улыбаясь, громко спросил: «Ну, как ты находишь невесту?»

«Мне она очень понравилась, мой повелитель, — отвечала Гризельда. — И если она так же умна, как и прекрасна, в чем я совершенно уверена, то, вне всякого сомнения, вы будете наисчастливейшим супругом. Но только я осмелюсь обратиться к вам с просьбой: если можно, не наносите ей ран, какие вы наносили вашей первой жене, — я не уверена, что она перенесет их: она моложе вашей первой жены и воспитана в неге, а та с малолетства привыкла к невзгодам».

Гвальтьери, растроганный тем, что Гризельда нимало не сомневалась в его женитьбе на этой девушке и все же говорила о ней только хорошее, посадил Гризельду рядом с собой и сказал: «Теперь, Гризельда, пора тебе пожать плоды твоего долготерпения; тем же, кто почитал меня за человека жестокого, злого и бессердечного, да будет известно, что у меня была своя цель: я хотел научить тебя быть примерной женой, я хотел научить этих людей выбирать и беречь жену, я хотел обрести на все время нашей с тобою совместной жизни нерушимый душевный покой, а между тем, когда я на тебе женился, я очень боялся, что у меня не будет покоя, — оттого-то, дабы испытать тебя, я, как ты знаешь, и наносил тебе — одну за другой — раны и язвы. Но коль скоро ты никогда ничего не говорила и никогда не действовала мне наперекор и коль скоро я постиг, что ты можешь составить мое счастье, я хочу сразу вернуть тебе все, что отнял у тебя постепенно, и нежнейшей любовью залечить твои раны. Итак, возвеселись: мнимая моя невеста и брат ее — это наши с тобою дети, которых я будто бы предал лютой смерти, — так долгое время считала ты и многие другие, — а я — твой муж, и люблю я тебя больше всего на свете и, верно уж, могу похвалиться, что в целом мире нет человека, который был бы так доволен своею женою, как я».

Тут Гвальтьери обнял Гризельду, расцеловал, она заплакала от радости, затем оба встали, подошли к замершей от изумления дочке, ласково обняли и ее, и сына и тем самым покончили с заблуждением, в коем все присутствовавшие находились. Дамы, обрадовавшись, встали из-за стола и, пройдя с Гризельдой к ней в комнату, с еще большим восторгом,

чем когда убирали ее к венцу, совлекли деревенский ее наряд, вместо него надели господский и торжественно, как госпожу (впрочем, госпожо казалась она и в отрепьях), снова вывели ее в залу. Гризельда не могла наглядеться на своих детей, все кругом радовались, веселье все росло и росло, празднество длилось несколько дней. Общее мнение было таково, что Гвальтьери человек умнейший, что испытания, коим он подверг супругу, жестоки и бесчеловечны, а что Гризельда еще умнее его. Граф Панаго спустя несколько дней возвратился в Болонью. Гвальтьери больше не позволил Джаннуколе хлебопашествовать и всем его обеспечил; с той поры Джаннуколе жил в почете и припеваючи, как подобает тестю маркиза, и умер в глубокой старости. А Гвальтьери приискал для своей дочери завидную партию; супругу же свою Гризельду он необычайно высоко чтит и жил с нею долго и счастливо.

Отсюда следствие, что и в убогих хижинах обитают небесные создания, зато в царских чертогах встречаются существа, коим больше подошло бы пасти свиней, нежели повелевать людьми. Кто еще, кроме Гризельды, мог бы не просто без слез, но и весело переносить неслыханные по жестокости испытания, коим Гвальтьери ее подверг? А ведь ему было бы поделом, если б он напал на такую, которая, уйдя от него в одной сорочке, спозналась бы с другим и живо согрелась бы под чужим мехом.

Дионео окончил свой рассказ, и дамы успели высказать о нем самые противоположные мнения, — одна что-то в нем порицала, другая что-то одобряла, — когда король, взглянув на небо и удостоверясь, что солнце склоняется к закату, заговорил, не вставая с места:

— Пригожие дамы! Вы, наверное, знаете, что смертному разум дан не для того только, чтобы запоминать дела минувшие и постигать настоящие; мудрецы утверждают, что великим умам свойственно на основании того, что им известно о минувшем и о настоящем, предугадывать грядущее. Завтра, если вы помните, будет две недели, как мы с вами для поддержания здоровья и сил оставили Флоренцию с намерением рассеяться и больше не видеть скорби, горя и отчаяния, с наступлением чумного времени прочно обосновавшихся в нашем городе. На мой взгляд, мы вели себя благопристойно, ибо, сколько я мог заметить, хотя рассказывали мы и о вещах веселых и, может статься, соблазнительных, хотя мы сытно ели и сладко пили, играли и пели, а это обыкновенно вызывает у немощных духом нескромные желания, со всем тем никто из нас не совершил ни одного непохвального поступка, не сказал ни одного нехорошего слова и вообще ничего предосудительного не сделал. Если память мне не изменяет, все у нас с вами было благородно, жили мы с вами дружно, в тесном братском единении, и говорю я об этом с особым удовольствием, ибо это и вам и мне служит к чести и, несомненно, пойдет нам на пользу. Каждый из нас получил в свой день положенную ему долю похвал, — похвалы эти еще живут в моем сердце, — но чтоб мы в конце концов друг

другу не наскучили и чтобы никто не мог осудить нас за долгую совместную жизнь, я предлагаю, — если, конечно, вы ничего не имеете п р о т и в , — возвратиться восвояси. Примите в соображение еще и то, что общество наше, о котором наслышана вся округа, может разрастись, и тогда все удовольствие будет испорчено. Так вот, если вы с моим предложением согласны, то я не сниму возложенного на меня венца до нашего ухода, который я бы назначил на завтра утром. Буде же вы рассудите иначе, то я передам бразды правления на завтрашний день тому лицу, на котором я заранее остановил свой выбор.

Дамы и молодые люди долго между собою спорили, но в конце концов признали, что совет короля разумен и благ, и решились его послушаться. Король призвал дворецкого, отдал ему распоряжения на завтра и, отпустив всех до ужина, встал. За ним поднялись дамы и молодые люди и, по обыкновению, предалась различным утехам. В положенный час они с превеликим удовольствием сели ужинать, а после ужина стали распевать, играть и танцевать. Танец повела Лауретта, а Фьямметте король повелел спеть песню, и Фьямметта запела приятным голосом:

Ах, если б не была любовь ревнива,
На свете бы слыла
Я между женщин самую счастливой.

Коль нам милей всего
В мужчине юность, пылкий нрав, красивость
И мощь телосложения;
Коль ценим мы его
За доблесть, красноречие, учтивость
В словах и поведенье, —
То от судьбы — и это вне сомненья —
Я все сполна взяла,
К чему влеклась мечтою прихотливой.
Но стоит вспомнить мне,
Что женщин остальных я не моложе,
Не лучше, не умнее,
Что и они вполне
Имеют право притязать на то же,
Чего я вождею
День ото дня сильнее и сильнее, —
Как плачу я со зла
И проклиная свой удел тоскливо.

Будь друг желанный мой
Мне столь же верен, сколь достоин страсти,
Воспряла б я душою,
Но верности мужской
Я знаю цену, на свое несчастье,
И нету мне покою,
И я дрожу пред женщиной люблюю,
Как бы не отняла
Красавца у меня она глумливо.

Я заклинаю вас,
О женщины, не пробуйте напрасно
Ни знаками, ни лестью,
Ни блеском ваших глаз
Прельщать того, кого люблю я страстно.
Предупреждаю честью,
Что на коварство я отвечу мезтью
И за ее дела
С лихвой воздам разлучнице кичливой.

Когда Фьямметта допела свою песню, сидевший рядом с ней Дионео со смехом сказал:

— Жаль, сударыня, что вы не назвали своего возлюбленного, — ведь вы уже заранее приходите в ярость, а что будет, если кто-нибудь нечаянно посягнет на ваше достояние?

Потом пели другие, и когда уже зашло за полночь, король всех отпустил спать.

Наутро все встали; дворецкий отправил вещи вперед, а дамы и молодые люди, предводительствуемые королем, двинулись во Флоренцию. Трое молодых людей довели семь дам до Санта Мария Новелла, откуда они в свое время вместе с ними вышли, и тут они распрощались и пошли искать других развлечений, а дамы разошлись по домам.



ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА









натнейшие молодые дамы, вы, кому в утешение я предпринял сей долгий труд! По милости божией, ниспосланной мне, как я догадываюсь, по вашим усердным молитвам, а не за мои заслуги, я, по-видимому, довел до конца то, что обещал в начале моего сочинения. Возблагодарив, во-первых, бога, а во-вторых, вас, я решаюсь дать отдых перу и уставшей руке. Однако ж, прежде чем предоставить им отдых, я хочу в коротких словах ответить на вопросы, которые вы или кто-либо еще, может статься, мысленно мне зададите,

хотя я совершенно уверен, что повести мои заслуживают не больше упреков, чем любые другие, и, помнится, я сумел доказать это в начале четвертого дня.

Иные из вас, может быть, скажут, что я позволил себе слишком большую вольность, заставив женщин кое-когда говорить и весьма часто выслушивать такие вещи, которые женщине честной не пристало ни говорить, ни слушать. Я с этим не согласен; любую неприличную вещь можно рассказать в приличных выражениях, и тогда она никого не оскорбит, а уж тут я, по-моему, был безупречен. Положим, однако ж, что вы правы, — я не собираюсь с вами пререкаться, все равно вы меня одолеете, — но в оправдание себе я могу сказать многое. Во-первых, если в какой-либо повести и есть нечто непозволительное, значит, этого требовали ее особенности: ведь если посмотреть на такие повести трезвым взглядом человека понимающего, то нельзя не прийти к заключению, что только так их и можно рассказывать, а иначе они утратят свою форму.

Если и есть в них что-нибудь этакое, если там и встретится какое-нибудь вольное словечко, которое может покорибить святош, осторожных не столько в поступках, сколько в речах, и старающихся казаться добродетельными, хотя на самом деле они вовсе не таковы, то, по моему разумению, мне также не должно быть стыдно его употреблять, как не стыдно мужчинам и женщинам постоянно говорить об *отверстии* и *шпеньеке*, о *ступке* и *пестике*, о *сосиске*, о *колбасе* и о прочем тому подобном. Притом, мое перо ничуть не хуже кисти живописца, а живописец, не подвергаясь нареканиям, по крайней мере — справедливым, не только заставляет архангела Михаила поражать змия мечом или же копьем, не только заставляет святого Георгия поражать дракона куда угодно, — он представляет нам Христа в мужском образе, Еву — в женском; мы видим на его картинах, что ноги того, кто восхотел ради спасения человеческого рода умереть на кресте, пригвождены к кресту иногда одним, а иногда и двумя гвоздями. Да и рассказывалось все это ведь не в церкви, о делах которой должно говорить с чистою душою, выбирая выражения наиболее пристойнейшие (хотя в Писании можно найти кое-что похуже, чем у меня), и не в школе философии, где благопристойность требуется так же, как и везде, и не в обществе духовных лиц и философов, а в садах, в местах, предназначенных для увеселений, в присутствии женщин хотя и молодых, но уже достаточно взрослых, таких, которых побасенками не испортишь, и в такое время, когда даже самым почтенным людям простительно было надеть штаны на голову, если это им помогало рассеяться. Что бы ни говорить о моих повестях, они, как и все на свете, могут быть и вредны и полезны — все зависит от слушателя. Кому не известно, что для всех живущих вино благодетельно, как утверждают Возлияни, Лакатти и многие другие, а у кого лихорадка, тому оно вредно? Но если оно вредно для лихорадящих, значит ли это, что оно пагубно вообще? Кому не известно, что огонь весьма полезен, даже необходим смертным? Но если он попадает дома, селения и города, значит ли это, что он вредоносен вообще? Равным образом оружие охраняет благополучие желающих жить в мире, и оно же нередко убивает людей, но не потому, чтобы оно само по себе было губительно, а по вине тех, кто употребляет его во зло. Натуры испорченные в каждом слове ищут грязный смысл, им и приличные слова не идут на пользу, а чистую душу слова не совсем приличные так же не способны отравить, как грязь — испачкать солнечные лучи, а нечистоты — осквернить красоту небесного свода. Какие книги, какие слова, какие письмена святее, прекраснее, возвышеннее Священного писания? А ведь были же такие люди, которые превратно его толковали и через то губили себя и других. Всякая вещь для чего-нибудь да годна, но если ее употребить во зло, то она многим может принести вред — это относится и к моим повестям. Они никому не возбраняют извлекать из них дурные уроки и вычитывать в них побуждение к дурным поступкам: если туда случайно попало что-либо дурное, то желающие пусть тянут его и вытаскивают. А кто ожидает от них пользы и блага, те также не обманутся в своих ожиданиях. Если их читать во благовремени и таким людям, для которых они и предназна-

чались, то слушатели, все, как один, почтут и признают их полезными и благопристойными. А кому нужно помолиться либо испечь пирог или торт духовнику, те пусть не слушают, — повести мои за ними не погонятся и не засадят за чтение, хотя, к слову молвить, святоши не только говорят, но и поступают иной раз ничуть не лучше!

Найдутся и такие, которые скажут, что некоторых повестей с успехом могло бы и не быть. Так-то оно так, но я мог и обязан был записать те, которые были рассказаны, и если бы повествователи рассказывали только хорошие повести, я бы только хорошие и записал. Предположим, однако ж, что я — и сочиняющий и записывающий, что не соответствует действительности: откровенно говоря, мне было бы не стыдно, что не все повести хороши, ибо, за исключением бога, нет такого искусника, который все делает хорошо и всегда достигает совершенства. Ведь и Карл Великий, расплодивший паладинов, развел их не в таком количестве, чтобы из них можно было составить войско. Многообразие предметов предполагает разнообразные свойства в каждом предмете. Как бы тщательно ни было возделано поле, и на нем вперемежку с полезными злаками растут крапива, волчцы и тернии. Да и потом, коль скоро мы все это рассказываем самым обыкновенным молодым женщинам, таким, как большинство из вас, то глупо было бы подбирать для них что-нибудь особенно изысканное и утонченное и строго обдумывать каждое слово. Как бы там ни было, те, кому повести мои попадутся, вольны пропускать такие, которые оскорбляют их вкус, и читать только такие, которые им понравятся. Дабы никого не вводить в обман, я означил на челе каждой повести то, что таит в себе ее лоно.

Иные, пожалуй, скажут, что некоторые повести слишком растянуты. Этим я еще раз повторю, что если они заняты другим делом, то им не след читать даже короткие повести. И хотя я начал писать эту книгу давно, я все же отлично помню, что предназначал я свой труд для читателей досужих, а не занятых. Читающим же для времяпрепровождения никакая повесть не покажется длинной, если она заключает в себе именно то, ради чего они к ней обратились. Короткие вещицы — это чтение для школяров, которым нужно не просто провести время, но провести его с толком, а не для вас, мои читательницы, ибо вы отводите для чтения все то время, какое у вас остается от любовных забав. Да и потом, ведь никто же из вас не учился ни в Афинах, ни в Болонье, ни в Париже, а потому вам нужно все объяснять подробнее, нежели тем, кто изоцрился свое разумежье наукой.

Найдутся, вне всякого сомнения, и такие, которые скажут, что в моих повестях слишком много шуток и прибауток и что человеку с весом, человеку степенному это не пристало. Вот этим людям я должен быть признателен, и я им свою признательность выражаю, ибо руководят ими побуждения благородные: они заботятся о моем добром имени. И все же я отвожу их упрек. Хоть на меня вешали много собак, но во мне самом вес не велик — я не тяжел, а легок, так что и в воде не тону. Приняв в соображение, что проповеди монахов, бичующие грешников, уснащены шутками, прибаутками и острыми словечками, я решил, что все это тем

более будет уместно в моих повестях, написанных для того, чтобы дамы не скучали. Ну, а если дамы чересчур развеселятся, то их быстро уговорят плач Иеремии, страсти господни и стенания Магдалины.

И, наконец, разве не найдутся такие, которые только потому, что я нет-нет да и скажу правду о монахах, станут утверждать, что язык у меня злой и ядовитый? Этим я охотно прощаю, ибо не могу допустить мысли, что они кривят душой. И то сказать: монахи — люди хорошие, они стараются ни в чем себе не отказывать только из любви к богу, накачивают единственно потому, что насосы у них полны, и никому о том не пробалтываются, и если бы только от них не попахивало козлом, то их общество ничего, кроме удовольствия, не доставляло бы. Со всем тем надобно признаться, что все в этом мире неустойчиво, все находится в движении и что, может статься, это относится и к моему языку, хотя не так давно одна моя соседка, — себе-то я не доверяю и обо всем, что меня касается, обыкновенно судить не берусь, — заметила, что язык у меня на диво приятный — такого, мол, ни у кого нет, а ведь мне тогда оставалось дописать всего несколько повестей. Больше мне моим противникам сказать нечего.

Пусть же все судят и рядят о моей книге, как им угодно; я же, смиренно возблагодарив Того, Кто помог мне привести долгий мой труд к желанному концу, умолкаю. А вам, очаровательные дамы, дай бог жить в мире, и если чтение моей книги принесло вам хоть малую пользу, то вспоминайте обо мне.

На этом кончается десятый и последний день книги,
называемой ДЕКАМЕРОН,
прозываемой ПРИНЦ ГАЛЕОТТО



Содержание



ДЕКАМЕРОН

ДЕНЬ	ШЕСТОЙ	7
ДЕНЬ	СЕДЬМОЙ	49
ДЕНЬ	ВОСЬМОЙ	109
ДЕНЬ	ДЕВЯТЫЙ	185
ДЕНЬ	ДЕСЯТЫЙ	233



*Джованни
Боккаччо*

ДЕКАМЕРОН
Книга II

Редактор
Н. КУЛИШ

Художественный редактор
Л. КАЛИТОВСКАЯ

Технический редактор
Л. ПЛАТОНОВА

Корректоры
Г. НЕНАШКО, Е. ИВАСЮК

ИБ № 5399

Подписано в печать 28.10.87. Формат 70X90¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Балтика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,34. Усл. кр.-отт. 132,02. Уч.-изд. л. 20, 85. Тираж 30 000 экз. Изд. № VI-1471. Заказ 4591. Цена 5 р.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диaposитивы изготовлены в ордена Ленина
типографии «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16

Отпечатано в Московской типографии № 5 Союзполиграф-
прома Государственного комитета СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Мало-
Московская, 21

